

Борис Пастернак
Boris Pasternak

*«Я на той же
улице старинной...»*

*„Geh die gleiche alte
Gasse nieder...“*

Путешествие из Перми в Юрятин

Reise von Perm nach Jurjatin

*Борис Пастернак впервые
приехал на Урал в январе 1916 года...*

*Boris Pasternak besuchte Ural
zum ersten Mal im Januar 1916...*



Борис Пастернак
Boris Pasternak

***«Я на той же
улице старинной...»***

***„Geh die gleiche alte
Gasse nieder...“***

Путешествие из Перми в Юртин

Reise von Perm nach Jurjatin

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-9
П 19



Издание приурочено к Году Германии в России

Издание подготовил — А.О. Филиппов
Ответственный редактор — Ю.Г. Фридштейн
Дизайн — Вивиан дель Рио

Пастернак Борис = Pasternak Boris

П19 «Я на той же улице старинной...» Путешествие из Перми в Юрятин = „Geh die gleiche alte Gasse nieder...“ Reise von Perm nach Jurjatin / Борис Пастернак = Boris Pasternak; [на русском и немецком языках; издание подготовил А.О. Филиппов] — М.: Центр книги Рудомино, 2012 — 368 с.

ISBN 978-5-905626-42-5

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-9

Тексты печатаются по изд.: Пастернак Б.Л. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит. Т. 3: 1990; Т. 4: 1991; Pasternak B. Luftwege. Leipzig: Reclam, 1986; Pasternak B. Doktor Schiwago. Frankfurt am Main: Fischer, 1958.

ООО «Центр книги Рудомино»
109240, Москва, ул. Николаямская, д. 6
Отдел реализации издательства: (495) 915-35-18
e-mail: synkova@libfl.ru

Подписано в печать 15.05.2012
Формат 60×100/16. Тираж 1000 экз. Заказ № 3638.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Запрещается полное или частичное использование
и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах
без письменного разрешения праволадельца.

ISBN 978-5-905626-42-5

© Б.Л. Пастернак (наследники), 2012
© E. Erb, M. Erb, R. Erb, R.-D. Keil, перевод, 2012
© ООО «Центр книги Рудомино», издание на русском
и немецком языках, оформление, 2012

«Я на той же улице старинной...»

1916 год. Зима. В уральский поселок Всеволодово-Вильва под городом Александровском Пермской губернии приезжает молодой человек 26 лет и устраивается на должность помощника по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности в конторе управляющего Всеволодово-Вильвенскими химическими заводами Бориса Збарского¹. Молодой человек — это Борис Пастернак, в недавнем прошлом студент юридического и философского отделений историко-филологического факультета Московского и Марбургского университетов, юный литератор, футурист, недавно выпустивший первые книги, «Близнец в тучах» (1913–1914 г.) и «Поверх барьеров» (1916). Зиму и весну Пастернак проводит на Урале, в том же году посещает Березниковский содовый завод «Любимов, Сольвэ & К» на Каме. Уральские индустриальные пейзажи он сравнивает в письме к С. П. Боброву² от 24 июня 1916 г. с «маленькой промышленной Бельгией». После революции Пастернак возвращается в Москву.

В масштабе жизни поэта зима на Урале является в хронологическом отношении неизмеримо малой величиной. Тем не менее, очертания Урала в произведениях Пастернака прочерчиваются на протяжении всей его творческой биографии: начиная с повести «Детство Люверс» (1918), через «Записки Патрика» (1936), заканчивая «Доктором Живаго» (создавался с 1945 по 1955 г.). Пастернак создает собственный город, Юрятин, прообразом которого несомненно стала Пермь, куда помещает действие и повестей, включенных в данный сборник, и своего романа, представленного в книге «Стихотворениями Юрия Живаго». Реальные события жизни писателя, масштабные исторические и личные переживания, как например, ночное путешествие на почтовом обозе, ощущение надвигающейся революции, стали в воображаемом пространстве явлениями не только фактической, но и поэтической реальности.

Целью данной книги было не только представить биографическую прозу Пастернака на немецком языке (связям писателя с Германией, так же как и топографическим совпадениям, сближениям и развилкам между Юртинным и Пермью, следовало бы посвятить не вступительную заметку, а отдельную книгу), но и попытаться вернуть поэтическому Юртину его подлинную географическую принадлежность.

P. S. В книгу не вошли «уральские стихи» Пастернака, писавшиеся во второй половине 1910-х гг. (первое — «Урал впервые», 1916) по предельно прозаической причине: составителю не удалось найти немецких переводов. Весьма вероятно, что их-таки действительно нет. Пока... А когда появятся — у нас будет повод для нового издания.

А. Филиппов

¹ Збарский Б. И. (1885–1954) — советский биохимик, директор Лаборатории при Мавзолее Ленина, Герой Социалистического труда (1945), репрессирован (1952), реабилитирован (1953). Родился в еврейской семье, участвовал в организации партии эсеров, позже эмигрировал, окончил физ.-мат. факультет Женевского университета, в 1912 г. вернулся в Россию. В 1915 г. впервые в России разработал и наладил заводской способ производства хлороформа. Тогда же управлял заводом на Северном Урале. В 1918 г. стал одним из организаторов легендарной Центральной химической лаборатории при ВСНХ РСФСР. В 1924 г., после смерти Ленина занимался бальзамированием его тела, что само по себе является научным достижением мирового значения. В 1949 г. руководил работами по бальзамированию тела болгарского лидера Г. Димитрова. В 1952 г. стал жертвой дела «врачей-убийц». Смерть Сталина спасла ему жизнь. Год спустя умер.

² Бобров С. П. (1889–1971) — поэт, критик, переводчик, математик и стиховед, один из первых русских футуристов. В 1913 г. возглавлял постсимволистскую группу «Лирика», в 1914 — группу футуристов «Центрифуга», в которые входил и Б. Пастернак. Издательство «Центрифуга» выпустило несколько книг, в том числе — «Поверх барьеров» Пастернака и несколько сборников Н. Асеева. В своих стихах сочетал приемы футуризма с имитациями классической русской лирики. Опубликовал три социально-утопических романа: «Восстание мизантропов» (1922), «Спецификация идитола» (1923) и «Нашедший сокровище» (1931). Работал в Центральном статистическом управлении. Был репрессирован. Необходимо отметить и заслуги Боброва в области стиховедения. В 1913 г. одним из первых описывает дольний, много позже, в 1960-х гг. участвует в стиховедческих исследованиях с М. Л. Гаспаровым, который называл его «старейшиной русского стиховедения». Много занимался поэтическим переводом, в частности из А. Рембо, также перевел «Песнь о Роланде» Л. Ариосто. Многие переводы Боброва остались неизданными.

„Geh die gleiche alte Gasse nieder...“

Winter des Jahres 1916. Ein junger Mann von 26 Jahren kommt in ein Dorf Wsewolodowo-Wilwa unter der Stadt Alexandrowsk im Permskij Gebiet an und bekommt eine Stelle des Angestellten für Geschäftsbriefwechsel und Finanz- und Betriebsdokumentation beim Leiter von chemischen Fabriken in Wsewolodowo-Wilwa Herrn Boris Sbarskij¹. Der junge Mann ist Boris Pasternak, Student von juristischen und philosophischen Abteilungen von historisch-philologischen Fakultät der Moskauer und Marburger Universitäten, ein junger Literat, Futurist, der vor kurzem seine ersten poetischen Bücher, „Ein Zwilling in den Wolken“ (1913–1914) und „Über den Barrieren“ (1916) veröffentlicht hat. Winter und Frühling 1916 verbringt Pasternak im Ural, in demselben Jahr besucht er die Sodafabrik „Lubimow, Solwe & Co“ in Beresniki an dem Fluß Kama. In einem Brief vom 24. Juni 1916 an S. P. Bobrow² vergleicht er die industrielle Landschaften im Ural mit „einem kleinen wirtschaftlichen Belgium“. Nach der Revolution kehrt Pasternak nach Moskau zurück.

Im Maßstab des Leben des Poeten ist der Winter im Ural in chronologischer Hinsicht ein unvergleichbar kleiner Punkt. Trotzdem lassen sich die Umriss des Urals in den Werken von Pasternak durch seine ganze schöpferische Biographie zeichnen: von der Erzählung „Lüvers Kindheit“ (1918) durch „Den Anfang des Romans über Patrik“ (1936) bis zum „Doktor Schiwago“ (geschrieben in den Jahren 1945–1955). Pasternak erschafft seine eigene Stadt, Jurjatin, offensichtlich benutzt er Perm als Vorbild, worin er die Handlung von Erzählungen, gesammelt in dem vorliegenden Bande, und seines Romans, der in dem Buch mit den „Schiwagos Gedichten“ vertreten ist, setzt. Dadurch werden reale Ereignisse des Poeten Lebens, globale historische und private Gefühle, wie z. B. die nächtliche Reise mit der Postkutsche und die Ahnung der sich nähernden Revolution, in dem imaginären Raum zu den Fakten nicht nur sachlichen, sondern auch der poetischen Realität.

Die Aufgabe dieser Publikation ist sowohl die biographische Prosa von Pasternak auf Deutsch bekannt zu machen (eine Beschreibung der Beziehungen von Pasternak und Deutschland ist einer einzelnen Untersuchung wert, das gilt auch für die topographischen Zusammenhängen, Annäherungen und Kreuzwege zwischen Jurjatin und Perm), als auch die reale geographische Lage von der dichterischen Stadt Jurjatin zu bestimmen.

P.S. Die „Ural-Gedichte“ Pasternaks, die in der zweiten Hälfte der 1910-er Jahre geschrieben wurden, sind im vorliegenden Band nicht zu finden. Die Ursache dazu ist rein prosaischer Art: der Herausgeber konnte die deutschen Übertragungen nicht finden. Vielleicht gibt es die doch überhaupt nicht. Bis jetzt... Und wenn es sie geben wird, so werden wir einen Anlaß für eine neue Ausgabe haben.

A. Filippov

¹ Sbarskij B. I. (1885–1954) – der sowjetische Biochemiker, Leiter des Labors beim Mausoleum Lenins, Held der Sozialistischen Arbeit (1945), wurde Repressalien unterworfen (1952), später rehabilitiert (1953). Geboren in der jüdischen Familie, hat an der Organisierung der Partei der Sozialrevolutionären teilgenommen, später hat emigriert, hat die physisch-mathematische Fakultät der Genfer Universität absolviert, 1912 nach Russland zurückgekehrt. 1915 hat zum ersten Mal in Russland die industrielle Chloroform-Produktion erfunden und durchgesetzt. In der gleichen Zeit hat im Nord-Ural eine Fabrik geleitet. 1918 wurde einer der Organisatoren vom legendären Zentralen chemischen Labor beim Obersten Rat für Volkswirtschaft der RSFSR. 1924, nach Lenins Tod, hat an der Balsamierung seines Körpers gearbeitet, was an sich selbst weltweit als hohe wissenschaftliche Leistung gilt. 1949 hat die Arbeit an der Balsamierung des Körpers von dem bulgarischen Führers G. Dimitrow geleitet. 1952 hat zum Opfer der Ärzteverschwörung gefallen. Stalins Tod brachte ihm Freiheit. Ein Jahr nach der Rehabilitation gestorben.

² Bobrow S. P. (1889–1971) – Dichter, Kritiker, Übersetzer, Mathematiker und Gedichtforscher, einer der ersten russischen Futuristen. 1913 wurde zum Haupt der postsymbolistischen Gruppe „Lyrik“, 1914 – der futuristischen „Zentrifuge“, B. Pasternak war auch ein Mitglied dieser Gruppen. Der gleichnamige Verlag publizierte einige Bücher, darunter „Über den Barrieren“ von Pasternak und Sammelbände von N. Asew. In seinen Gedichten hat Bobrow die Methoden des Futurismus mit den Nachahmungen der klassischen russischen Lyrik verbunden. Er schrieb drei sozial-utopische Romanen: „Die Rebellion der Misanthropen“ (1922), „Spezifizierung des Iditols“ (1923), „Der Schatzfinder“ (1931). Hat im Zentralen Bureau für Statistik gearbeitet. Wurde Repressalien unterworfen. Man muß auch die Leistungen von Bobrow im Gebiet der Gedichtforschung beschreiben. 1913 hat er füllungsreiche Verse beschrieben, viel später, in den 1960-er Jahren, nimmt er an gedichtforschenden Studien mit M. L. Gasparow teil, der ihn als den „Ältesten der russischen Gedichtforschung“ ehrte. Bobrow hat viel übersetzt, darunter aus A. Rimbaud, auch hat er den „Rasenden Roland“ von L. Ariosto ins Russische übertragen. Viele von seinen Übersetzungen bleiben bis heute unveröffentlicht.

Люди и положения

Детство Люверс

Записки Патрика

Люди и положения **Автобиографический очерк**

Младенчество

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегаю некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заве-

дениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамы не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулках закрывало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убежавшей вдаль, к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемонию перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеулышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся

и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска́, духовенство, лошади в черных пополах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами крепа и обиты черным, и потушенно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в последнее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали

ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н.Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастьи.

То была, кажется, зима двух кончин — смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линиею тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предо-

ставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, — в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

Скрябин

1

Два первых десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, произво-

дилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водою. В них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамо-

те, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпустила меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрыбин. Мы и Скрыбины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сквороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его поднимающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония непрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то

утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого не доставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного бренчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы,

отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, вызывавшее к отплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит

страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых

средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которую в творчестве все решает.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

Девятисотые годы

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были за-

готовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Лениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах,

но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшая в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, — на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался.
В полумраке — один —
У подъезда шептался
С темнотою арлекин.

.....
По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

.....
Там кто-то машет, дразнит светом.
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое

далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, — Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати

наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемуся у нас на годах давно прошедших, девятисотых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распаивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, об-

гоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомую свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную, до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он — готический». Так тогда выражались.

7

Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну, к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином, в Завидове, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему

о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы, — сказал Верхарн, — и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

За книгой

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла

Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

Созерцание

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рошу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознании и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вюяра. На выставках «Золотого руна», в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, содержал мать и тетку уроками, и своей восторженной прямотой и неистовой убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на при-

стань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А. М. Кожебаткин, назвавшийся в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громяющие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», — говорил кто-нибудь на языке времени.

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер

занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова — явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которую он участвовал в истории человеческого существования. Главную целью доклада было выставить допущение, что, может быть,

этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммою. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

13

Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схва-

тив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельной скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, — с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

14

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон,

к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, — что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертой?

Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончателности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.

Перед Первой мировую войною

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на лет-

ний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург — маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамариново-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, — живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были — один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в сюртуках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрашивания глуховатыми, аристократически картавыми, клянчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучною тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок

писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодах, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме по преданию казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилаась небольшая речка, вся в крутых водопадах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое дружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке, близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира: поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподалеку, в Тарусе, Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию, призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное, с парохода увидали имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частных заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. Имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, за-

соренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей — жизнью». Черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник».

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А.Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить раннее командированного туда инженера и замечательного че-

ловека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих Гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекачивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезжу. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока доезжий кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон вовсю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день, — неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошла по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги — «Поверх барьеров» и «Сестра моя — жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая — как знать, может быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостойн глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед вы-

стрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевною болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистошимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так, в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынножителей» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласы Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любимыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружили непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт

нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Асева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компаний-артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изошренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом, просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей — жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Три тени

1

В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выразались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ран-

ня Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщению

ниям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь, и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настаивающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное блеяние волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханности в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе

на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную

и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательства.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристою листвою тополя, белобархатною с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок, красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пришествие на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мстивире, бродячего народного импровизатора, с волынкой и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухва-

титься за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море, в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мной улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

Заключение

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно. Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции.

О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы.

Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Весна 1956, ноябрь 1957

Детство Люверс

Повесть

Долгие дни

1

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее рабрики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женичкиной комнаты», — облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посылным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты — желты, сукно — зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным, и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на ружье бревна галереи. Женя расплакалась.

Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

— Это — Мотовилиха. Стыдно. Такая большая девочка... Спи.

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно слотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, — Мотовилиха. В эту ночь это объясняло еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там чугуны, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо, если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианством», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, — но это до сознания детей никогда не доходило, — между тем, как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое

совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца, вообще, выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладанье. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был — страшен, в противоположность отцу раздраженному — чужому. Он трогал больше девочку, сына — меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью, и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой, и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без повода вспыльчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению — маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе». Хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укореняющуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нитье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать — может всякий. Как можно ей помешать? А вот как.

Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью или уйдет целиком в корень или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии и все общие понятия и все предрассудки людей и самый яркий из них, самый развлекающий, — психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

2

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось даже, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passé* и *futur antérieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припоминала тот дом на Осин-

ской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она видела его в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного — питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденея, застывала на ночь рedeющая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагринула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидела, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

— Она пудрится. Только этого не доставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было — она это чувствовала — куда сквернее ее подозрений. Надо было — это чувствовалось до оупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках — надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя,плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измощдающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотоении какое-то тошнотворное, гнусное зло. «Menteuse!»

Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

Ни она, ни француженка не услышали вовремя звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур,

и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку — в краске. Она потребовала объяснения. Француженка напрямик объявила ей, что — не Женя, net votre enfant, — сказала она, что *ее* дочь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей — ужас ее был непритворен — девочке не исполнилось еще и тринадцати.

— Женя — ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась вовремя — и вот застаёт ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду — будет хуже! — что ты делала... — с пудреницей, — хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: — с этой вещью — и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

— Мама, не верь m-lle, я никогда... — и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем; и она чувствовала виноватой себя, и внутренне себе ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, «выситься до педагогичных и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданью. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блистала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся — серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывни. И — бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери *про это*. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять — поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но — педагогичность; она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

— Хорошая де... — вырвалось у нее скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видела француженки. Стояли слезы, стояла мать, — во всю комнату.

— Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

— Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду, и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, — горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти ревилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть, депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь как села полгода спустя, в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может идти».

На другое утро мать сказала ей, что нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нераденье, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика, и она стала спускаться по лестнице, она встретила на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» — из конца в конец носил голый, светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неутолимо, шурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки

стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и мелко, день-деньской, с затеканиями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет, и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» — но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упускали понять толком сказанное, и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот навывлет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топлёная, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наслеженного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, третьи — на затвердевшую сырную слезу. Те были слепы, сонны и мечтательны, эти — с резвою искрой, как смерзшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенившейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глень.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутилкой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отвезать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними случилось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету

мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестих и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из очереди подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полók со своим багажом; поравнялись; Уляшча что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды — баржи. «Здесь — крысятник» — подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, — лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кислосладким. Всем этим увлеклась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом как из-под земли выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта — в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне — горка, и деревян-

ные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и насякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все в купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь, или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе, и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно — утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее; полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались; он либо видел один матрац, либо же.. но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама — в этом углу; она убралась уже и читает книжку, — отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. — А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», — поняла она только теперь и с голов заглянула за полуспущенное окошко. «А где же земля?» — ахнуло у ней в душе.

То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз, широко и отлого, и, измельчав, сгустившись и замглясь, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое, горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз,

в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там и та-аам вон; только его.

Это — Урал? — спросила она у всего купе, перевесясь.

Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхождение. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целостности земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновенье в купе, сощуриив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ремешок настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сильный надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.

— Теперь скоро, — кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянул губы.

— Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, — и написано: «Азия» — выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница

Азии» встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло и стало боком к ним и побежало прочь что-то вроде могильного памятника, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

4

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей; его приносила по утрам Уляша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

— Как в Париже, — повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закурил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей

говорилось «вы» и, новая, — она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, спрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает и осваивается и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, — и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

— Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, — уже через минуту казалось девочке, — какую она наперед загадала в столовой и представила, — плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала, Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

— Да, она ремонтируется, — сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

— Изумительное масло, — сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

— Чем же это — Азия? — подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом:

— Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеко. Не верилось, что день, вместивший все это — вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще, не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в отгискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в том, что *он*, ее Урал, *там*, она повернулась и побежала в кухню через столо-

вую, где посуду стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадаполам на зубах, пороли резкие стрижки, и внизу — она высунулась — блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, — и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... «Ну вот, барышня...», — но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, — ... — как — додумывала она свою мысль, — внизу под ними знают и, верно, говорят: Вот, во второй номер господ нынче приехали».

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя — в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испаряющуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещавшие останавливаться» рогатки, стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это *объявлялось* ей. Пере-

став быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.

5

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один, ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непчатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением вовремя сдерживать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о *références approuvées*, и о *férocités*, т. е. *bestialités*, *ce que veut dire en russe* — хищения на Благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его *férocités* не на шутку тяготили; но казалось само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, ять. Они у него выходили двойные какие-то, разные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, — все стало дозволенным,

все смешалось — ю было не ю, а какой-то десяткой, вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу», — и комкал носовой платок.

— *Faites de pouveau*, — поддавал жару Эванс. — *Compensez*.

И Негарат приоткрывал рот, медля как заика и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

— *Dites: «Увы, невыгодно»*, — спав с голоса, влажно и сипло предлагал отец.

— *Ouvoui, niévoui*.

— *Entends tu? — ouvoui niévoui — ouvoui, niévoui. Oui, oui, — chose inouïe, charmant*, — закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполонину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волнения будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? Граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастaми скорпиона? Отчего в слове полезный пишется «е», а не «ять»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полезный», дикое и косматое в таком начертании. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма и примерялась потом на булавах, скупое и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

Посторонний

1

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить

с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька», — кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменял в дворничскую.

Брать работу на двор всегда значило — затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, идти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога, прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещение, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движеньем воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело — на дворе.

Проход поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая как львица, с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощеный в середке, он давно не перемещивался, и бульжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворничской и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтоб не сползла, утрясла ее на ходивших дровах, и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разо-

ренный рядок, готовясь взяться за «Демона», потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороною. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курослепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли, и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью — с такую-то минуту поглядели они, и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидала, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой прошли в калитку. За ними странною, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала — спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как

сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось брэнчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошканы. Но брэнчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле, и не заплясало, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, — подумала она про незнакомца с альбомом, — хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составила́сь целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком — она задумалась — в таком что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, — она носком отбросила валяющуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, — в чем-то, словом, таком, что очень — очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутые картофелины или празелень бешеной тыквы. Тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближеньи. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновенье Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать, произносящей «щука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг — померещилось ей — придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!».

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

— Далеко не катай! До шлагбаума и назад; осторожней с горки!

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал братья за срывистый, недававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабканьи ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизиельности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крыльями и взлетит. И действительно, дощадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притулленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку, из-за кустов, и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым, хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом.

— Свороти направо! — приказала Женя.

— Переезда не будет, — ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, — тупик

— Тогда стань, я погляжу.

— Это китайцы наши.

— Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкой «тпру», и лошадь, колыхнув всем телом, стала как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебежали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этим можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склабящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу, с ворота по самые щиколки, они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

– Послушай, Давлетша, чего это ты?

– Лошадь рванула! рванула! не сто-ить! – раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

– Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

– Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелой вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидела их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнава под телегой водовоза.

3

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

– Est-ce Pierre qui a volé la pomme?

– Oui. C est Pierre qui vola... etc.

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть

стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности, убежденная в том, что Лиза хитрит, — наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома потешается этим, — Женья принимала это как должное, как нечто, лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женья, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женья Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, та с сильным чувством, эта — безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовской воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвероклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дробы, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще — значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

4

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чув-

ствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется по-прежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон на отбывку какого-то сбора.

— Как же вы в таком случае еще молоды, — сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понурия голову. Разговор не клеился.

Завтра придут замазывать окна, — сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой весте. Но перед тем, как приняться сетовать, он поднял брови и удивленно спросил:

— В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

— Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

— Простите, я вас перебую, — сказала мать. — Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте, этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, *буквально* под присягой?

— Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал ей объяснять, и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, что эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю», — благодарно и машинально твердила девочка.

— Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, *учитесь*, где все, — поправились она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да. Да, да», — опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростиаясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбургe. Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий

налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил. Они прощались.

— Часть книг я оставляю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

— Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

— Цветков.

— Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, — и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака и рассеянно дожидаясь удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. — Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

— Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

— О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? — испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

— Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

— Среда. Ecoutez, — дождался, наконец, своего черед а отец, — demain.

И оба вышли на лестницу.

5

Они шли и разговаривали, и ей приходилось от времени до времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень быстро, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему, и разговаривали.

— Так его везли на станцию?

— Да.

— А почему он сидел в сене?

— То есть, как?

— В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

- Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.
- Его везут на каторгу?
- Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди

под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобренные и теперь, запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутье, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на небе дешевой грушевой шипучкой.

— А в Перми есть тюремное правление?

— Да. Ведомство. По-моему — так идти. Ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург — уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначились следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

— Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

— Знаю.

— А ты боишься щекотки?

— Да.

— Значит, ты — нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя — бегом, Сережа — неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартила. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видала его где-то раз. Они разминулись, не здоровавшись. Те взяли

наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он *не соглашался* и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми, *в детстве*.)

— Пстой! — У Сережи случилась неприятность. Он опустился на одно колено. — Погоди.

— Зацепил?

— Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!

— Ну?

— Погоди, не нашел, где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава богу.

— Разорвал?

— Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра — это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.

Я его знаю. Это — с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал — собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлово рождение. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромым не мог быть виден ею в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг — и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути, и что он только что — ну, назад минуту — говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попрощавшись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

— Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

— Нет. Никогда не бывал.

— Неправда, я сама тебя видала.

— На дровах? Ты...

— Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввичевским садом.

— А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо идти, показываются. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди. Так это значит наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я

сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться — раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

— Сережа, покажешь мне дорогу туда?

— Опять. Ведь двор — наш. Чего показывать? Ты сама...

— Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

— И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.

— Что ты?

— Да то. А медник?.. На углу.

— Так та пыльная, значит...

— Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи — в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода, одним словом руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли, она — про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа — про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видала хромого и трех незнакомок, и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромым.

6

Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что

из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело — раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полку, как стояли в комнате, и колесца кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадучке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетающим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полук, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: *город*, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи», — подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, — *человека вообще, валкой, на шагах разрозненной походкой* расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромычал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверь. Подымался и опускался чай в стакане, на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика; в тот день, когда при виде воза с мебелью, она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жалъце осталось в ней и его хотелось вынуть, не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспаленного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной *своей* геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся невероятными в стремлении сумерек принять форму площади, лежащейся в основанье этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты плавно, как на масле, сменявшие друг друга, и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо; и с кроватью — девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец, она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, пережившиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. Повидимому не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились:

она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бес-снежье. Она едва замечала, кого о чем спрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Уляшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан и отвернулась.

Ми-ил..! Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденнице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало, проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

7

Что это, никак опять тает? Значит и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладывать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел железом трубы и кровли и скворешницы. Там будет дым, там — снег, здесь — иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по ним. Они

напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращалось внимания. Отрывался ее, детский. Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко! — как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, сучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое; завтра — тридцать первое».

— Она уж третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидела, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение. Мать дотронулась до ее руки.

— Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как не сказанное. Матери вперевбой, словно со сна, дочь опросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевая. Она не сказала: «Предтеича». Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочери стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягается воздух, как мякнут тучи и смягчает чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, вийсь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной, сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под Выкормышем. Улицы стали неузнаваемы; улиц просто не стало. Сразу наступила ночь и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе

Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется переключать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом «Сказок Кота Мурлыки», что не для детей. Надо будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось и с него валялись белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю, и полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взывали будто плетью огретые поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепая от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с галош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы и перечница, вынутая из судка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «серединками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винули. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, — она расстегнула наконец этот противный крючок, — а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

— Нет, зачем же, поедем, — сказала мать, — надо расселиться; ведь доктор позволил.

— Надо решить.

— А где же торт? — опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает — так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

— Надо решить.

— Решено, едем. — И, грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменялась — метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с отгаивавшим носом у него творилось что-то неладное, он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

— Как выезжать, мы видели Негаратова знакомого. Знаешь?

— Эванса? — рассеянно уронил отец.

— Мы не знаем этого человека, — горячо выпалила Женя.

— Вика! — послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Уляшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня, сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом *костюмчике*.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец, *сами* уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Уляша, оказавшаяся на этот раз Уляной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется, — мелькнуло у ней в голове. — Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность». Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно — не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнава, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, — подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, — а их я вовремя услышу; кругом тишина; подымутся не скоро; в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука, 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить». Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что «*не надо делить, а просто бросать прочь их*». Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оглывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выдвигали у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокою бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, за чем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил:

— Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затаив дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему; она вешала губу, и помертвелые зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась, сломя голову, в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик — эхо. Жене пришлось откашляться с немного надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии. Что теперь делают китайцы в такую темную ночь?» Взгляд Жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть

с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это не вор. Их много и они топчут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась неимоверная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна, дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распахивалась и дом ошпаривало жгучим полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать; она *догадалась*. Причитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу и он орал: «Не смей на ключ!» — «Все — свои», и, как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Ульяше.

— Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

— Папа!

— Где Липа? — не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеча на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновение высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истошным шепотом.

— Что с мамой?

Вместо ответа Ульяша твердила в одно:

— Нельзя Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о, Господи!.. ми-ил! «Нельзя, нельзя, — приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя — не говорила и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что — гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали — в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

— Зачем? — перебила его Женя.

Но Сережа догадался — зачем, и предупредил отца:

— Чтоб не заразиться, вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить, он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряжен, как фазан. На нем была баранья шапка, нагольная овчина горела жарче сафьяна, он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строении человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, — в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, — но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

— Уж и ждут? — насмешливо переспросил сын.

— Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох», — остался в воздухе студеный вскрик пронесшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещи пахло сундуками и сонным мехом.

— Чего ты возишься?

— Не ставь с краю. Упадет. Ну, что?

— Все стонет. — Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. — Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтели рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колот лед.

— А много его с лета осталось? — расспрашивал Сережа.

— Скоро новый будет.

— Дай мне. Ты зря крошишь.

— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

— Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

8

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покачивала; ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и, когда медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась мелко и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв, и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе — коченело, зловонное. За окном — сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шуточные вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив *безошибочно* одну какую-нибудь Женину чер-

ту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? — И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: — Вальтер Скотта. Можно?

— Ступай, ступай, душенька! — зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. — Жалко дитя, — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенною пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы наворачивались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

— У, егоза, пострел тебя!.. — кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразились, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздаётся рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что *страшно* похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущени-

ем живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе-сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стога. *Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть.* Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное — маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» — обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

— Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

— Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки. — Она говорила прерывистым шепотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала *все*, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбованы творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору — только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шепотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного, и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревоги, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее, души, не спросясь.

— Я знаю. («Ничего ты не знаешь», — подумала Лиза). Я знаю, — повторила Женя, — я не про то спрашиваю, а про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг — и родишь вдруг, ну вот...

— Да войди ты, — прохрипела Лиза, преодолевая смех. — Нашла где орать. Ведь с порога слышать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с рукомойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были непроизносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и, наконец, расхохоталась открыто, нашедши повод. Она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Большую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расплозились по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадал в сивухую сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые, шая, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный чстокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, пронеслось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрвав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так, — ах так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидала. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугун с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидала его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдя по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

9

Когда на десятый день по возвращении домой, после более, чем трехнедельного перерыва были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь

родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

— Выкормыш?!

— Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

— Как? На смерть?

— Увы!

— А мама?

— А мама заболела нервным расстройством, — и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus».

— И тогда родился мертвый братец?!

— Кто вам сказал?... Да.

— А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра — третья неделя. Какое счастье, что она его узнала. Ей смутно думалось, что, не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

— Отчего вы такой грустный?

— Разве? Все может быть. Я потерял друга.

— И у вас тоже горе? Сколько смертей — и все вдруг, — вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве, и видно забыв, какую опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

— Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видала еще с кем-то. Этот? — Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услышав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего

Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

— Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу — и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности, — размышлял репетитор. — Очевидно, покойный был у девочки на особом положении. Она очень изменилась. Периодические дробы объяснялись еще ребенку, между тем, как та, что послала его сейчас в классную... и это дело месяца? Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она *страшно славная*, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплачется и придет, наконец? Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел *другой* человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, *но то, которое имеют в виду заповеди*, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее.

«Не делай ты, особенный и живой, — говорят они — *этому, туманному и общему*, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидела, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

— Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов, Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

Записки Патрика

1. Уезд в тылу

Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колону в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобрете-

ние, уральское лицо Юрятин уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал как в зеркале изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих Этнах, Ревельских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарынских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора, был заезжий двор, куда я поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвенья. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою.

Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос.

— Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во зыщех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очувшись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра как бы вторично. Поздней обычного тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу как какую-то невидаль и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как

со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашенной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-Крымженских заводов я нагнал седобородого юрятинского горожанина в сибирке сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявления, испещрившие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубке, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме, по ценам, близким к довоенным.

— «Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек, масла постного два фунта...» — читал по складам юрятинский мещанин.

Я застал его потом перед одной из конторок, за справками, согласилось ли бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами — как именно он сказал — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразуменье. Меня отвлек Вяхришев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, на одного не допивая, брал с подноса устряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхришеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшимся приезжею. Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями, перед их авторитетом ступшеывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу девятьсот пятого года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено.

В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек.

Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь, к реке, и Вяхрищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли не из страха перед его присутствием, а из опасения, как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и, таким образом, нехотя сам способствовал их революционности.

Эту несурзность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русский военный атташе на Крымже», — представлялся он, давая понять, что заводы считает самостоятельной державой. Или пускался в перечисление союзников и, дойдя до Румынии (это было позднее), продолжал: «хлорный, хромпиковый Лев Николаевич Голоменников». И все хохотали.

При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака.

— Значит, вы живы? — кончив представление, затараторил он. — Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного еще не заключили?

— Тут сверток для господина Громеко. Не захватите? — спросил вышедший из-за решетки конторщик.

— Как же, конечно. Я за ним. А не тяжело? На себе утащу?

— Для ваших заплечных ремней, пожалуй, тяжеловат. Кулек ощутительный.

— Тогда я часа через два, я сейчас без лошади. Простите, — обратился я к Вяхрищеву, — меня отвлекли. Я к вашим услугам.

Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тотчас же ехать с ним на Крым-жу на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, нам навстречу попался доктор, член юрятинской врачебной управы, выходявший в это время из директорской.

— Вас ли я вижу, дорогой доктор? — воскликнул Вяхрищев.

Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов, ютившееся в одной из квартир того же дома, со стороны Ермаковского сада.

Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение, собственно, было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции — специальность, по которой и окончил в свое время Женевский политехникум, и даже с каким-то отличием. Сам он навещался в Юрятин не часто и для подачи консультации пользовался представлявшимися случаями или посылал в отделение с записками Демида. Делать ему в отделение было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобья.

Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделения, редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах, нежели у себя в редакции. Однако оказалось, что он накануне выехал в Москву. Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, и с какой-то сложной и несчастною судьбою. Ее отец, адвокат с нерусской фамилией Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неуставленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлиненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, дожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходящих на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитанна.

— Вот, наконец решилась, — сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос.

Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладила и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаяньем. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволоочки, я стал прощаться.

— Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свиданья. Дороги просохли, ехать сейчас одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоянного мне не прямо домой, а еще в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зай-

ти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью кухни.

Доробгой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер сама часто походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворенье. Я сразу понял, что уйду несолоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но, судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадьёю. Малоезжая дорога пролежала сечею. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душою.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новою стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно,

как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганию лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитростное чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти пристрастия, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыхание и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дороже которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строениями.

Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшимися в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, это была самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовской уголок. Александр Александрович не глядя дал письменное согласие на сделку вместо приобретения луговых земель где-нибудь в средней России, где ему с большей пользой пригодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тонею, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

При виде флигеля под малиновой крышей Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настезь.

Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее, к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать, — сказала Тоня. — Что это, ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь, пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скупчивейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать Сорочку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношение. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердисься,

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа — у своей родни, — та — еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности...

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращенье посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывавшуюся в задней части роши над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознание своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал, растянувшись в ней, но вместо того чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь их долей и личным складом да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороху. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отраженья засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиной. Река запылилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратском чуть внятно, но с видимой причиной лаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне громко, но без причины. Трава подо мной заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдаль возобновился, но роли в пространстве переменялись: теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

2. Перед разлукой

Не успела переехать Истомина, как промелькнула осень, и мы стали собираться в Москву. А тем временем, как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа годом обступила нас отовсюду.

Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывести Шуру на прогулку. Ей самой нездоровилось. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой на дворе. Однако, настаивая на своем, Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес.

Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетанье возраста, щелканье данного вида. Так, как он, рассуждала вся земная тварь, обществом которой, на аршин от земли, он наслаждался.

Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлетах галчонок с волочащимся крылом. Он не сразу дался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлобученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда, выпрямившись, я посмотрел кругом, глаз мой не поспел за быстрой переменой положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые.

Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегла черная, дымом ввысь уходившая хвоя. В этом городе все и произошло.

С тех пор прошло двадцать лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальные. Родилось новое государство, никем не описанное, небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застают и потом покидают мои воспоминания.

Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Мужественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня ему заменявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счет я мог бы наконец успокоиться. И, однако, всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда еще при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия.

Для их хода несущественно, в каком порядке они располагались. Внешность Истоминой не давала мне покоя. В этом

не было особого дива. Она приглянулась бы всякому. Однако бешенство, называемое увлечением, завладело мною позднее. Сначала я испытал действие других сил.

На пороге третьей военной зимы, неотвратимо близившей народное бедствие нашего полного разгрома, Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитою жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабаляющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку.

Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличие от прошлых зим, Демид на эту просился к родным в Пятибратское. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истому.

— Поговори с ней, — попросил меня Александр Александрович. — Не брать же ее, в самом деле, с собою в Москву.

Я не помню ее ответа, так памятно мне, что его-то я при этих обстоятельствах все равно что не получил. Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком в оглашаемом волками и заметном вьюгами лесу — какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся.

Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь еще немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках пугачевского преданья, начатую тем летом по его почину; когда же помогу Евгении Викентьевне приискать угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьей — по моим расчетам в ноябре или, во всяком случае, не позже его исхода.

Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался. Но родные оказались дальновиднее. Они приняли мое решение с большой тревогой, точно знали наперед, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами. Но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней, после чего его больше не отменяли.

После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в сторожке, на который перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряженностью моего бодрствования.

Весь день недвижный дождь на границе измороси без капанья каплями висел в воздухе. Временами прояснялось. Набрав в жабры облаков, сколько они вмещали свежести и свету,

вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало до ушей. Это длилось мгновенье. Ее концы сходились. Становилось темно, как ночью.

Мы разговаривали у него наверху, над истоминским низом. С некоторого времени упоминанья о ней в ее отсутствие ранили меня, получив ощутимость лишения. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались.

В этот день она в первый раз топила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Все время он то зажигал, то гасил огонь сообразно погоде и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решетчатый кружок горелки, играл им, перекатывая в руке и согревая дыханьем. Но это не облегчало пониманья. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было бы сдвинуть гору, чем переубедить его.

— Я больше не могу, — говорил я. — Тевтоны и проливы у меня вот где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. Выжиданием мира я развешествляю ее. Вспомните Протасова из «Живого труп». Мне надо устраниться. Когда родился Шура, я был на его счет спокоен. Как все мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди! Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами! Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаленья в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман, долго будет нашим проклятьем. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина. Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою — в меня. Глаза же у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья. — Я не выдержал и заплакал. — Так смотрят обманутые. Это я обманул его, залучив в жизнь неосуществимыми надеждами. — И, окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками.

Александр Александрович задул лампу. Бледный день, до неузнаваемости обезображенный ненастьем, пробрался в комнату. Александр Александрович шагал по ней и разносил меня на чем свет стоит. Внизу пекли картошку в золе и гремели печной заслонкой.

Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющима ветром, серебром и ртутью разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нем, как приросшие. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились, точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало.

— Что же вы остановились? — спросил я Александра Александровича. — Вы что-то хотели сказать о моих родителях. Ну да — ссыльный поляк и дочь кантониста... И я потерял их трех лет от роду и слишком поздно узнал по рассказам. Что же дальше? К чему вы их приплели?

— Так как же тебе не стыдно! В кого ты уродился? Уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам бог велел. Я явление потомственное, Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну, не член, черт с тобой, а консультант, и не комитета — с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее, а тебя пугает приближение революции.

— Боже мой, боже мой, что за пошлость! Уши, честное слово, вянут! Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркивания.

— Какой тут смех? Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку.

— Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова, — помните, вы туда ездили на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей свое поражение, еще не революция — так по крайней мере вы передавали. Волны общественного недовольства выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дни рабочей группы в военно-промышленном комитете сочтены, и ее не сегодня завтра арестуют. Если собрание расплывенных сил не произойдет раньше, чем разразится ураган, нас может ждать анархия. А это — Голоменников, не мы с вами, человек свой в революции, со связями в Финляндии и петербургском подполье... Да что вы, в самом деле, глазами хлопаете? Ведь я вам повторяю, что сам от вас слышал, если только вы этого не сочинили. Так о какой же вы тогда революции? Да и разве в этом дело?

Разговор замедлился и вернулся к прежней теме. Я напомнил Александру Александровичу сцены детства, проведенного в его доме. Эти сцены и обступили меня ночью. Из-за печной разгородки доносилось бормотанье Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыханье Тони.

Я отдался воспоминаниям тем охотнее, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими, нежели тогдашняя моя, на смех мне данная свобода. Кое-что я расскажу.

3. Надменный нищий

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю Святую.

Мне девять лет — десятый. Уже полчаса как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и заезжая на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдалеке, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, много-стекольный и из голого кирпича, — Щепихинские мастерские, а другой, крашенный в охру, — Анилиновая фабрика Анонимного общества. Также не знаю я, что, вопреки настоящему своему названию, красивая церковь зовется Взысканьем погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Федей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрена Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадобится. Я на часах — караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел позаведенному. После обеда дядя Федор разбирает сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбравив меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножки, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоинством» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в моем и Мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровныя», прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну, погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цеженными трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамашку, как тут говорили, и она возбуждительно визжала, а потом в соблазнительной растерзанности вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолженьем, угощала ее козьей ножкой. Обе, жмурясь, затягивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, сиявшим прямо над дворовою дыроу.

Письмо подали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

— Лучше б вам все-таки куда-нибудь определиться, — робко замечала Мотя. — И самим было бы приятнее, и легче смотреть в глаза людям. При типографии Архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянства.

«Чем живет дядя Федя?» — думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководства по естествознанию, его брат Николай — профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных, и прихожу к заключению, что у дяди Феде есть какой-то секрет ни жать, ни сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без угомону возятся воробьи, булыжины пахнут сковородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости, пахнущих почках. А в церковном саду у Взысканья погибших тополя уже в молодом листе, точно во всем жары ради сменном летнем.

А груды еще сыро. Груды белошафранного швырка на дрожном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти.

Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, белооблачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрогливо

и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленицей. Но вот и сам он, масленоголовый и шелковобородый, — рясофорная, бисерящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем караульням — так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем, как загорланить. Потом давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая громековская девушка Глафира Никитична. Приткнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома.

— У вас, видать, новенькая, — негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. — Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмажется.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность, прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

— Вы их послушайте, мадам, — говорит он в ту же сторону. — Подол задирать — все равно крыши не покроешь. А окна мыть — на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин.

На дворе перед сенями растет старый трехствольный тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным, и все играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукодельем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я, подойдя к ней.

Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам, а потом вдруг говорит:

— Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя, как кустик, объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много на-

роду. Но это может быть обман чувств, этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесков, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

— Главное, он обижается! — голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. — Подумаешь, казанская сирота!

Этот голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бровастой брюнетки. Дяди Феди не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чем.

— Детей впутывать? — Опомнитесь! — Вы тунец! — Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь, с кем тебе угодно, но дети... — Не ваше дело, бога вы не боитесь. — Лучше скажите, что вы сделали с закладной? — Bravo, Анета. Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. — Наука? — В интересах науки? — Нет, он мертвого рассмешит! — Ну и горе-аптекарь, нечего сказать. — Анисовую настаивать или зверобой... Ха-ха-ха! — И Спаситель наш... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть — будешь у меня жалобить, как на Хитровке. — Успокойся, Саша, умоляю. Тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх, в ее детскую, но, как пригвожденные, остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая орясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладошкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару.

— Дядя Федя! — окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

— Зачем вы тут, дети? — говорит он, забыв о данном мне поручении.

Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

— Прощай, Патрикий, — с дрожью в голосе говорит он. — Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебе, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилось, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призвание столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна? Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Свою склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоимениям принимал он за философскую жилку. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа.

Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которую сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях, оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остромысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки Мотина голоса. Она вслух что-то чита-

ла. По переводчику, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение.

— А что тут понимать? Явная галиматья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровится. Продолжай, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

Некоторое время все шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Ранения на лице заживали без следов. Он слегка посидел. Разговор шел в соответствии с теплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

— Ах, годы, годы, — говорил дядя Федя. — Где же ты столько пропадал. Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось важничает, морда лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты посочувствуй.

С этой фразы все переменялось. Мне бросилась в глаза Мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться, Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак, никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

— Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, — сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затушеванном и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

— Хоть на крылечко бы зашел. На минутку, — позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим Священным писанием на коленях. Муслия палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

— Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда же оно занастылось? Вот. Вот, смотри.

— «И три рода людей, — прочел я в стихе, — возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика прелюбодея...»

— Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя. — Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз!

4. Тетя Оля

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница Высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя в университете, и значенье, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним Обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться.

— Что ж тут непонятного? — в свою очередь удивлялась Оля. — Общество — учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса — начинание демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики.

— Виноват, — поправлялся тогда Александр Александрович. — Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии.

Историческим событием все это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много рабочих. Собрание происходило на фабричном дворе, под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект узаконивал крамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдаленье за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали и, постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходною, чьи-то руки накинули на нее тулуп и платок. В тулупе внакидку вместе со всей ватагой Оля вышла со двора и неузнанною прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдать.

За ними от Дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных массовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью, отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромынки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик?»

Вдруг анархист кончил, и все закричали:

— Терентьев! Петька! Валяй анархию по косточкам! — Он не дал себя упрашивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно, говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал:

— Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что, если б вместе?

После двух-трех встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги, одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную, шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалование; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где, кроме сборки дуговых фонарей, бал организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть.

— Вы очень способны, знаете ли вы это? — говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся Третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. «Мы, социал-демократы, полагаем», — говорила она. Или о тогда еще новом расколе: органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его и задачи вроде изобретенья сверла, развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок, справа и слева осматривал рисунок и насвистывал, и эта работа нисколько не мешала ему следить за Олиным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних переулок, и трудно было поверить, что и в природе они не

разделены так же полно. Но внезапно их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулочек заливало желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещение сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное — красным. В закате загорался притвор Спасы в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова.

Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай дали пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мельканье ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

— Опять гроза от Дорогомилова, — говорила Оля и понималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее получали неожиданное направление.

Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все относящееся к этой неведомой женщине начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей, мал мала меньше, золотое сердце», — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и раннею еще весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальной Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в грудке железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь

в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные звания объединяет язык и платье, все движенья, вплоть до сверканья зубов и улыбки, подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тещины языки вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Все же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части, при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусами неправильной формы, с вынутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общепсихическое отступало перед силою разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помогши Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

— Никак престол на парфюмерной, что в прогулочке? — спросили его, здороваясь.

— Н-да, святомученика Дюшателя, — понимающе усмехнулся он и прибавил: — Нет. Сами по себе шабашуем, — и рекомендуя округленьем показал на Олю, знакомя.

Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в Консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

— Помнишь Назарова?

— Ну как же.

— Попадетя — остерегайся. Провокатор.

— Быть не может.

— Будьте покойны.

— Где ж он теперь?

— А мы что — каменные? В февральскую стачку четверых уволили по нашему требованию. Ну, то же и он.

— Видите, как вас улаживают. На задних лапках ходят. А вы не верили.

— Это кто ж не верил?

— Да я первый.

— Вот так клюква!

— А что же ты думаешь? Бывало, подымаешь вас на ша-рап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигну-тых без него в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как проку-ренный мундштук, модельщик с пучками волос в ушах и ноз-дрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости на-меренья верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улы-балась. Наконец к нему прислушались.

— Это что! — рванул он и, как клещами гвозди, стал та-щить хрипотою погнутые слова со дня самой, казалось, селе-зенки. — По свистку в главной конторе курсы Французской революции. Ей-богу правда, расшиби меня гром. Лектор каж-дую среду, по казенному найму.

— Правда, правда, — подтвердили остальные.

— А также Соединенные Штаты, — добавил кто-то для точности.

— Это для желающих, — одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатленья.

Слово вернулось к модельщику.

— Пуговкин в ночной смене, — пожалел он. — А то б ты послушал, как он солдат перевозил.

— Это какой же Пуговкин?

— Да знаешь ты его. Такой сознательный. Песочная пара.

— Не знаю. При мне не было.

— Выдумывай! Двадцать раз вместе видали. Выговор та-кой польский: ах, быуа не быуа, песочная пара. Такой акку-ратненький.

— Не помню.

— Сижу в бюро, и часы от Буре...

— А, Козодой, что ли?

— Во-во.

— Так бы ты прямо и сказал.

— В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да, да, Пуговкин — ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направленьем на брестскую ветку. Но, как сказано, состав ни тпру ни ну. Забастовка. В один пре-красный день отворяется дверь в комитет и входит сам на-

чальник тракции фон Дебервиц-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули! Ты, конечно, имеешь понятие про эту селедочную потроху, какой это фурор и язва здешних мест. А он фуражку в кулачок и чуть не надвое расстилается. И, можете себе представить, прямо к Пуговкину; просит, чтобы он позволил передать эшелон на ветку. «Господа члены стачечного комитета, говорит, прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку». И чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкину указания бровями и глазами. «Ступайте, говорят, товарищ Пуговкин, на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразумения». А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах, срываай, как говорится, цветы, пока горячо, и, как сказать, лови момент. То есть чтоб он их разагитировал. И действительно, что он и сделал.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему. «Что малые дети, — думал он. — Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает».

— Ну а ты как? — спросили его.

Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это все ни распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменимся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать.

— Пойдемте, Левицкая, — сказал он, прыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил: — Хочешь в Сокольники?

5. Ночь в декабре

Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим движением, полным смысла и мужества. Мы забастовали.

Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней, безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать.

Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличие от предшественников, царствование любило шум. Оно не только обманывало народ, но всеми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало.

Нас били — оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капитуляцию — оно и этот позор ухитрилось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест о свободах, которыми пользуется все образованное человечество, — но каким-то образом обстоятельство это ничего в наших порядках не изменяло.

Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу, и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу, после чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботинки, летел на извозчичьих санках к какому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организации.

В октябре после университетской осады нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильевну. Тогда Александру Александровичу было бы несдобровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Фалетеров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку, и изогнулся надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолока опустилась и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», — говорил Александр Александрович, а он все рассыпался в извинениях, прикладывая руку к козырьку и, изящно оступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками.

После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия.

В сени к нам пришел с повинною пьяный обойщик Мухрыгин и покался в совершенном на нас ложном обносе.

Если бы о деле надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро. Но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыгина предше-

ствовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешептыванья Глафиры Никитичны с Анной Губертовной.

Мухрыгин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку, будто тот по подписному листу набирает охотников в жидовскую веру, сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он ее на разные лады варьировал.

С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провинившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чем обойщику не давал потачки. Усы в сосульках придавали ему вид блюстительный и свирепый.

Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губертовна с утра просила мужа обойтись с обойщиком гуманно, дабы не сталкивать его с доброго пути, на который он вступил. Александр Александрович с трудом себя пересиливал.

— Отчего огня не зажигают? Лампу заправили? — спрашивал он. — Тогда пора зажигать. Да и что его слушать? Гнать в шею, и кончено. Я тебя, милочка, не понимаю.

Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно. Он скучал и зябнул.

Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязные восклицания душили его. Им в подкрепленье собирал он пальцы в триперстие и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. Потом, распустив шепот, вытягивал руку вперед и плавательными движениями разгребал перед собою воздух в поисках слова. Он не раз рухнул бы лицом наземь, если бы плечо не ныло у него в плоской клешне дворниковой рукавицы. Это раздражало его.

— Да что ты, шут гороховый, меня держишь? — возмущался он. — Кто ты есть такой, воротная петля, так меня держать? Я у их квартирующий в обоюдном согласье, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, ну я весь перед вами как на ладони, ваша воля казнить, ваша миловать, и притом не в буйном хмелю. Матушка барыня Анна Кувертовна, детки дорогие, надоть глядеть, откедова у человека слезы, верно я говорю? Какой, может, о душе, а какой об закащицком кредите, это надоть понимать. Теперь, к примеру, может, которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак и чтобы человек знающий и, главная вещь, с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамилию и язык не повернется, видите, какой

грех. И как такое попригичилось, ума не приложу. Люди ведь, не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка, а вот поди ж ты, на таких людей да вдруг такую канифоль...

— Что ж ты там все-таки сказал? — хмурясь, перебивал Александр Александрович.

— И не говорите, грех поминать. Тут и ночи курляндские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп.

— Как это пятьдесят два? Не много ли сразу?

— А ето карты-с, ежели вы насчет разбойников. Обнакновенный ночной картеж.

— Ну и враль же ты, сукин сын! Карты он у нас видал, как это тебе, Анна, понравится? Ну да черт с тобой. Кремлю поверили, вот ты мне что скажи?

— А кто ж, ваша милость, такой околесной станет верить? Из Сущева, сами знаете, крюк немалый. Диви б какой антирес, а то какой вам расчет копать?

— Так какого ж черта ты все это молол? — Терпенью Александра Александровича истощалось. — Вот что, — сказал он. — За тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил. На этот раз ступай. Но вперед смотри. Таких квартирантов мне не надо.

В тот же день проводили мы вечер у Тониных двоюродных сестер. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнения. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова.

Это была гостиная. В ней горела одна стенная лампа в круглом абажуре. Тусклое сиянье кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водорослей перехватывали луч-другой сквозь стекло и воду.

Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунцы или сестры Ярыго, но, подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовется обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. «Да еще и этот Мухрыгин...» — ни к селу ни к городу подумал я.

Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить не в обоевой под нами, а во всем свете, но что именно и каким способом, не пытался и думать, такая томительная неразрешимость исходила от вопроса. Что ж это они? — удивился я. Неужто еще не готовы? Ну и наслушаюсь!

По переулку со жмущим капустным скрипом прошел пешеход. Видимо, сильно подморозило. В два яруса сразу, по земле и небу, пронеслась карета. С занавеси на занавесь по-

плыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и, какая зеркальцем, какая медной денежкой, обошли грот с фонтанчиком, распльив несколько капель огня этой части гостиной.

В комнату влетела младшая из сестер, хохотушка Нонна.

— Он подслушивает! — крикнула она в глубь темной анфилады. — Надо переиграть. — И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задернув портьеру.

На рояль падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Над рожком свешивалось несколько сучьев. Они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиной.

Вдруг низ дома огласился шагами и звуками. «Неужели сами? — подумал я. — Здорово ж тогда мы засиделись у дочек!» Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина.

Только она появилась, как пустой дом наполнился по всем направлениям голосами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какою-то очередною радостью, она впльла в гостиную с туго замотанною в шаль головою. От нее пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани.

— С легким паром, Нимфодора Пеоновна, — сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось.

— Ну тебя совсем, как напугал! — сказала она, потряхнув пухлою ладошкой в перчатке, и продолжала: — А я правда из маскарада. Ну, спасибо. Это что, что с легким, ты скажи — с последним. Во всем мне счастье, на все легкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю — и что же? Завтра не топят, понедельник — трудный день, а во вторник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово! Что же ты стала как пень, неси в спальню, — сказала она молодой горничной с такою же закутанной в платок головою, которая вошла в гостиную с саквояжем на одной руке и пустым тазом с мочалкою под другою. — Что на свете творится, баррикады, как в Париже, ты подумай! А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора, — я двух не требую, — я б вам показала. Все мать твою вспоминаю, покойницу. Немного не дожила, порадовалась бы, бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертихвосток наших? Ну ладно. Спустишь потом, или сам ко мне подымись, небось знаешь дорогу.

Этим намекала она на частые мои посещения всякий раз, как мы бывали у девочек. Только ради нее и ходил я сюда. Слушать ее было истинное удовольствие. Выставляя вперед подбородок, она говорила нараспев и несколько в нос, рас-

тягивая слова, с чуть замедленными придыханиями и столь же мало заметными ускорениями. При круглоте и дородности была она неподражаемая умница и, что называется, шило, то есть, видя всякую вещь насквозь, сверлом входила в ее обсуждение, сверлом выходя наружу. И не удивительно, что считали ее близкой приятельницей старика Лужницына, всей Москве известного хранителя одного из музеев, а также радикала из славянофилов Татъбищина, в свою очередь друживших с Федоровым, Толстым и Соловьевым.

Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда ее обурежала банная удаль. Любила она и поплакать.

Тогда, откинувшись в кресло и подперши голову рукою, вдруг переходила она со мной на «вы», точно чтя во мне какое-то воспоминанье. Щурясь от приятности, она медленно, с грудными скрипами говорила:

— Ах, Патрик, ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, ее знали братья Рубинштейны. А Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему Громеке (все второе поколение она презирала, терпя лишь третье, внучатное) — пусть вас когда-нибудь к ней сводит. Перемерет наша гвардия, тогда хватитесь. А главное — это был человек не от мира сего.

При этих словах Нимфодора Пеоновна изящно, углышком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом с кряхтением, утвердись на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. Но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец.

Глядя на это лицо, полное силы и представительности и в доверчивости как бы готовое улыбнуться, я заключал, что, значит, я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил.

— Если бы не этот человек, — продолжала Нимфодора Пеоновна, снова опустившись в кресло, — она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего. И у нее были более высокие цели.

И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвование, Нимфодора Пеоновна подводила разговор к концу и убирала фотографии, и мама моя, молодая моя мамочка кончалась на моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история освободительного движения в России, в которой Нимфодора Пеоновна не была сильна.

Отчего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал. Но нет, этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетворенья. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желанье?

Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с ее нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства.

Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением меривший ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привычками и дает санкцию всему, что не в его власти, она попуценью предпочла одиночество. Неизвестно, как это внешне у ней проявилось, но утверждающего одобренья прожитому она не дала: след невольной к нему причастности стерла и на память о себе ничего не оставила, кроме меня, единственного и прямого своего продолженья...

Предсказанья Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадила училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступило от них и повернулось к ним спиною.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он, с земли до неба, был приобщен к восстанию и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебаньем. Слуха достигало другое. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье...

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали взаперти и сэкономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовой.

В ноябре, между обеими забастовками, любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выезд-

ную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в зал. Возник вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянье от покупки. Комнаты ломились от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпях, за невозможностью выбрать место получше, решили гардероб временно оставить в зале как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шкаф», — вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развершки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась вперед всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитична явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее спрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказывала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикадами. Народ с них ушел и засел в Верхнем Копытчиковском, но к ночи фабричные беспрерывно спустятся и устроят сражение на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

— В тройцу верить не диво, — говорил Ерофей, — так уж люди рождаются. Да ино вещь делом, ино языком. Эли запускать поглыбже, так сейчас встрелись семик и антисемик, какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали — антисемик, как ты хоша и богомольный, ну выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещенье, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой, а дворник завсегда находящийся на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся.

— Вставай, мы горим! — кричала в дверь Тоня, одеваясь.

— Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной одевшись.

— Выйди на минуту, — сказал я ей.

Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один польхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице прогремели шаги Александра Александровича. С никогда не слышанной зычностью он звал нас вниз со средней площадки.

Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти на дому. Суконные гардины на окнах задернули пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинута на плечи ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя, и дочку, и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть, Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабочены, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

— Сбежать бы на парадное, посмотреть — кто, отпирать ли.

Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке.

— Кто хозяин? — спросила порт-артурская косматая папаха.

— Я, — отвечал Александр Александрович.

— Можно спрятаться?

— О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю, как... В доме большие...

Дружинники переглянулись. Десятник в папаче, а за ним и другие стали осматриваться.

— Что за забором? — спросил десятник.

— Глухой соседский сад.

— А сзади?

— Пустырь со свалками.

— А дальше?

— Система переулков с выходом на Долгоруковскую.

— Прятаться не будем? — полувопросом, полуутвердительно предложил старший.

— Нет, — отвечали остальные. — Двор невелик и стоять не велит.

Все рассмеялись.

— Правильно. Айда, товарищи, — сказал старший, и все бросились к забору.

— Лестницу, Ерофей! — крикнул Александр Александрович.

Но все до одного уже были по ту сторону.

Прошло несколько минут.

— А мороз-то злоющий, — сказал Александр Александрович и зевнул.

— Как есть злощий. Так точно.
— Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык.
— Что вы? Глыбше могилы...Лестницу прикажете убрать?

— Да. Давай вместе снесем. Фу-ты, следов сколько, затоптать бы.

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу.

— Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей! — кричал Александр Александрович. — Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам.

В это время переулок огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На середку двора, освещенную заревом, вошли несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

— Дубровин, пятерых к забору! — орал хорунжий. — Онисименко, я сказал — дворника! Ах, вот он, каналья! Кому служишь, мать твою в пяля? Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота, — хлясь, хлясь, — я тебя научу, — хлясь, хлясь, — отвечать, вихлозадый черт. Иметь наблюдение. Очухается — допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он соскочил в сторону и выхватил револьвер.

— Застрелю! Ни с места! — закричал он. — Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?

— За что вы дворника бьете? — тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

— Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь и кто вы сами?

— Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

— Фамилия?

— Громеко.

— Не слышал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же

так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово — дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это? Отчего в доме не спят? На душе беспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас беспокойно на душе? Ну хорошо-с. Оружие есть?

— Нету.

— Вы дворянин?

— Да.

— Можете опустить руки.

— Мерси, — машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю.

— В доме спали, — начал он. — Ворота были на запоре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

— Какие это рабочие? Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

— Ну да. Несколько этих... висельников. — Александр Александрович замялся. — Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владеньями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

— А скажите, оттуда эти дни не постреливали? С соседних садов. Не замечали?

— Нет. Там все спокойно.

— Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал — следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздалось слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспамятный скак, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекавшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Все скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

— Сейчас. Отвяжитесь, — отмахивался я, но уже сам все им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе перевозмогал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз, и на скуле кровавилась

небольшая ссадина с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные, чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела. И по-прежнему воняло тепло и тошнотворно.

Я все вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. Восстанье кончилось. Все полно было сознанием его крушенья и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвернутые края лиловой обертки. Я спросил чаю. «Сейчас», — ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу, Глафира Никитична пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» — подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силою, что он заплывывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

— Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, — говорил он. — Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя Оля?

— Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

— Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

— Я разыскиваю ее третий день. И пока — безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласись, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее — это, понимаешь ли, не лапоть сплесть.

— Лапти! Условья! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо!.. В приемных покоях!.. В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

— Остановись! — кричал он. — Что с ней?

— Она убита.

— Откуда ты знаешь?

— Чувство подсказало.

— Но... ты его проверил?

— Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху ни духу.

— Свинья же ты после этого, типун тебе на язык! Спасибо за сведенье и... участие... Все равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под желудями завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

— Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне общилась твоя вера.

— И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Ньюта хворает...

— А, это коленка? Бог даст, обойдется.

— Ну конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

— Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

— Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь?

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.

6. Дом с галереями

Надо описать нашу последнюю встречу, Александр Александрович взял меня с собой. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у черта на куличках, где-то в другом конце Москвы.

Положение об усиленной охране еще не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений.

На углу Расторгуева переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От нее оставались одни перила. Скрутившись от жары, они висели в воздухе мотками железного серпантина.

Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдававшимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому недоставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники, и я вспомнил. На одной на баррикад, рассказывали, смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение.

Их производили из такого же, как эти каменные выступы, фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведенный прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это все и происходило.

Два раза попались нам казачьи разъезды, патрулировавшие по городу.

— Тот-то осмелели, — сказал извозчик и смолк.

Александр Александрович ничего не ответил.

У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружия с головы до ног охлопывали прохожих, а выезд из Газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуаров к середке мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя.

Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскакавшего на лошади, мы

подслушали разговор между четою в соседних санях и другим конным, их остановившим.

— Не задерживайте извозчика. Мы опоздаем к поезду, — возмущалась дама. — Покажи им паспорт, что за наказание...

— Вы за границу? — спросил жандарм, нагибаясь с седла и зажигая спичку за спичкой.

Мы тронулись дальше. Но и их пропустили. Оглянувшись, я увидел, как их извозчик стоя нахлестывал к Николаевскому.

— Какая же с этих вокзалов «заграница»? — изумился я.

— Сколько угодно, — отвечал Александр Александрович. — Во-первых, Финляндия. Морем из Петербурга. Кроме того, через Тосно или Режицу. А с Ярославского — так даже и в Америку.

Наконец мы приехали. Я потом таких домов больше не видел. Скользящая лестница с сильным капустным кваском пролежала крытою, холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными завертками на гвоздиках.

Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протесьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «Вязлова» и больше ничего: ни буквенных инициалов, ни звания.

Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочая, и удивился, что снаружи нет об этом объявления.

Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. Их глушили войлочные подушки обивки.

Невдалеке стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутою крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, а нутро кадки стягивал лед в несколько пустых, насквозь проломанных пластов. На краю верхнего, с лучеобразно рассачивающимися трещинами, стояла цинковая кружка.

Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на черном шнурке молча пропустила нас вперед, ни о чем не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Вязлова.

— Виноват, — сказал Александр Александрович. — Мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?

К концу его слов Вязлова очутилась у него под самым подбородком.

— Пожалуйте. Она отдыхает, — сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза.

Из темной передней, куда мы за ней последовали, мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее

на писаную картину. Громеко с Вязловой прошли дальше, я же остановился как вкопанный.

Передо мною было три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в нее была закрыта. Из нее доносились голося, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу.

В обеих боковых горели висячие лампы и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие. Их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство — учащиеся других групп, дожидавшиеся очереди в среднюю комнату.

В квартире стоял тяжкий, настоянный на нужде и стесненности, кроваво-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов.

В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проеме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нем была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях.

Справа вышла Вязлова. Она подошла к нему вплотную.

— Скоро вам, Нелль? — сказала она. — Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точно я сейчас родилась и никогда программ не видала, а я любую зубок скажу. Например, в кадетских...

— Дайте мне ячменного сахару, и ну вас к черту с вашими корпусами, — сказал молодой человек и закашлялся.

— Как вы переменялись, — вздохнула Вязлова. — С тех пор, как вы повернулись к Леле спиной...

— Мамочка, какие выражения. Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон Петька валяется, если у вас язык чешется. Это почва благодатней.

Вязлова пожала плечами и отвернулась. Тут она меня заметила.

— Ах вот он, малютка! — воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. — А мы думали, вы в пути затерялись. Что же вы в передней топчетесь, юный классик? Ступайте за мной, там ваши старшие.

Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню.

Комната освещалась с потока цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Олино лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала, лежа на незастланной кровати.

— Как, и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал? — упрекнула она Громеко и, соскочив с постели, меня расцеловала.

Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила.

— Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете, ведь это дети, это просто безбожно. Потому что половина были его ученики, реалисты старших классов. Ты себе представляешь, Сашенька, волнение? Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Ее забаррикадировали скамьями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут, и мы всей ватагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части, кажется, Рахманинов или Рахманов. А тем временем, как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит — стой-стой, потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол теши на голове, и ну рубить. Господи, твоя воля, что тут сделалось! Кругом темным-темно, на уме одно — поскорей бы в подворотню, а рядом валяются, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы. А крики... А стоны... Ротмистр, кричу, так вот оно, ваше честное слово? А что он может сделать, когда его не слушают... Но ведь перед тем, что дальше было, Фидлер — капля в море.

Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку ее голоса я догадался, что она думает о чем-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она привстала и прошла по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь наткалась. От круженья на одном месте юбка стала хлестать ее по ногам. Вдруг она остановилась и закрыла глаза. Содроганье прошло по ней, точно ее знобило.

— Нет, нет и нет, — сказала она, словно очнувшись от сна, — вон из этого клоповника. Завтра же куда-нибудь перееду. Посадят, — подумаешь, какая важность. По крайней мере, хоть выплещу. У вас не искали?

— Нет покамест.

— А в Спасопесковский наведывались.

— Да купи ты себе, дура ты этакая, персидского порошку и будешь спать как убитая.

Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крикнув, стал подыматься.

— Ты куда это? — встрепенулась Оля. — И не думай. С семи до девяти перерыв, можно будет уединиться. Оставайтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его. Вы с ним еще не видались? Послушай, будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слышал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные.

Оля не выдержала и, упав лицом в подушки, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала, разинув рот, ничком и наискось поперек кровати.

Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней.

Ученики разошлись. Наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть народу — сын Вязловой Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец; желчный молодой человек Анемподист Дудоров; Петр Терентьев, которого я видел впервые, да еще два-три студента университета. Нас презнакомили.

— Сперва все шло хорошо, — рассказывал Терентьев. — У полиции хлопот по горло. Их еще не хватились. Но только добираются до деревни, мужички их чуть ли не в колья. Вот вы как, говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать? И грозятся собрать сход. Еле унесли ноги.

— Ничего удивительного. Это в порядке вещей, — сказал Дудоров.

Все на него накиннулись.

— Что ты рисуешься? — возмутился Вязлов. — Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, чем прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал, видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломанье?

— Глупости. Не могли меня видеть, я под Муромом охотился. Это какой-нибудь двойник.

После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе Мещанских, но особняком и только за свой страх.

Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых, несмотря на молодость, отбыл три года административной ссылки, но теперь отошел от привычного круга и к теоретическому марксизму охладел совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко, принятый обратно в университет по чьей-то сильной протекции. Он что-то переводил и подпи-

сывал, но еще без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки былых товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга.

Терентьев развивал две излюбленных мысли. Что по своей молодости пролетариат у нас еще неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой, грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции — две разные вещи. Первое — предмет праздного любования, второе — пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же это одно. Он и за формулами не забывает того, что это законы именно природы, а не чего-нибудь другого, той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в ее всеобщности, с целую подлунную, во вселенском, так сказать, ее размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой, в той первичности, как его бабке сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и, забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и вытверживание общеизвестного. Делал он это книжно, позаученному и совсем не к месту, потому что кругом на этом собаку съели и повторяют это в этой компании было все равно что яйцам учить курицу.

— Всмотримся пристально в процесс, — говорил он, — что мы имеем. В ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической прогрессии отливает в города. Погодите, Варвара Ивановна. С другой стороны, в потребности рабочих рук промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили, что мы увидим? В ходе развития промышленности приставленный к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подымется по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спросят начатки механики, знание электричества и бойкое, не сходя с места, умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите, природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в березовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите, законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнит-

ным полем гнется, как над паровым перед распахкой под озимь. Потому что для него это одно...

Тут и следовала мысль, которую он выражал так самостоятельно и не избито. Дальше возвращались очевидности.

— Теперь последуем, однако, за ним по этой лесенке, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы увидим? Дамы-благотворительницы между собой стараются, как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю — первой грамоте будут учить или, чего доброго, соску купят или погремушку. Но вот он руки об паклю, а потом об блузу — и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга.

— Да ты меня не агитируй, — говорил Дудоров. — Торжества революции я жду нетерпеливей всех вас. Сто лет как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку, и в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут не уместен. Ее надо увидеть своими глазами. Еще лет десять оттяжки, и мы задохнемся. Погоди улыбаться. И, конечно, она придет. На первых порах это будет именно то, о чем мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от уродств капиталистической эксплуатации. Но придет наконец и настоящая свобода. Освободится время, отданное несколькими поколениями ей, ее обсуждению, жизни и гибели за нее, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила... Только ли огорошивать ей и ошарашивать. А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо непритязательное, просиять, улыбнуться...

Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. «Звонок, — сказал Вязлов. — Петька, мотай на ус, потом ответим». И вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дудорова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте.

— Оставайтесь тут, — приказала Вязлова. — Они у Мити переговоят. Незачем вам встречаться.

Минут через пятнадцать послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но, минуя ее, удалились через переднюю и кухню наружу.

В столовую быстро вошел Терентьев. Он сиял и спешил к Оле.

— Митя провожать пошел, Варвара Ивановна, — сказал он на ходу.

В эту минуту сама Оля вышла из спальни, красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка.

— Леля Осипович? — воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками.

— Да. Большая радость. Папаша и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них, минутой раньше сама расспросила. Папаша, — продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу, — оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. А то ведь там... язык прилипает, что было... И попадись он им под горячую руку... не знаю, чем от мысли зачураться. Но они еще раньше расстроились. Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость. А сами пешком в Москву за справками. Оттого и дом пустой, ни души, а мы-то напугались.

Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и все сиял. Какая-то радость, еще одна, была у него про запас для нее, тайная, неизрасходованная. И вот, забыв правила не то что конспирации, а просто-напросто благоразумия (чтобы не сказать — приличия), Оля на минуту задумалась...

— Паспорта принесли? — с тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на нее и зашикали.

— Ну что ты с ней поделаешь, — сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к Александру Александровичу.

Menschen und Standorte

Shenja Lüvers Kindheit

***Der Anfang des Romans
über Patrik***

Menschen und Standorte

Autobiographische Skizze¹

Kindheit

1

Im „Schutzbrief“, dem Versuch einer Autobiographie, geschrieben in den zwanziger Jahren, habe ich die Umstände ergründet, die mich geprägt haben. Leider ist das Buch verunstaltet von einer unnötigen Manieriertheit, einer allgemeinen Sünde jener Jahre.

In der vorliegenden Skizze werde ich einiges Nacherzählen aus ihm nicht umgehen können, wenn ich mich auch bemühe, mich nicht zu wiederholen.

2

Ich wurde in Moskau am 29. Januar 1890, nach alter Zeitrechnung², geboren, im Hause Lyshins, gegenüber dem Geistlichen Seminar in der Orushejny-Gasse. Unerklärlicherweise ist etwas hafengeblieben von den herbstlichen Spaziergängen mit der Amme im Park des Seminars. Die aufgeweichten Pfade unter den Haufen gefallener Blätter, die Teiche, die aufgeschütteten Erdhügel und gestrichenen Barrieren des Seminars, die Spiele und Schlachten der johlenden Seminaristen in den großen Pausen.

¹ Geschrieben 1956, ergänzt 1957. Erstveröffentlichung: «Novyj mir» 1967/1. Übersetzt nach: Boris Pasternak, *Vozdusnye puti...*, Moskau 1982. Die autobiographische Skizze entstand als Vorwort zu einer Werkausgabe die nicht zustande kam. — Здесь и далее прим. нем. изд.

² d. h. nach dem Julianischen Kalender; nach der neuen Zeitrechnung (dem Gregorianischen Kalender) am 10. Februar 1890.

Dem Tor des Seminars gerade gegenüber stand ein zweigeschossiges steinernes Haus mit einem Hof für die Kutscher und unserer Wohnung über der Einfahrt, im Bogen ihres Gewölbes.

3

Die Empfindungen der frühen Kindheit waren gemischt aus Elementen des Schreckens und des Entzückens. Mit der Märchenhaftigkeit der Farben stiegen sie auf zu zwei zentralen Gestalten, die über alles herrschten und alles umfaßten. Zur Gestalt der ausgestopften Bären in den Droschkenhöfen des Karetny Rjad und zu der Gestalt eines Guten Riesen, des Verlegers P. P. Kontschalowski, mit seinem gebeugten Rücken, Zottelhaar und dumpfen Baß, zu seiner Familie und zu den Bleistift-, Feder-, und Tuschzeichnungen von Serow, Wrubel, meinem Vater und den Brüdern Wasnezow, die in den Zimmern seiner Wohnung hingen.

Das Revier war sehr verdächtig – diese Twerskaja, Jamskaja, der Truba, die Gassen am Zwetnoi-Boulevard. Immerfort wurde man weitergezerrt an der Hand. Irgend etwas durfte man nicht wissen, irgend etwas sollte man nicht hören. Doch die Ammen und Mamas ertrugen die Einsamkeit nicht, und so umgab uns die bunte Gesellschaft. Und mittags wurden auf dem offenen Platz der Snamenski-Kasernen die berittenen Gendarmen gedrillt.

Aus diesem Umgang mit den Bettlern und Pilgerinnen, aus der Nachbarschaft zur Welt der Entrechteten, ihren Historien und Hysterien auf den nahen Boulevards, trug ich vorzeitig früh für das ganze Leben ein bis zum Erstarren erschreckendes Mitleid mit Frauen davon und ein noch unerträgliches Mitleid mit den Eltern, die früher als ich sterben werden und für deren Erlösung von den Höllenqualen ich etwas unerhört Helles und Niedagewesenes vollbringen muß.

4

Als ich drei Jahre alt war, zogen wir um in eine Dienstwohnung der Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Architektur auf der Mjasnizkaja gegenüber dem Postamt. Die Wohnung befand sich im Flügel, innen im Hof, außerhalb des Hauptgebäudes.

Das Hauptgebäude, altertümlich und schön, war in vieler Hinsicht bemerkenswert. Der Brand von 1812 hatte es verschont. Ein Jahrhundert davor, unter Katharina, bot das Haus einer Freimaurerloge geheime Zuflucht. Die seitliche Abrundung an der Ecke Mjasnizkaja, Juschkow-Gasse schloß einen halbrunden Balkon mit Säulen ein. Die geräumige Plattform des Balkons schob

sich mit einer Nische in die Mauer und verband sich mit der Aula des Instituts. Vom Balkon hatte man einen Durchblick durch die weit, zu den Bahnhöfen, fortlaufende Mjasnizkaja.

Von diesem Balkon verfolgten die Hausbewohner im Jahre 1894 die Zeremonie der Überführung der streblichen Hülle Imperator Alexanders III., und dann, zwei Jahre später, einzelne Szenen der Krönungsfeierlichkeiten bei der Thronbesteigung Nikolais II.

Da standen die Lernenden und die Lehrer. Die Mutter hielt mich auf dem Arm in der Menge am Balkongeländer. Zu ihren Füßen tat sich der Abgrund auf. Am Boden des Abgrunds erstarrte die mit Sand bestreute leere Straße in Erwartung. Die Militärs rannten hin und her und erteilten schallende Anweisungen in aller Ohr, die jedoch das Gehör der Zuschauer auf dem Balkon nicht erreichten, als ob die Stille der den Atem anhaltenden Tausende, welche die Spaliere der Soldaten bis zur Kante des Bürgersteigs vom Damm gedrängt hatten, die Laute restlos verschluckte, wie Sand Wasser. Man begann trübselig und gedehnt zu läuten. Eine fernher rollende und weiter vorandringende Welle schwappte als ein Meer von Händen zu den Köpfen. Moskau nahm die Mützen ab, bekreuzigte sich. Unter dem von überall einsetzenden Grabesläuten zeigte sich der Kopf des endlosen Zuges, Militär, Geistlichkeit, Pferde in schwarzen Decken mit Federbüschen, der Katafalk von unausdenkbarer Pracht, Herolde in nie gesehenen Uniformen eines anderen Jahrhunderts. Und die Prozession ging weiter und weiter, und die Häuserfronten waren mit ganzen Bahnen Trauerflor verkleidet und mit Schwarzem bedeckt, und gesenkt hingen die Trauerfahnen.

Der Geist des Poms war nicht zu trennen von der Lehranstalt. Sie unterstand dem Ministerium des kaiserlichen Hofes. Der Großfürst Sergej Alexandrowitsch war ihr Kurator, er besuchte ihre Feiern und Ausstellungen. Der Großfürst war hochaufgeschossen und mager. Die Zeichenblöcke mit den Pappdeckeln abdeckend, zeichneten Vater und Serow Karikaturen auf ihn an den Abenden bei den Golyzins und den Jakuntschikows, die er besuchte.

5

Im Hof, gegenüber der Pforte eines kleinen Gartens mit sehr alten Bäumen, zwischen den Schuppen, den Hof- und Wirtschaftsgebäuden, erhob sich der Flügel. Im Keller unten wurde den Studierenden ein warmes Frühstück verabreicht. Auf der Treppe stand ein dauernder Dunst von in Schmalz gebackenen Piroggen und gebratenen Buletten. Auf dem Treppenabsatz darüber war die Tür zu unserer Wohnung. Eine Etage höher wohnte der Schriftführer der Lehranstalt.

Und das hier las ich fünfzig Jahre danach, erst ganz vor kurzem, in jüngster Sowjetzeit, in N. S. Rodionows Buch „Moskau im Leben und Schaffen L. N. Tolstois“ auf Seite 125, unter dem Jahr 1894.

„Am 23. November fuhr Tolstoi mit den Töchtern zu dem Maler L. O. Pasternak in die Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Architektur, wo Pasternak Direktor war, zu einem Konzert. Dort traten die Frau Pasternaks und Professoren des Konservatoriums auf, der Geiger J. W. Grshimali und der Cellist A. A. Brandukow.“

Es ist alles richtig, bis auf einen kleinen Irrtum. Der Direktor der Lehranstalt war Fürst Lwow und nicht Vater.

An die von Rodionow notierte Nacht erinnere ich mich ausgezeichnet. Mitten in dieser Nacht erwachte ich von einer süßen; beklemmenden Qual, die ich in einem solchen Grad noch nicht erfahren hatte. Ich fing zu schreien und zu weinen an vor Sehnsucht und Furcht. Doch die Musik übertönte meine Tränen, und man hörte mich erst, als der Teil des Trios, der mich geweckt hatte, zu Ende gespielt war. Der Vorhang, hinter dem ich lag und der das Zimmer in zwei Räume teilte, glitt auseinander. Die Mutter erschien, beugte sich über mich und beruhigte mich schnell. Sicherlich trug man mich zu den Gästen hinaus, oder vielleicht sah ich das Gästezimmer auch durch den Rahmen der offenen Tür. Es war voll Tabakrauch. Die Kerzen zwinkerten mit den Wimpern, als beiße er ihnen in die Augen. Sie beleuchteten grell das rote lackierte Holz der Geige und des Violoncellos. Schwarz der Flügel. Schwarz die Gehröcke der Männer. Die Damen guckten bis zu den Schultern aus den Kleidern wie Namenstagsblumen aus den Blumenkörben. Die Rauchringe und die grauen Haarkränze zweier oder dreier Greise flossen ineinander. Mit dem einen wurde ich später gut bekannt und sah ihn oft. Das war der Maler N. N. Gay. Die Gestalt des anderen ging, wie bei den meisten, durch mein ganzes Leben, insbesondere deswegen, weil mein Vater ihn illustrierte, oft zu ihm fuhr, ihn verehrte und weil unser ganzes Haus von seinem Geist durchdrungen war. Es war Lew Nikolajewitsch.

Warum aber weinte ich so und warum ist mir dieses Leid so im Gedächtnis geblieben? An den Klang des Fortepianos im Haus hatte ich mich gewöhnt, meine Mutter spielte es meisterhaft. Die Stimme des Flügels erschien mir als ein unabdingbarer Bestandteil der Musik selbst. An die Timbres der Saiteninstrumente, besonders in einer Kammermusik, war ich nicht gewöhnt, und sie regten mich auf wie wirkliche, durch das Lüftungsfenster von außen kommende Hilferufe und Unglücksbotschaften.

Es war, glaube ich, ein Winter mit zwei Toden: dem Anton Rubinsteins und dem Tschaikowskis. Vermutlich spielten sie das berühmte Trio des letzteren.

Diese Nacht legte sich wie eine Grenzscheide zwischen die Erinnerungslosigkeit des Kleinkindalters und meine weitere Kindheit. Sie setzte mein Gedächtnis in Kraft, und mein Bewußtsein begann, ohne größere Unterbrechungen und Einstürze seitdem, zu arbeiten wie bei einem Erwachsenen.

6

Im Frühling wurden in den Sälen der Lehranstalt Ausstellungen der Wanderaussteller¹ eröffnet. Man hatte die Ausstellung im Winter aus Petersburg gebracht. Die Kästen mit den Bildern hatte man in die Schuppen gestellt, die sich in einer Linie hinter unserem Haus hinzogen, unseren Fenstern gegenüber. Vor Ostern trugen sie die Kästen in den Hof heraus und packten sie vor den Türen der Schuppen unter freiem Himmel aus. Angestellte der Lehranstalt öffneten die Kästen, schraubten die Bilder in den schweren Rahmen von den Kastenböden und -deckeln und trugen sie zu zweit über den Hof zur Ausstellung. In die Fensterbänke gedrückt, sahen wir gierig zu. So wanderten vor unseren Augen die berühmtesten Gemälde Repins, Mjassojedows, Makowskis, Surikows und Polenows vorüber, die gute Hälfte der Bildschätze der heutigen Galerien und staatlichen Magazine.

Die Vater nahestehenden Maler und er selbst stellten bei den Wanderausstellern nur am Anfang und nicht lange aus.

Bald bildeten Serow, Lewitan, Korowin, Wrubel, Iwanow, Vater und andere eine jüngere Vereinigung – den „Verband russischer Maler“.

Am Ende der neunziger Jahre kam der Bildhauer Pawel Trubezkoi aus Italien, wo er sein ganzes Leben verbracht hatte. Man stellte ihm ein neues Atelier mit Oberlicht zur Verfügung, welches man an unsere Hauswand gebaut hatte, so daß der Anbau unser Küchenfenster einschloß. Früher ging das Fenster auf den Hof, jetzt aber sah es in die Bildhauerwerkstatt Trubezkois. Aus der Küche beobachteten wir sein Modellieren, die Arbeit seines Formers Robecchi und auch seine Modelle – von den ihm posierenden kleinen Kindern und Ballettinnen bis zu den zwispännigen Kutschen und reitenden Kosaken, die durch das weite Tor der hohen Werkstatt frei passierten.

Aus derselben Küche erfolgte die Beförderung der vortrefflichen Illustrationen Vaters zu Tolstois „Auferstehung“ nach Petersburg. Der Roman erschien Kapitel für Kapitel, dem Fortgang der letzten Bearbeitung folgend, in der Zeitschrift „Niwa“² bei

¹ Die Wanderaussteller oder Peredwischniki waren eine Vereinigung demokratisch gesinnter, realistischer Künstler in Rußland, die 1870 auf Initiative von I. Kramskoi, N. Gay, G. Mjassojedow, W. Petrow u. a. in Petersburg gegründet wurde.

² illustrierte Wochenzeitschrift, die in Petersburg bzw. Petrograd von 1870 bis 1918 herauskam.

dem Petersburger Verleger Marks. Es war eine fieberhafte Arbeit. Ich erinnere mich an Vaters Eile. Die Nummern der Zeitschrift erschienen regelmäßig, ohne Verspätung. Man mußte es zu jeder rechtzeitig schaffen.

Tolstoi hielt die Korrekturen zurück, arbeitete alles um. Es stand zu befürchten, daß die Zeichnungen zum ersten Text nach seinen Änderungen nicht mehr stimmten. Doch Vater machte seine Skizzen ja eben dort, wo auch der Autor seine Beobachtungen schöpfte: auf dem Gericht, in einer Gefängnisstation¹, im Dorf, bei der Eisenbahn. Vor der Gefahr der Abweichung rettete der Vorrat lebendiger Eindrücke, die Gemeinsamkeit der realistischen Auffassung.

Die Zeichnungen gingen der Dringlichkeit wegen per Gelegenheit ab. Die Schaffnerbrigade des Kurierzuges der Nikolai-Eisenbahn war dazu herangezogen worden. Auf die kindliche Einbildungskraft wirkte der Anblick eines Schaffners in dem Uniformmantel der Eisenbahn, der wartend auf der Schwelle der Küchentür stand wie auf dem Perron, an der Wagentür des abzufertigenden Zuges.

Auf dem Herd kochte der Tischlerleim. Die Zeichnungen wurden hastig bestrichen, mit Fixativ getrocknet, auf Karton geklebt, eingepackt, verschnürt. Die fertigen Pakete mit Siegelack versiegelt und dem Schaffner übergeben.

Skrjabin

1

Die ersten beiden Jahrzehnte meines Lebens unterscheiden sich sehr voneinander. In den neunziger Jahren bewahrte Moskau noch sein altes, bis zum Märchenhaften malerisches Krähwinkel-Gesicht mit den legendären Zügen eines dritten Roms oder der Hauptstadt in den Bylinen und all der Herrlichkeit seines berühmten vierzig mal vierzig². Die alten Bräuche waren noch in Kraft. Im Herbst wurde in der Juschkow-Gasse, auf die der Hof der Lehranstalt ging, im Hof der Kirche Flors und Lawrs, die als die Schutzheiligen der Pferdezucht galten, eine Segnung der Pferde vorgenommen, und die ganze Gasse war mit ihnen und den Kutschern und Reitknechten, die sie zum Segen führten, bis zum Tor der Lehranstalt überschwemmt wie bei einem Pferdemarkt.

Mit dem Anbruch des neuen Jahrhunderts hat sich, meinen kindlichen Erinnerungen nach, wie auf den Wink mit einem Zauberstab hin alles verwandelt. Moskau wurde erfaßt von der rasenden Geschäftigkeit der ersten Welthauptstädte. Stürmisch

¹ Eine Zwischenstation für Gefangenentransporte.

² steht für eine nicht genau bestimmte, sehr große Zahl (der goldenen Kuppeln und Türme Moskaus).

begann man hohe Mietshäuser zu bauen, nach den unternehmerischen Prinzipien des schnellen Gewinns. Auf allen Straßen ragten fast unmerklich emporgeschossene Ziegelgiganten zum Himmel. Zusammen mit ihnen gab Moskau, Petersburg überholend, einer neuen russischen Kunst ihren Anfang, der Kunst einer Großstadt, jung, zeitgemäß, frisch.

2

Das Fieber des ersten Jahrzehnts wirkte sich auch auf die Lehranstalt aus. Die staatlich bewilligten Mittel reichten nicht zu ihrem Unterhalt. Man übertrug Geschäftsleuten die Beschaffung von Geldmitteln zur Ergänzung des Budgets. Es wurde beschlossen, auf dem Boden der Lehranstalt mehrstöckige Wohngebäude zu errichten, deren Wohnungen vermietet werden sollten, und in der Mitte des Grundstücks, im vormaligen Garten, gläserne Ausstellungsräume zu bauen, zur Vergabe gegen Pacht. Ende der neunziger Jahre wurde begonnen, die Hofflügel und die Schuppen abzutragen. In dem gerodeten Garten wurden tiefe Baugruben ausgehoben. Die Gruben füllten sich mit Wasser, in ihnen schwammen, wie in Teichen, ertrunkene Ratten. Frösche sprangen von der Erde und tauchten hinein. Unser Flügel war ebenso zum Abriß bestimmt.

Im Winter richtete man uns eine neue Wohnung aus zwei oder drei Klassenzimmern und Hörsälen im Hauptgebäude ein. Im Jahr 1901 zogen wir in sie um. Weil man die Wohnung aus Räumen ausgeschnitten hatte, von denen der eine rund war, der andere von noch eigenwilligerer Form, waren in dem neuen Heim, in welchem wir zehn Jahre wohnten, die Vorratskammer und das Badezimmer halbmondförmige Räume, die Küche oval, und in das Eßzimmer schob sich eine halbrunde Ausbuchtung. Hinter der Tür war immer das gedämpfte Gedröhn der Werkstätten und Korridore der Lehranstalt hörbar, und im letzten, dem Grenzzimmer, konnte man die Vorlesungen Professor Tschaplygins über Heizungsausrüstung in der Architekturklasse verfolgen.

In den vorangegangenen Jahren, noch in der alten Wohnung, beschäftigte sich mit meinem vorschulischen Unterricht mal die Mutter, mal irgendein Privatlehrer, den man kommen ließ. Eine Zeitlang bereitete man mich auf das Peter-und-Paul-Gymnasium vor, und ich ging das gesamte Elementarprogramm auf deutsch durch.

Von diesen Erziehern, an die ich mit Dankbarkeit zurückdenke, will ich meine erste Lehrerin, Jekaterina Iwanowna Boratynskaja, nennen, eine Kinderschriftstellerin und Übersetzerin von Jugendliteratur aus dem Englischen. Sie unterrichtete mich in Grammatik, den Anfangsgründen der Arithmetik und in Fran-

zösisch und begann mit dem allerersten, damit, wie man auf dem Stuhl sitzt und den Federhalter in der Hand hält. Sie hatte eins der möblierten Zimmer genommen. Dorthin brachte man mich zu ihr. In dem Zimmer war es dunkel. Es war von unten bis oben voller Bücher. Es roch nach Sauberkeit, Strenge, gekochter Milch und gebranntem Kaffee. Hinter dem Fenster, das mit einem gestrickten Spitzenvorhang verhängt war, fiel ein unsauberer, kremig-grauer Schnee, an die Strickmaschen erinnernd. Er lenkte mich ab, und ich antwortete Jekaterina Iwanowna, die sich mit mir auf französisch unterhielt, aufs Geratewohl. Am Ende der Stunde rieb Jekaterina Iwanowna die Feder an der Innenseite der Jacke ab, wartete, daß man mich abholen kam, und entließ mich.

Im Jahre 1901 trat ich in die zweite Klasse des Moskauer Fünften Gymnasiums ein, das nach der Reform Wannowkis klassisch geblieben war und neben der in den Lehrgang aufgenommenen Naturkunde und den anderen neuen Fächern das Altgriechische in seinem Programm behielt.

3

Im Frühjahr 1903 mietete Vater eine Datscha in Obolenskoje bei Malojaroslawez an der Brjansker, heute Kiewer Eisenbahn. Als unser Datschennachbar entpuppte sich Skrjabin. Wir und die Skrjabins waren damals noch nicht von Haus zu Haus bekannt.

Die Datschen standen in Abständen auf einer Anhöhe entlang einem Waldrand. Auf die Datscha fuhren wir wie üblich am frühen Morgen. Die Sonne zersplitterte sich im Laub des Waldes, das tief auf das Haus herunterhing. Die Sackkleinenballen wurden aufgetrennt und aufgeschlitzt, man zog die Sachen zum Schlafen und die Proviantvorräte hervor, nahm Pfannen und Eimer heraus. Ich lief fort in den Wald.

Gott und Herr der Gewalten, was alles erfüllte ihn an diesem Morgen! In allen Richtungen durchdrang ihn die Sonne. Das sich bewegende Walddunkel rückte ihm immerfort, mal so, mal anders, den Hut zurecht. Aus seinen sich hebenden und senkenden Zweigen ergingen sich die Vögel in jenem, immer unerwarteten Gezwitscher, an das man sich nie gewöhnen kann, das anfangs jäh aufbricht, aber dann allmählich still wird und das mit seiner hitzigen und immer wiederholten Beharrlichkeit den Bäumen des fernhin forteilenden Dickichts gleicht. Und vollkommen ebenso, wie in dem Wald Licht und Schatten wechselten und die Vögel von einem Zweig zum andern hinüberflogen und sangen, durchzogen ihn und entrollten sich in ihm die Bruchteile der Dritten Sinfonie oder des Göttlichen Poems, das man auf dem Fortepiano in der Nachbardatscha schuf.

Gott, was für eine Musik war das! Die Sinfonie brach ununterbrochen ein und fiel zusammen wie eine Stadt unter Artilleriebeschuß und erbaute sich als Ganzes und wuchs aus den Trümmern und Zerstörungen. Die ganze Musik war überfüllt von einem bis zur Tollheit ausgearbeiteten und neuen Inhalt, so wie der Leben und Frische atmende Wald neu war, den an diesem Morgen, nicht wahr, das Frühlingslaub des Jahres 1903 und nicht des Jahres 1803 bekleidete. Und wie in diesem Wald nicht ein einziges Blättchen aus Krepppapier oder angestrichenem Blech war, so gab es in der Sinfonie nichts verlogenes Tiefes, rhetorisch Ehrwürdiges, „wie bei Beethoven“, „wie bei Glinka“, „wie bei Iwan Iwanowitsch“¹, „wie bei der Fürstin Marja Alexejewna“², doch die tragische Kraft des Entstehenden streckte allem hinfällig Anerkannten und erhabenen Stumpfen triumphierend die Zunge heraus und war kühn bis zur Besinnungslosigkeit, bis zur Lausbüberei, übermütig elementar und frei wie ein gefallener Engel.

Man mochte meinen, daß ein Mensch, der eine solche Musik komponiert, versteht, wer er ist, und nach der Arbeit durchhellte klar und gestillt zufrieden ist wie Gott, als er am Siebenten Tage ausruhte von Seinen Werken. Und er war auch so.

Er ging oft mit Vater auf der Warschauer Chaussee spazieren, welche die Gegend durchschnitt. Manchmal begleitete ich sie. Skrjabin liebte es, nach einem Anlauf den Lauf, gleichsam mit der Schwungkraft, hüpfend fortzusetzen, wie ein als Querschläger geworfener Stein über das Wasser gleitet, nur wenig fehlte, und er hätte sich von der Erde gelöst und wäre durch die Luft geschwommen. Er pflegte überhaupt verschiedene Spielarten einer vergeistigten Leichtigkeit und einer unbeschwertten Bewegung an der Grenze des Flugs in sich. Zu den Erscheinungen von dieser Art muß man seine bezaubernde Vornehmheit rechnen, die Weltlichkeit, mit der er in Gesellschaft Ernstes umging und leer und oberflächlich zu erscheinen bemüht war. Um so überraschender waren seine Paradoxe auf den Spaziergängen in Obolenskoje.

Er stritt mit Vater über das Leben, über die Kunst, über Gut und Böse, griff Tolstoi an, predigte den Übermenschen, die Amoralität, das Nietzscheanertum. In einem stimmten sie überein – in den Ansichten über das Wesen und die Aufgaben der Meisterschaft. In allem übrigen gingen sie auseinander.

Ich war zwölf Jahre alt. Die Hälfte ihrer Streitgespräche verstand ich nicht. Doch Skrjabin bezwang mich mit der Frische seines Geistes. Ich liebte ihn unbändig. Ohne in das Wesen seiner Meinungen einzudringen, war ich auf seiner Seite. Bald fuhr er für sechs Jahre in die Schweiz.

¹ wie bei Hinz und Kunz.

² nach einem Ausspruch Famussows aus Gribojedows Komödie „Verstand schafft Leiden“; charakterisiert Skrjabins Einstellung zu musikalischen Konventionen.

In jenem Herbst verzögerte sich unsere Rückkehr in die Stadt wegen eines unglückseligen Vorfalles mit mir. Vater hatte das Bild „Nachts“¹ entworfen. Darauf waren Mädchen aus dem Dorf Botscharowo dargestellt, die, in gestrecktem Galopp reitend, die Herde bei Sonnenuntergang auf die Sumpfwiesen vor unseren Hügeln trieben. Als ich mich ihnen einmal anschloß, stürzte ich bei einem Sprung über einen breiten Bach von dem durchgehenden Pferd und brach mir das Bein, welches verkürzt zusammenwuchs und mich in der Folge bei allen Einberufungen vor dem Kriegsdienst rettete.

Ich hatte auch vorher, vor dem Sommer in Obolenskoje, ein wenig auf dem Klavier geklumpert und schlecht und recht etwas Eigenes zustande gebracht. Jetzt, unter der Wirkung der Anbetung, die ich für Skrjabin hegte, entflammte der Hang zu Improvisationen und zum Komponieren bei mir zur Leidenschaft. Von diesem Herbst an wendete ich die sechs folgenden Jahre, die gesamte Gymnasiastenzeit, an das Grundstudium der Komposition, zuerst unter der Aufsicht eines damaligen Musiktheoretikers und Kritikers, des sehr feinsinnigen J. D. Engel, dann unter der Anleitung von Professor R. M. Glier.

An meiner Zukunft zweifelte niemand. Mein Schicksal war beschlossen, der Weg richtig gewählt. Man sah in mir den Musiker, verzieh mir der Musik zuliebe alles, jederart undankbare Schädlichkeit im Betragen gegen Ältere, denen ich nicht das Wasser reichen konnte, Eigensinn, Ungehorsam, nachlässiges und sonderbares Benehmen. Sogar im Gymnasium, wenn man mich beim Lösen von Fugen- oder Kontrapunkt-Aufgaben in dem auf der Bank aufgeschlagenen Notenheft erwischte und ich, vom Platz gebeten, dastand wie ein Klotz und nichts zu antworten wußte, nahm mich die ganze Klasse in Schutz, ließen die Lehrer mir alles durchgehen. Und trotzdem verließ ich die Musik.

Ich verließ sie, als ich frohlocken durfte und alle ringsum mir gratulierten. Mein Gott und Abgott kam aus der Schweiz mit der „Ekstase“² und seinen letzten Werken zurück. Moskau feierte seine Siege und seine Rückkehr. Auf dem Höhepunkt seiner Triumphe erkühnte ich mich bei ihm zu erscheinen und spielte ihm meine Kompositionen vor. Die Aufnahme übertraf meine Erwartungen. Skrjabin hörte mir zu, ermunterte, beflügelte, segnete mich.

Doch niemand wußte von meinem verborgenen Kummer, und niemand, hätte ich davon gesprochen, hätte mir glaubt. Bei erfolgreich voranschreitendem Komponieren war ich hilflos in praktischer Beziehung. Ich konnte kaum Klavier spielen und erfaßte sogar die Noten nicht fließend genug, fast nur taktweise. Diese Kluft zwischen einem durch nichts erleichterten neuen musikalischen Denken und seiner

¹ Eigentlich: „Das Nächtliche“, das bedeutet das nächtliche Weiden, Tränken und Baden der Pferde.

² Alexander Skrjabin's „Poème de la extase“ für Orchester (1908).

rückständigen technischen Ausstattung verwandelte ein Geschenk der Natur, das als eine Quelle der Freude hätte dienen können, in den Gegenstand einer beständigen Qual, die ich letztendlich nicht ertrug.

Wie war eine solche Nichtentsprechung möglich? Ihr zugrunde lag etwas Ungebührliches, nach Vergeltung Rufendes, unstatthafte knabenhafte Anmaßung, die nihilistische Verachtung des Halbwissers gegen alles Erwerb- und Erlangbar-Scheinende. Ich verachtete alles Unschöpferische, Handwerkliche, indem ich die Dreistigkeit hatte zu meinen, daß ich mich in diesen Dingen auskenne. Im wirklichen Leben, setzte ich voraus, hat alles ein Wunder zu sein, Vorherbestimmung von oben, nichts Ausgedachtes, Absichtliches, keinerlei Willkür.

Das war die Kehrseite des Skrjabinschen Einflusses, welcher für mich im übrigen entscheidend wurde. Sein Egozentrismus war angebracht und gerechtfertigt nur in seinem Fall. Der Samen seiner Auffassungen, der kindlich falsch verstandenen, fiel auf einen dankbaren Boden.

Ich war auch ohnedies von klein auf der Mystik und dem Aberglauben zugeneigt und von einem Hang zum Providentiellen ergriffen. Fast schon seit der Rodionowschen Nacht glaubte ich an das Vorhandensein einer höheren heroischen Welt, der man entzückt zu dienen habe, obwohl sie Leiden bringt. Wievielmals im Alter von sechs, sieben, acht Jahren war ich dem Selbstmord nahe.

Ich argwöhnte um mich herum alle möglichen Geheimnisse und Täuschungen. Es gab keinen Unsinn, den ich nicht geglaubt hätte. So deuchte mich im Morgenrot des Lebens, wo auch solche Ungereimtheiten nur denkbar sind, vielleicht von Erinnerungen an die ersten Kittelchen her, in die man mich einst gekleidet hatte, daß ich irgendwann in früheren Zeiten ein Mädchen gewesen sei und daß man dieses bezauberndere und anmutigere Wesen zurückholen müsse, indem man den Gürtel bis zur Ohnmacht engzog. Oder ich stellte mir vor, daß ich nicht der Sohn meiner Eltern sei, sondern ein von ihnen gefundenes und an Sohnes Statt angenommenes Findelkind.

An meinem Unglück mit der Musik waren ebenso indirekte, eingeübte Ursachen schuld, ein Schlußfolgern auf Grund von Zufälligkeiten, die Erwartung von Zeichen und Fingerzeigen von oben. Ich besaß nicht das absolute Gehör, die Fähigkeit, die Höhe jeder beliebigen, willkürlich gewählten Note zu erraten, ein Vermögen, das ich zu meiner Arbeit durchaus nicht benötigte. Die Abwesenheit dieser Eigenschaft betrübte und demütigte mich, ich sah darin einen Beweis, daß meine Musik dem Schicksal und dem Himmel mißliebig sei. Unter einer solchen Vielzahl von Schlägen sank mir der Mut, und ich ließ die Arme hängen.

Die Musik, die geliebte Welt sechsjähriger Mühen, Hoffnungen und Sorgen, riß ich aus mir heraus, wie man sich trennt von

dem Teuersten. Einige Zeit blieb mir noch die Gewohnheit des Fantasierens auf dem Fortepiano als so etwas wie eine allmählich verfallende Fertigkeit. Dann aber beschloß ich, meine Enthaltung schroffer durchzuführen, rührte das Klavier nicht mehr an, ging nicht zu Konzerten, mied Begegnungen mit anderen Musikern.

4

Die Skrjabinischen Gedankengänge über den Übermenschen waren der ureigene russische Hang zum Außergewöhnlichen. Wirklich, nicht nur die Musik muß eine Übermusik sein, um etwas zu bedeuten, sondern alles auf der Welt muß über sich hinausgehen, um es selbst zu sein. Der Mensch, die Tätigkeit des Menschen müssen ein Element der Unendlichkeit einschließen, das der Erscheinung Bestimmtheit verleiht, Charakter.

Angesichts meiner nunmehrigen Abständigkeit zur Musik und meiner abgestorbenen und völlig zerfallenen Bindungen an sie blieb von dem Skrjabin meiner Erinnerungen, dem Skrjabin, von dem ich lebte und mich nährte wie vom täglichen Brot, der Skrjabin der mittleren Periode, ungefähr von der dritten Sonate bis zur fünften.

Das harmonische Wetterleuchten des Prometheus¹ und seiner letzten Werke erscheinen mir nur als Zeugnisse seines Genies, nicht als tägliche Nahrung der Seele – und diese Zeugnisse brauche ich nicht, weil ich von ihm ohne Beweis überzeugt worden bin.

Menschen, die früh verstorben sind – Andrej Bely, Chlebnikow und einige andere – , haben sich vor dem Tod in die Suche neuer Ausdrucksmittel vertieft, in den Traum von einer neuen Sprache, sie drehten und wendeten, betasteten ihre Silben, ihre Laute und Mitlaute.

Ich verstand diese Ermittlungen nie. Für mich wurden die überraschendsten Entdeckungen hervorgebracht, wenn ein Inhalt den Künstler überfüllte und ihm nicht Zeit zu Überlegen ließ und er in der Hast sein neues Wort in der alten Sprache sprach, ohne darauf zu achten, ob sie alt sei oder neu.

So sagte Chopin in der alten Mozartisch-Fieldschen Sprache² so viel frappierend Neues in der Musik, daß er ihr zweiter Beginn zu sein scheint.

So hat Skrjabin fast mit den Mitteln seiner Vorgänger die Empfindung der Musik bis auf den Grund schon im ersten Anfang seines Werks erneuert. Schon in den Etüden des achten Opus, in den Präludien des elften ist alles zeitgenössisch, alles voll von inneren, der Musik zugänglichen Entsprechungen zur umgeben-

¹ Alexander Skrjamins sinfonisches Poem „Prometheus“ (1910).

² in der Musiksprache, die vom Schaffen W. A. Mozarts und J. Fields beeinflusst wurde.

den, äußeren Welt, zu dem, wie man damals lebte, dachte, fühlte, reiste, sich kleideite.

Die Melodien dieser Werke dringen ein, wie euch sofort die Tränen zu fließen anfangen, von den Augenwinkeln über die Wangen zu den Mundwinkeln. Die Melodien, vermischt mit den Tränen, fließen euren Nerv entlang geradenwegs zum Herzen, und ihr weint nicht deshalb, weil es euch betrübt, sondern deshalb, weil ihr Weg in euch hinein so sicher und durchdringend erraten worden ist.

Plötzlich bricht in den Strom der Musik eine Antwort oder Entgegnung auf sie in einer anderen, einer höheren und weiblicheren Stimme in einem anderen, einem einfacheren und alltäglicheren Ton. Eine unerwartete Zänkerei, eine augenblicklich zu lösende Verstimmung. Und eine Note erschütternder Natürlichkeit tönt auf in dem Werk, jener Natürlichkeit, mit der in der Kunst alles entschieden wird.

Von allbekannten Dingen, gängigen Wahrheiten ist die Kunst voll. Obwohl ihr Gebrauch allen offensteht, warten die allbekanntesten Regeln lange und finden keine Anwendung. Einer allbekanntesten Wahrheit muß ein seltenes, einmal in hundert Jahren lächelndes Glück zufallen, dann findet sie ihre Verwendung. Ein solches Glück war Skrjabin. Wie Dostojewski nicht nur ein Romancier und Blok nicht nur ein Dichter, so war Skrjabin nicht nur ein Komponist, sondern ein Anlaß zu ständigen Gratulationen, ein menschgewordener Sieg und ein Festtag der russischen Kultur.

Neunzehnhundert

1

Zur Antwort auf die Kundgebung der Studentenschaft nach dem Manifest vom 17. Oktober¹ demolierte ein randalierendes Ochotny-Rjad-Gesinde die höheren Bildungsstätten, die Universität und die Technische Lehranstalt. Auch der Lehranstalt für Malerei drohte ein Überfall. Auf Anordnung des Direktors waren auf den Absätzen der Paradetrepppe Pflastersteinhaufen vorbereitet und die Schläuche an die Feuerwehrkräne gedreht worden für die Begegnung mit den Pogrommachern.

In die Lehranstalt schwenkten Demonstranten aus den vorüberkommenden Straßenumzügen, hielten Meetings ab in der Aula, bemächtigten sich der Räume, traten auf den Balkon hinaus und

¹ Der russische Zar Nikolai II. sah sich durch die revolutionäre Entwicklung 1905 zu Zugeständnissen gezwungen und versprach im Manifest vom 17. Oktober 1905 die Gewährung politischer Grundrechte und die Einberufung der Duma.

richteten von oben Reden an die auf der Straße Verbliebenen. Die Studenten der Lehranstalt traten Kampforganisationen bei, in dem Gebäude hielt nachts eine eigene Einheit Wache.

In Vaters Papieren sind Skizzen erhalten: Auf eine Agitatorin, die vom Balkon spricht, zielen von unten gegen die Menge stürmende Dragoner. Sie wird verwundet, fährt zu reden fort, sich an einer Säule haltend, um nicht zu fallen.

Ende 1905 kam Gorki nach Moskau, das von einem Generalstreik erfaßt war. Es waren Frosträchte. Moskau, versenkt in Finsternis, wurde von Lagerfeuern beleuchtet. Winselnd durchflogen es verirrte Kugeln, Reiterpatrouillen jagten über den geräuschlosen, von Fußgängern nicht zertretenen, jungfräulichen Schnee.

Vater traf sich mit Gorki zu Besprechungen über politisch-satirische Journale wie „Die Geißel“¹, „Der Buhmann“ und andere, zu denen dieser ihn eingeladen hatte.

Wahrscheinlich damals, oder später, nach einem einjährigen Aufenthalt mit den Eltern in Berlin, sah ich zum ersten Mal in meinem Leben Zeilen von Blok. Ich erinnere mich nicht, was es war, „Die kleinen Weiden“ oder etwas aus dem der Olenina-d'Algeim gewidmeten „Kindliches“ oder irgend etwas Revolutionäres, Städtisches – doch an meinen Eindruck entsinne ich mich so deutlich, daß ich ihn wiederherstellen kann und ihn beschreiben will.

2

Was ist Literatur in dem gängigen, verbreitetsten Sinn des Wortes? Das ist die Welt der Beredsamkeit, der Allgemeinplätze, der abgerundeten Sätze und der ehrwürdigen Namen derer, die in der Jugend das Leben beobachtet haben, mit dem erreichten Ruhm aber zu Abstraktionen übergegangen sind, zu umschreibenden Wiederholungen, zur Beschaulichkeit. Und wenn in diesem Reich der eingebürgerten – und nur deshalb unmerklichen – Unnatürlichkeit irgend jemand den Mund auftut nicht aus Neigung zur Schönen Literatur, sondern weil er etwas weiß und sagen will, entsteht der Eindruck eines Umsturzes, so als ob man die Türen aufreißt, und der Lärm des draußen laufenden Lebens dringe ein durch sie, als rede nicht ein Mensch davon, was in der Stadt geschieht, sondern die Stadt selbst gebe mit den Lippen eines Menschen zu wissen von sich. So auch war es mit Blok. So war sein alleinstehendes, kindlich unverdorbenes Wort, so war die Kraft seiner Wirkung.

Das Papier enthielt einiges Neues. Es schien, daß das Neue sich selbst, ohne zu fragen, auf den Druckbogen gelegt habe, und das Gedicht habe niemand geschrieben und erdacht. Es schien, die

¹ (russ. „Bic“), „Der Buhmann“ (russ. „Župel“): Zeitschriften für Satire.

Seiten bedeckten nicht Verse von Wind und Pfützen, Laternen und Sternen, sondern die Laternen und Pfützen selbst trieben über die Oberfläche des Journals ihr windiges Gekräusel, ließen selbst in ihm ihre feuchten, mächtig einwirkenden Spuren zurück.

3

Ich und ein Teil meiner Altersgefährten, von denen unten die Rede sein wird, verbrachten und durchliefen ihre Jugend mit Blok. Blok hatte alles, was einen großen Poeten ausmacht – Feuer, Sanftheit, Eindringlichkeit, sein eigenes Weltbild, seine Gabe der besonderen, alles verwandelnden Berührung, sein zurückhaltendes, sich verhüllendes, sich in sich selbst aufnehmendes Schicksal. Bei einer Seite von diesen – und von noch vielen anderen – Eigenschaften, die bei mir vielleicht die größte Wirkung hinterlassen hat und die mir deshalb als die wichtigste erscheint, möchte ich verweilen, bei der Blokschen Raschheit, bei seiner umherschweifenden Aufmerksamkeit, der schnellen Feinheit seiner Beobachtungen.

Das Licht im Fensterchen schwankte.¹

Unten im halben Licht
der Harlekin flüsternd wandte
dem Finstern zu sein Gesicht.

.....
Die Straßen durchfegt der Schneesturm²,
rollt sich zusammen, wankt,
und seine Hand reicht mir jemand
und jemand lächelt mich an.

.....
In der Winternacht dort auf der Treppe³
winkt, irrlichtert, neckt
eines Schattens Silhouette,
der schnell seinen Blick versteckt.

.....

Eigenschaftswörter ohne Hauptwörter, Prädikate ohne Subjekte, Versteckspiele, Erregtheit, behend vorüberhuschende Figürchen, Abruptheit – wie nahe kam dieser Stil dem Geist der Zeit, dem sich versteckenden, heimlichen, untergründigen, kaum den Untergrund verlassen habenden, der sich in der Sprache von Verschwörern erklärte, dessen Hauptgesicht die Stadt war, dessen Hauptereignis – die Straße.

¹ Gedicht Alexander Bloks vom 6. August 1902.

² Verse Bloks vom 26. Oktober 1907.

³ zweite Strophe eines Gedichts, das Blok am 4. Oktober 1910 verfaßte.

Diese Züge durchdringen das Wesen Bloks, des eigentlichen und überwiegenden Bloks, des Bloks vom zweiten Band der Alkonost¹-Ausgabe, des Bloks der „Schrecklichen Welt“, des „Letzten Tages“, der „Täuschung“, der „Novelle“, der „Legende“, des „Meetings“, der „Unbekannten“, der Verse: „In Nebeln, auf dem Funkeln wuchs“, „In den Kneipen, den Gassen, den Windungen“, „Das Mädchen sang im Kirchenchor“.

Wie von einem Luftstrom sind die Züge der Wirklichkeit vom Wirbel der Blokschen Empfänglichkeit in seine Bücher hineingetragen. Sogar das Fernste, das, was als Mystik hätte erscheinen können und was man „göttlich“ nennen könnte. Auch das sind keine metaphysischen Fantasien, sondern über alle seine Verse verstreute Fetzen der kirchlichen Alltagsrealität, Stellen aus der Ektenie², dem Gebet vor dem Abendmahl und den Trauermessen, auswendig gewußt und hundertmal beim Gottesdienst gehört.

Die summarische Welt, die Seele, der Träger dieser Wirklichkeit war die Stadt der Blokschen Verse, der Hauptheld seiner Erzählung, seiner Biographie.

Diese Stadt, dieses Petersburg Bloks ist das realste Petersburg, das Künstler der neueren Zeit gezeichnet haben. Es existiert bis zur Verwechslung gleich im Leben und in der Vorstellung, es ist voll alltäglicher Prosa, welche die Poesie mit Dramatik und Unruhe nährt, und auf seinen Straßen tönt die allgemein gebräuchliche, einfache Alltagssprache, welche die Sprache der Poesie auffrischt.

Gleichzeitig ist das Bild dieser Stadt gewirkt aus Zügen, übertragen von einer solch nervösen Hand, und hat es sich einer solchen Vergeistigung gefügt, daß es ganz in die bezwingende Erscheinung einer höchst seltenen inneren Welt verwandelt ist.

4

Ich hatte die Gelegenheit und das Glück, viele der älteren in Moskau lebenden Poeten zu kennen – Brjussow, Andrej Bely, Chodassewitsch, Wjatscheslaw Iwanow, Baltrušaitis. Blok wurde ich zum ersten Mal bei seinem letzten Moskau-Besuch vorgestellt, im Korridor oder auf der Treppe des Polytechnischen Museums, am Abend seiner Lesung im Auditorium des Museums. Blok war freundlich gegen mich, sagte, er habe von bester Seite von mir gehört, klagte über sein Befinden und bat, eine Zusammenkunft mit ihm bis zu einer Besserung seiner Gesundheit aufzuschieben.

An diesem Abend las er seine Gedichte an drei Orten: im Polytechnischen, im Haus der Presse und in der Dante-Alighieri-

¹ Verlag in Petrograd, der zwischen 1918 und 1923 vor allem die Werke von Schriftstellern veröffentlichte, die dem Symbolismus nahestanden.

² Gebet, Fürbitte.

Gesellschaft, wo sich die eifrigsten seiner Verehrer versammelten und wo er seine „Italienischen Gedichte“ las.

Auf dem Abend im Polytechnischen war Majakowski. In der Mitte des Abends sagte er mir, daß man Blok im Haus der Presse unter dem Anschein kritischer Unbestechlichkeit ein Benefiz vorbereite, einen Verriß und ein Katzenkonzert. Er schlug vor, zu zweit dorthin zu gehen, um die beabsichtigte Gemeinheit abzuwenden.

Wir verließen die Lesung Bloks, aber wir gingen zu Fuß, Blok jedoch fuhr im Auto zu dem zweiten Auftritt, und ehe wir auf dem Nikitski-Boulevard, wo sich das Haus der Presse befand, anlangten, war der Abend zu Ende, und Blok fuhr in die Gesellschaft der Liebhaber italienischer Literatur. Der Skandal, den man befürchtete, hatte inzwischen stattfinden können. Nach der Lesung im Haus der Presse hatte man Blok einen Haufen Ungeheuerlichkeiten gesagt, sich auch nicht zurückgehalten, ihm ins Gesicht vorzuwerfen, er sei überlebt und innerlich tot, welchem er gelassen zustimmte. Das wurde einige Monate vor seinem wirklichen Ende gesagt.

5

In jenen Jahren unserer ersten Kühnheiten geboten nur zwei Menschen, Assejew und Zwetajewa, über einen reifen, vollkommen ausgeprägten poetischen Stil. Die vielgerühmte Eigenständigkeit der anderen, darunter auch meine, entsprang einer völligen Hilflosigkeit und Befangenheit, die uns jedoch nicht hinderten, zu schreiben, drucken zu lassen und zu übersetzen. Unter meinen niederdrückend ungekonnten Schreibereien jener Zeit waren die schrecklichsten — das von mir übersetzte Stück Ben Jonsons „Der Alchimist“ und Goethes Poem „Die Geheimnisse“ in meiner Übersetzung. Es gibt über diese Übersetzung eine Äußerung Bloks, unter den anderen Rezensionen, die er für den Verlag „Weltliteratur“ geschrieben hat und die in den letzten Band seiner Gesammelten Werke aufgenommen wurden. Eine wegwerfende, vernichtende Kritik, in ihrer Wertung verdient und gerecht. — Jedoch wird es jetzt Zeit, zurückzukehren von den vorausgeeilten Einzelheiten zu der von uns verlassenen Darlegung, die in dem lang vergangenen ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts bei uns stehengeblieben war.

6

Als Gymnasiast der dritten oder vierten Klasse fuhr ich auf ein kostenloses Billett, das mir mein Onkel, der Vorsteher des Petersburger Güterbahnhofs an der Nikolai-Eisenbahn, zur Verfügung gestellt hatte, allein nach Petersburg in die Weihnachtsferien. Ganze

Tage wanderte ich durch die Straßen der unsterblichen Stadt, verschlang gleichsam mit den Füßen und den Augen da ein geniales steinernes Buch, und an den Abenden verschwand ich im Theater der Kommissarshewskaja. Ich war vergiftet von der neuesten Literatur, phantasierte von Andrej Bely, Hamsun und Przybyszewski.

Eine noch größere, wirklichere Vorstellung vom Reisen bekam ich, als ich mit der ganzen Familie im Jahre 1906 nach Berlin fuhr. Damals kam ich zum ersten Mal ins Ausland.

Alles war ungewöhnlich, alles ging anders vor sich. Als lebstest du nicht, sondern wärst in einem Traum, nähmst an einer erdachten, für niemanden verbindlichen Theatervorstellung teil. Niemanden kennst du, niemand hat dir zu befehlen. Eine lange Reihe aufschlagender und zuschlagender Türen die ganze Wand der Waggons entlang, zu jedem Abteil eine eigene. Vier Schienenwege über eine Ring-Estakade, die über den Straßen ragt, den Kanälen, den Rennställen und Hinterhöfen der Riesenstadt. Sich nachjagende, einholende, nebeneinanderlaufende und sich trennende Züge. Die sich verdoppelnden, kreuzenden, schneidenden Lichter der Straßen unter den Brücken, die Lichter der ersten und zweiten Etagen in der Höhe der Hocheisenbahnen, die mit bunten Lämpchen illuminierten Automaten der Bahnhofsbüfets, die Zigarren, Süßigkeiten, Zuckermandeln auswarfen. Bald war ich zu Hause in Berlin, trieb mich in seinen zahllosen Straßen und grenzenlosen Parks herum, sprach deutsch, das Berliner Idiom nachahmend, atmete das Gemisch von Lokomotivendampf, Leuchtgas und Bierschaum, hörte Wagner.

Berlin war voll von Russen. Der Komponist Rebikow spielte vor Bekannten seine „Jolka“ und teilte die Musik in drei Perioden: eine animalische Musik bis Beethoven, eine menschliche Musik in der folgenden Periode und eine Musik der Zukunft nach ihm selbst.

In Berlin war auch Gorki. Vater zeichnete ihn. Der Andrejewka gefiel nicht, daß auf der Zeichnung die Jochbeine heraustraten und etwas eckig wirkten. Sie sagte: „Sie haben ihn nicht verstanden. Er ist – gotisch.“ So sprach man damals.

7

Wahrscheinlich nach dieser Reise, nach der Rückkehr nach Moskau, trat ein anderer großer Lyriker der Epoche in mein Leben, der damals kaum bekannte, jetzt aber von der ganzen Welt anerkannte deutsche Poet Rainer Maria Rilke.

Er war im Jahre 1900 nach Jasnaja Poljana zu Tolstoi gereist, war bekannt mit meinem Vater, korrespondierte mit ihm und war einen Sommer Gast des Bauerdichters Droschshin in Sawidowo bei Klin.

In jenen fernen Jahren hatte er Vater seine ersten Gedichtbändchen mit herzlichen Widmungen geschenkt. Zwei Bücher davon

fielen mir in einem der zu beschreibenden Winter mit großer Verspätung in die Hände und frappierten mich mit demselben, mit dem mich die ersten Gedichte, die ich von Blok sah, getroffen hatten: mit der Dringlichkeit des Gesagten, der Unbedingtheit, der Nicht-Scherzhaftigkeit, der unmittelbaren Bestimmung der Rede.

8

Man kennt bei uns Rilke überhaupt nicht. Die nicht sehr zahlreichen Versuche, ihn auf russisch wiederzugeben, sind gescheitert. Die Übersetzer sind nicht schuld. Sie sind gewöhnt, den Sinn, nicht den Ton des Gesagten wiederzugeben, aber hier liegt alles im Ton.

1913 war Verhaeren in Moskau. Vater zeichnete ihn. Er wandte sich manchmal an mich mit der Bitte, den zu Porträtierenden zu beschäftigen, damit dem Modell nicht das Gesicht erstarre und absterbe. So habe ich einmal den Historiker W. O. Kljutschewski unterhalten. Und so sollte ich Verhaeren beschäftigen. Mit verständlicher Begeisterung sprach ich ihm von ihm selbst, und dann fragte ich ihn schüchtern, ob er irgendeinmal etwas von Rilke gehört habe. Ich nahm nicht an, daß Verhaeren ihn kannte. Der Posierende verwandelte sich. Besser konnte es für Vater nicht sein. Dieser Name allein belebte das Modell mehr als alle meine Gespräche. „Das ist der beste Poet Europas“, sagte Verhaeren, „– und mein lieber Wahlbruder.“

Bei Blok bleibt die Prosa die Quelle, aus der das Gedicht hervorgeht. Er führt sie nicht in das Bauwerk seiner Ausdrucksmittel hinein. Für Rilke sind die malerischen und psychologischen Verfahren der zeitgenössischen Romanciers (Tolstois, Flauberts, Prousts, der Skandinavier) untrennbar von Sprache und Stil seiner Poesie.

Jedoch soviel ich seine Besonderheiten auch untersuchte und beschreibe, ich werde keinen Begriff von ihm geben, solange ich nicht Beispiele aus ihm anführe. Ich habe sie egeins für dieses Kapitel, um so mit ihm bekannt zu machen, übersetzt.

9

Der Lesende¹

Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittag,
mit Regen rauschend, an den Fenstern lag.

¹ Wörtliche Übersetzungen der Rilke-Nachdichtungen Pasternaks:
Über einem Buch

Ich hatte mich festgelesen. Ich las schon lange.
Seit der Regen ans Fenster zu peitschen begann.

Vom Winde draußen hörte ich nichts mehr:
mein Buch war schwer.

Ich sah ihm in die Blätter wie in Mienen,
die dunkel werden von Nachdenklichkeit,
und um mein Lesen staute sich die Zeit. —
Auf einmal sind die Seiten überschienen,
und statt der bangen Wortverworrenheit
steht: Abend, Abend... überall auf ihnen.
Ich schau noch nicht hinaus, und doch zerreißen
die langen Zeilen, und die Worte rollen
von ihren Fäden fort, wohin sie wollen...
Da weiß ich es: über den übervollen
glänzenden Gärten sind die Himmel weit;
die Sonne hat noch einmal kommen sollen. —
Und jetzt wird Sommernacht, soweit man sieht:
Zu wenig Gruppen stellt sich das Verstreute,
dunkel auf langen Wegen gehn die Leute,
und seltsam weit, als ob es mehr bedeute,
hört man das Wenige, das noch geschieht.

Und wenn ich jetzt vom Buch die Augen hebe,
wird nichts befremdlich sein und alles groß.
Dort draußen ist, was ich hier drinnen lebe,
und hier und dort ist alles grenzenlos;
nur daß ich mich noch mehr damit verwebe,

Bis über den Kopf versunken ins Lesen,
hörte ich den Regen nicht.
Ich sah hinein in die Zeilen wie in die Furchen
der Nachdenklichkeit, und Stunden hintereinander
stand die Zeit oder ging zurück.
Da sehe ich plötzlich, mit karminroter Farbe
in die gesetzt: Sonnenuntergang, Sonnenuntergang, Sonnenuntergang.
Wie Halsschmuckschnüre und Zeilen reißen,
und die Buchstaben rollen, wohin sie wollen.
Ich weiß, die Sonne, den Garten verlassend,
hatte sich noch einmal umzusehen
hinter den vom Abendrot ergriffenen Zäunen hervor.
Und jetzt scheint es wie Nacht nach allen Anzeichen.
Die Bäume drängen sich zusammen an den Rändern der Straßen,
und die Leute sammeln sich zu kleinen Kreisen
und erörtern leise, jede Silbe
teurer als Gold dabei wertend.
Und wenn ich von dem Buch erhebe
die Augen und zum Blick durch das Fenster gerichtet halte,
wie wird alles nah sein, wie gleich nebenan,
verwandt und meinem Herz gemäß!
Doch muß (ich mich nur) tiefer in das Halbdunkel hineinleben
und das Auge gewöhnen an die nächtlichen Massen,
und ich gewahre, daß der Erde zu klein ist
der Umkreis (der Dorfrand), sie wuchs über
sich selbst und wurde größer als die Himmelskuppel,
und der äußerste Stern am Rande des Dorfes
ist wie das Licht im letzten Häuschen der Gemeinde.

wenn meine Blicke an die Dinge passen
und an die ernste Einfachheit der Massen –
da wächst die Erde über sich hinaus.
Den ganzen Himmel scheint sie zu umfassen:
der erste Stern ist wie das letzte Haus.

Der Schauende¹

Ich sehe den Bäumen die Stürme an,
die aus laugewordenen Tagen
an meine ängstlichen Fenster schlagen,
und höre die Fernen Dinge sagen,
die ich nicht ohne Freund ertragen,
nicht ohne Schwester lieben kann.

¹ Betrachtung

Die Bäume mit den Runzeln der Rinde
sprechen zu mir von den Stürmen,
und ich bin ihren merkwürdigen Mitteilungen
nicht imstande zuzuhören inmitten unerwarteter
Unbilden, in den ständigen Wanderschaften,
allein, ohne Freund und Schwester.

Durch den Hain bricht ein Unwetter,
durch Zäune und Häuser.
Und wieder (ist) ohne Alter die Natur,
und die Tage und die Dinge des Alltags,
und die Ferne des Raums, wie ein Psalmenvers.

Wie kleinlich sind unsere Streitereien mit dem Leben,
wie groß ist, was gegen uns ist.
Wenn wir uns ergäben dem Andrang
des Elements, das freien Raum sucht,
wüchsen wir hundertfach.

Alles, was wir besiegen – ist klein.
Und erniedrigt unser Erfolg.
Das Ungewöhnliche, das Niedagewesene
ruft nach ganz anderen Kämpfen.

So hat der Engel des Alten Testaments
den ebenbürtigen Rivalen gefunden.
Wie eine Harfe drückte er den Athleten,
und jede Sehne von ihm
diente dem Engel als Saite,
um mit dem Kampf eine Hymne auf ihm zu spielen.

Wen dieser Engel besiegt hat,
der (geht) als Gerechter, ohne Stolz auf sich,
aus einem solchen Kampf,
im Bewußtsein und der Blüte der Kräfte.

Er wird nicht suchen nach Siegen.
Er wartet, daß das höhere Beginnen
ihn immer öfter besiege,
damit er wachse ihm zur Antwort.

Da geht der Sturm, ein Umgestalter,
geht durch den Wald und durch die Zeit,
und alles ist wie ohne Alter:
Die Landschaft, wie ein Vers im Psalter,
ist Ernst und Wucht und Ewigkeit.

Wie ist das klein, womit wir ringen,
was mit uns ringt, wie ist das groß;
ließen wir, ähnlicher den Dingen,
uns *so* vom großen Sturm bezwingen –
wir würden weit und namenlos.

Was wir besiegen, ist das Kleine,
und der Erfolg selbst macht uns klein.
Das Ewige und Ungemeine
will nicht von uns gebogen sein.
Das ist der Engel, der den Ringern
des Alten Testaments erschien:
wenn seiner Widersacher Sehnen
im Kampfe sich metallend dehnen,
fühlt er sie unter seinen Fingern
wie Saiten tiefer Melodien.

Wen dieser Engel überwand,
welcher so oft auf Kampf verzichtet,
der geht gerecht und aufgerichtet
und groß aus jener harten Hand,
die sich, wie formend, an ihn schmiegte.
Die Siege laden ihn nicht ein.
Sein Wachstum ist: Der Tiefbesiegte
von immer Größerem zu sein.¹

10

Ungefähr seit 1907 begannen Verlage wie Pilze aus dem Boden zu schießen, oft wurden Konzerte neuer Musik gegen, eine Ausstellung nach der anderen wurde eröffnet, von den Gemälden der „Welt der Kunst“², des „Goldenen Vlieses“³, des „Karo-Buben“⁴,

¹ Zitiert nach: Rainer Maria Rilke, Werke, Erster Band; Insel-Verlag, Leipzig 1978, S. 378–380.

² russ. „Mir iskusstva“, künstlerisch gestaltete Zeitschrift, die in Petersburg von 1899 bis 1904 herauskam und von S. P. Djagilew und A. N. Benois geleitet wurde. Förderte – ebenso wie die jährlichen gleichnamigen Ausstellungen – die Entwicklung der modernen Kunst.

³ russ. „Zolotoe runo“, künstlerisch-literarische Monatsschrift, die in Moskau von 1906 bis 1909 herauskam und vorwiegend Werke der Symbolisten veröffentlichte.

⁴ russ. „Bubnovyj valet“, futuristische Künstlergruppe.

des „Eselsschwanzes“¹, der „Himmelblauen Rose“². Zusammen mit den russischen Namen Somow, Sapunow, Sudejkin, Krymow, Larionow, Gontscharowa schimmerten die französischen Namen Bonnard und Vuillard auf. Auf der Ausstellung des „Goldenen Vlieses“, in mit Vorhängen abgeschatteten Sälen, wo es von den ringsum aufgestellten Töpfen mit Hyazinthen nach Erde roch wie in Treibhäusern, konnte man die zur Ausstellung geschickten Arbeiten von Matisse und Rodin sehen. Die Jugend schloß sich diesen Richtungen an.

Im Hof eines der neuen Häuser des Rasguljai hatte sich das alte hölzerne Wohnhaus eines Generals und Hausbesitzers erhalten. Im Mezzanin versammelte der Sohn des Hausherrn, der Poet und Maler Julian Pawlowitsch Anissimow, gleichgesinnte junge Leute. Er hatte eine schwache Lunge. Die Winter verbrachte er im Ausland. Die Bekannten versammelten sich bei ihm bei gutem Wetter im Frühling und im Herbst. Sie trugen vor, musizierten, zeichneten, erörterten, nahmen einen Imbiß und tranken Tee mit Rum. Hier wurde ich mit einer Menge Leute bekannt.

Der Hausherr, ein sehr talentiertes Wesen und ein Mann von großem Geschmack, belesen und gebildet, mehrere Fremdsprachen sprechend wie die russische, verkörperte selbst in sich die Poesie in jenem Grad, der das Bezaubernde des Liebhabertums ausmacht und bei dem es schwerhält, zusätzlich noch eine schöpferisch starke Persönlichkeit zu sein, ein Charakter, aus dem sich ein Meister herausarbeitet. Wir hatten ähnliche Interessen, die gleichen Lieblinge. Er gefiel mir sehr.

Hierhin kam der nunmehr verstorbene Sergej Nikolajewitsch Durylin, der damals unter dem Pseudonym Sergej Rajewski schrieb. Er war es, der mich von der Musik zur Literatur hinübergelockt hatte, da er in seiner Güte vermochte, in meinen ersten Versuchen etwas der Aufmerksamkeit Wertes zu finden. Er lebte arm, unterhielt Mutter und Tante vom Stundengeben und erinnerte mit seiner begeisterten Geradheit und seiner ungestümen Überzeugungtheit an die Gestalt Belinskis, wie die Überlieferungen sie zeichnen.

Hier zeigte mir mein Kommilitone K. G. Loks, den ich schon vorher kannte, zum ersten Mal Gedichte von Innokenti Annenski, wegen der Verwandtschaftsmerkmale, die er zwischen meinen Schreibereien und Irrungen und dem bedeutenden, mir damals noch unbekanntem Poeten festgestellt hatte.

Der Zirkel hatte einen Namen. Man taufte ihn Serdarda³, ein Name, dessen Bedeutung niemand kannte. Dieses Wort hatte wohl ein Mitglied des Kreises, der Poet und Baß Arkadi Gurjew, einmal

¹ russ. „Oslinyj chvost“, Gruppe expressionistischer Maler.

² russ. „Golubaja roza“, Künstlergruppe.

³ Gruppe junger Moskauer Dichter, Maler und Musiker.

an der Wolga gehört. Er hatte es im nächtlichen Wirrwarr zweier im Hafen aneinander anlegender Dampfschiffe gehört, wo das eine am andern festmacht und das Publikum des neuen Dampfers mit dem Gepäck durch das Innere des anderen, der vorher angelegt hat, zum Ufer durchgeht und sich mit seinen Passagieren und dem Gepäck mischt.

Gurjew war aus Saratow. Er besaß eine reiche und weiche Stimme und gab die dramatischen und vokalischen Feinheiten dessen, was er sang, artistisch wieder. Wie alle urwüchsigen Talente beeindruckte er gleichermaßen mit einem unterbrochenen Possenreißen und den Anlagen einer tiefen Originalität, die durch seinen Klamauk hindurchsahen. Seine außergewöhnlichen Verse nahmen die künftige schrankenlose Aufrichtigkeit Majakowskis und die sich dem Leser lebendig übertragenden klar gefügten Bilder Jessenins vorweg. Das war ein fertiger Darsteller, der Oper wie des Schauspiels, von althergebrachter schauspielerischer Prägung, wie sie Ostrowski mehr als einmal gezeichnet hat.

Er hatte einen großstirnigen, zwiebelrunden Kopf mit einer kaum bemerkbaren Nase und den Anzeichen einer künftigen Glatze über den ganzen Schädel, von der Stirn bis zum Nacken. Er war ganz Bewegung, Ausdruck. Er gestikulierte nicht, fuchtelte nicht mit den Armen, doch der Oberkörper, wenn er, stehend, erörterte oder deklamierte, ging, spielte, sprach bei ihm. Er neigte den Kopf, warf den Körper zurück, die Beine stellte er gespreizt, wie überrascht bei einem Tanzlied, bei dem mit den Füßen aufgestampft wird. Er trank ein wenig und begann im Rausch, seinen Erfindungen zu glauben. Am Ende seiner Nummern tat er, als ob ihm seine Ferse am Fußboden hafte und nicht loszureißen sei und machte glauben, der Teufel packe ihn am Bein.

In der Serdarda verkehrten Poeten, Maler, B. B. Krassin, der die „Kleinen Weiden“ Bloks in Musik gesetzt hatte, der künftige Kollege meiner frühen Debüts, Sergej Bobrow, dessen Erscheinen im Rasguljai Gerüchte vorausgeeilt waren, nach denen er ein neu erstandener russischer Rimbaud sein sollte, der Herausgeber des „Musaget“¹, A. I. Koshebatkin, und der Herausgeber des „Apolon“, Sergej Makowski, der zu Besuch in Moskau war.

Ich selbst gehörte der Serdarda an mit meinen alten Rechten als Musikant, der am Anfang des Abends jeden Eintretenden auf dem Fortepiano mit Improvisationen darstellte, bis alle versammelt waren.

Rasch verging die kurze Frühlingsnacht. In das offene Fensterchen wehte die Morgenkühle. Ihr Lufthauch bauschte die Schöße der Vorhänge, bewegte die Flamme der heruntergebrannten Kerzen leicht, raschelte in den Papierbögen auf dem Tisch. Und

¹ Verlag der Symbolisten in Moskau, bestand von 1910 bis 1917.

alle gähnten, die Gäste, der Hausherr, die leeren Fernen, der graue Himmel, die Zimmer, die Treppen. Wir gingen auseinander, auf den breiten und von der Menschenleere verlängerten Straßen die rumpelnden Fässer des endlosen Wagenzugs der Stadtreinigung überholend. „Zentauren“, sagte irgend jemand in der Sprache der Zeit.

11

Es bildete sich um den Verlag «Musaget» herum so etwas wie eine Akademie. Andrej Bely¹, Stepun, Ratschinski, Boris Sadowskoi, Emil Metner, Schenrok, Petrowski, Ellis, Nilender sprachen mit der interessierten Jugend über Fragen der Rhythmik, der Geschichte der deutschen Romantik, der russischen Lyrik, der Ästhetik Goethes und Richard Wagners, über Baudelaire und die französischen Symbolisten, die altgriechische vorsokratische Philosophie.

Die Seele all dieses Beginns war Andrej Bely, unwiderstehliche Autorität dieses Kreises in jenen Tagen, erstrangiger Poet und noch mehr frappierender Autor der „Sinfonien“ in Prosa und der Romane „Die silberne Taube“ und „Petersburg“, die eine Umkehr im vorrevolutionären Geschmack der Zeitgenossen herbeiführten und von denen die erste sowjetische Prosa ausging.

Andrej Bely besaß alle Merkmale einer Genialität, die, nicht in ein Flußbett geleitet von den Schwierigkeiten des Alltags, der Familie, der Verständnislosigkeit von Angehörigen, sich leergelaufen und von einer hervorbringenden Kraft in eine fruchtlose und zerstörerische umgewandelt hatte. Dieser Makel einer übermäßigen Vergeistigung setzte ihn nicht herab, sondern rief Anteilnahme hervor und fügte zu seinem Zauber einen leidenden Zug.

Er hielt einen Kursus praktischer Studien des russischen klassischen Jambus ab und untersuchte mit der Methode der statistischen Berechnung, zusammen mit den Hörern, seine rhythmischen Figuren und Spielarten. Ich nahm an den Arbeiten des Zirkels nicht teil, weil ich, wie heute auch, meinte, daß die Musik des Wortes keine akustische Erscheinung ist und nicht im Wohlklang der Vokale und Konsonanten, für sich genommen, besteht, sondern Wechselverhältnis der Bedeutung der Rede und ihres Klangs.

Gelegentlich versammelte sich die Jugend des „Musaget“ nicht im Verlagsbüro, sondern an anderen Orten. Einer dieser Versammlungsorte war die Werkstatt des Bildhauers Kracht beim Presnja-Platz.

¹ Andrej Belys „Sinfonien“ waren in rhythmischer Prosa geschrieben und kamen zwischen 1903 und 1908 heraus; der Roman „Die silberne Taube“ erschien 1909, der Roman „Petersburg“ 1913/14, in einer überarbeiteten Fassung 1922.

In der Werkstatt war ein oberer Wohnteil in der Form eines geländerlosen Hängebodens, und unten schimmerten weiß mit Efeu und anderem dekorativen Grün drapierte Abgüsse von antiken Bruchstücken, Gipsmasken und eigene Arbeiten des Hausherrn.

Einmal, im Spätherbst, hielt ich in der Werkstatt einen Vortrag über das Thema „Symbolismus und Unsterblichkeit“. Ein Teil der Gesellschaft saß unten, ein Teil hörte von oben zu, sich auf den Hängeböden niederlegend und die Köpfe über ihren Rand streckend.

Der Vortrag gründete sich auf die Vorstellung von der Subjektivität unserer Wahrnehmungen, darauf, daß den uns empfundenen Tönen und Farben in der Natur etwas entspricht, ein objektives Schwingen von Ton- und Lichtwellen. Der Vortrag ging dem Gedanken nach, daß diese Subjektivität nicht das Eigentum des einzelnen Menschen ist, sondern eine Stamm-Eigenschaft, eine überpersönliche, daß es die Subjektivität der menschlichen Welt, der menschlichen Gattung ist. Ich setzte in dem Vortrag voraus, daß von jeder sterbenden Persönlichkeit der Teil dieser nicht sterbenden, dieser Stamm-Subjektivität zurückbleibt, der in dem Menschen während des Lebens enthalten war und mit dem er teilhatte an der Geschichte der menschlichen Existenz. Hauptziel des Vortrags war, die These aufzustellen, daß vielleicht dieser höchst subjektive und allgemeinmenschliche Winkel oder Anteil der Seele der ewige Wirkungskreis und der Hauptinhalt der Kunst ist. Daß außerdem, obwohl der Künstler natürlich sterblich ist wie alle, das Glück des Daseins, das er erfahren hat, unsterblich ist und in einer gewissen Annäherung an die persönliche und bluteigene Form seiner ursprünglichen Empfindungen von anderen Jahrhunderte später auf dem Weg über seine Werke erfahren werden kann.

„Symbolismus und Unsterblichkeit“ hieß der Vortrag deshalb, weil in ihm das symbolische, bedingte Wesen jeder Kunst in jenem allgemeinsten Sinn, wie man von einer Symbolik der Algebra reden kann, unterstrichen wurde.

Der Vortrag beeindruckte. Man sprach über ihn. Ich kam spät von ihm zurück. Zu Hause erfuhr ich, daß Tolstoi, der nach seinem Weggang aus Jasnaja Poljana auf der Reise von einer Krankheit aufgehalten worden war, auf der Station Astapowo gestorben und Vater telegrafisch dorthin gerufen worden sei. Wir machten uns schnell fertig und gaben uns zum Pawelezki-Bahnhof zum Nachtzug.

Damals war eine Fahrt aus der Stadt hinaus einschneidender als heute, eine dörfliche Siedlung unterschied sich mehr von einer städtischen als in unserer Zeit. Die ebene, von spärlichen Sied-

lungen kaum belebte Weite der Brachen und Wintersaaten, die tausendwerstige Weite des Acker- und Dorfrußlands, welche das nicht große städtische Rußland ernährte und für es arbeitete, füllte das Waggonfenster vom Morgen an und verließ es den ganzen Tag nicht. Den Boden hatten schon die ersten Fröste versilbert, und das noch nicht abgefallene Gold der Birken rahmte ihn an den Rainen ein, und dieses Silber der Fröste und Gold der Birken lag auf ihm als ein bescheidener Schmuck, gleich den Blätterchen von Blattgold und Silberfolie auf seiner heiligen und demütigen alten Zeit.

Das gepflügte und Atem holende Land schimmerte in den Fenstern des Waggons und wußte nicht, daß irgendwo daneben, ganz in der Nähe, sein letzter Recke gestorben war, welcher der Geburt nach sein Zar hätte sein können und der Bildung seines von allen Feinheiten der Welt verwöhnten Geistes nach Hätschelkind allen verhätschelten Kindern und Gutsherr allen Gutsherren – und der dennoch aus Liebe zu ihm, aus Lauterkeit vor ihm, hinter dem Pflug ging und sich den Bauern gleich kleidete und gürtete.

13

Es war sicherlich bekannt geworden, daß man den Verstorbenen zeichnen und danach der mit Merkurow angereiste Former eine Maske von seinem Kopf abnehmen wird, und die Abschiednehmenden hatten sich aus dem Zimmer entfernt. Als wir eintraten, war es leer. Aus einer entfernten Ecke schritt die verweinte Sofja Andrejewna Vater rasch entgegen und sprach, ihn bei der Hand nehmend, von Krämpfen begleitet und stockend unter Tränen: „Ach, Leonid Ossipowitsch, was habe ich durchgemacht! Sie wissen doch, wie ich ihn geliebt habe!“ Und sie fing zu erzählen an, wie sie versucht hatte, Schluß mit sich zu machen, als Tolstoi weggegangen war, und ins Wasser ging, und wie man sie, die kaum noch lebte, aus dem Teich gezogen hatte.

Im Zimmer lag ein Berg, verwandt dem Elbrus, und sie war sein großer abgesonderter Fels. Eine Gewitterwolke nahm das Zimmer ein, groß wie der halbe Himmel, und sie war ihr abgetrennter Blitz. Und sie wußte nicht, daß sie das Recht des Felsens und des Blitzes hatte, zu schweigen und Achtung zu gebieten mit der Unbegreiflichkeit des Auftretens und sich nicht in Händel mit denen zu verwickeln, die das Untolstoiischste auf der Welt waren – den Tolstoianern, und nicht den Kleinkrieg mit dieser Seite aufzunehmen.

Aber sie rechtfertigte sich und rief Vater zum Zeugen dafür an daß sie die Widersacher an Ergebenheit und ideellem Verständ-

nis übertreffe und den Verstorbenen besser gehütet hätte als sie. ‚Gott‘, dachte ich, ‚wohin kann man einen Menschen bringen, und mehr noch: die Frau Tolstois.‘

Sonderbar, wahrhaftig. Ein Mensch von heute, der das Duell verurteilt, schreibt ein umfangreiches Werk über das Duell und den Tod Puschkins. Armer Puschkin! Er hätte sowohl den Schtschegolew heiraten sollen als auch die spätere Puschkinforschung, und alles wäre in Ordnung. Bis in unsere Tage hätte er gelebt und mehrere Fortsetzungen zu Onegin verfaßt und fünf Poltawas statt eins geschrieben. Aber mir schien immer, daß ich aufgehört hätte, Puschkin zu verstehen, hätte ich eingeräumt, daß er unser Verständnis mehr brauchte als Natalja Nikolajewna¹.

14

Doch in der Ecke lag nicht ein Berg, sondern ein kleines runzliches Greislein, eins der von Tolstoi geschaffenen Greislein, von denen er Dutzende beschrieben und über seine Seiten gestreut hatte. Der Platz war mit einem Kreis von Tannen umstellt. Die sinkende Sonne durchschnitt das Zimmer mit vier schrägen Lichtgarben und bekreuzigte die Ecke und den Leichnam mit den großen Schatten der Fensterkreuze und den winzigen kindlichen Kreuzchen der sich abzeichnenden Zweige.

Die Stationssiedlung Astapowo stellte an jenem Tag ein ordnungslos lärmendes Lager der Weltjournalistik vor. Das Büfett auf dem Bahnhof betrieb einen lebhaften Handel, die Kellner liefen sich die Füße wund, bewältigten die Bestellungen nicht und trugen im Laufschrift braungebratene blutige Beefsteaks aus. Einem Fluß gleich strömte das Bier.

Auf dem Bahnhof waren die Tolstois, Ilja und Andrej Lwowsch. Sergej Lwowsch kam mit dem Zug, der die sterblichen Überreste Tolstois nach Jasnaja Poljana überführen sollte.

Mit dem Gesang „Ewiges Gedenken“ trugen die Studenten und jungen Leute den Sarg mit dem Leichnam über den Stationshof und den Garten auf den Perron zu dem vorgefahrenen Zug und stellten ihn in den Güterwagen. Die Menge auf dem Bahnsteig entblößte die Köpfe, und unter sich erneuerndem Gesang setzte sich der Zug langsam in Richtung Tula in Bewegung.

Irgendwie war es natürlich, daß Tolstoi am Weg, wie ein Pilger entschlafen, zur Ruhe gekommen war, nahe den großen Eisenbahnstrecken des damaligen Rußland, auf welchen seine Helden und Heldinnen fortfuhren, dahinzufiegen und sich im Kreis zu drehen, und durch die Waggonfenster auf die unbedeutende ab-

¹ N. N. Gontscharowa, Puschkins Frau.

seits liegende Station blickten, ohne zu wissen, daß die Augen, die ihnen ein ganzes Leben lang gefolgt waren und sie mit ihrem Blick umfingen und verewigt hatten, sich auf ihr für immer geschlossen hatten.

15

Wenn man von jedem Schriftsteller je eine Eigenschaft nennt, zum Beispiel von der Leidenschaftlichkeit Lermontows spricht, dem Inhaltsreichtum Tjutschews, der poetischen Schönheit Tschechows, dem Blendenden Gogols und der Einbildungskraft bei Dostojewski – was nennt man bei Tolstoi, wenn man die Bestimmung auf einen einzigen Zug begrenzt?

Die Haupteigenschaft dieses Moralisten, Gleichmachers, Predigers einer Gesetzlichkeit, die alle ohne Nachsicht und Ausnahmen umfassen soll, war eine niemandem ähnliche, ans Paradoxe heranreichende Originalität.

Er besaß das ganze Leben hindurch, zu jeder Zeit, die Fähigkeit, die Erscheinungen in der abgetrennten Endlichkeit des einzelnen Augenblicks zu sehen, in einer erschöpfenden, rund hervortretenden Kontur – so, wie wir nur bei seltenen Gelegenheiten sehen, in der Kindheit, oder auf dem Gipfel eines alles erneuernden Glücks, oder im Triumph eines großen seelischen Sieges.

Um so zu sehen, muß die Leidenschaft unser Auge richten. Sie nämlich beleuchtet mit ihrem Aufflammen den Gegenstand und verstärkt seine Sichtbarkeit.

Eine solche Leidenschaft, eine Leidenschaft der schöpferischen Anschauung, trug Tolstoi immer in sich. In ihrem Licht nämlich sah er alles in ursprünglicher Frische, neu und wie zum ersten Mal. Die Echtheit des von ihm Gesehenen weicht so weit von unseren Gewohnheiten ab, daß sie uns fremd erscheinen kann. Doch suchte Tolstoi diese Seltsamkeit nicht, er strebte sie nicht als Ziel an und teilte sie schon gar nicht seinen Werken als Art der schriftstellerischen Gestaltung mit.

Vor dem ersten Weltkrieg

1

Eine Hälfte des Jahres 1912, im Frühjahr und Sommer, war ich im Ausland. Unsere vorlesungsfreie Zeit fällt im Westen auf das Sommersemester. Dieses Semester verbrachte ich an der alten Universität der Stadt Marburg.

An dieser Universität hörte Lomonossow den Mathematiker und Philosophen Christian Wolff. Ein halbes Jahrhundert vor ihm las hier auf der Durchreise aus dem Ausland, vor der Rückkehr in die Heimat und dem Tod auf dem Scheiterhaufen in Rom, Giordano Bruno einen Abriß seiner neuen Astronomie.

Marburg ist eine kleine mittelalterliche Stadt. Sie zählte damals neunundzwanzigtausend Einwohner. Die Hälfte stellten die Studenten. Malerisch schmiegt sie sich an einen Berg, aus dem der Stein gewonnen wurde, der zum Bau ihrer Häuser und Kirchen, des Schlosses und der Universität gedient hatte, und versinkt in Gärten, dunkel wie die Nacht.

Krümel von den Mitteln, die für mein Leben und Studium in Deutschland zurückgelegt worden waren, waren mir geblieben. Von diesem unaufgebrauchten Rest reiste ich nach Italien. Ich sah Venedig, ziegelrosa und aquamarin grün, wie die durchsichtigen Steinchen, die das Meer ans Ufer wirft, ich besuchte Florenz, dunkel, eng, wohlgefügt – wie ein lebendiger Auszug aus den Danteschen Terzinen. Zu einer Besichtigung Roms reichte das Geld nicht.

Im Jahr darauf beendete ich die Moskauer Universität. Daheim half mir Mansurow, ein junger Historiker, der an der Universität geblieben war. Er rüstete mich mit einer vollständigen Sammlung der vorbereitenden Hilfsmittel aus, mit denen er selbst im vorangegangenen Jahr das Staatsexamen abgelegt hatte. Die Professorenbibliothek übertraf die Examensforderungen bei weitem und enthielt außer den allgemeinen Führern ausführliche Nachschlagewerke über die klassischen Altertümer und gesonderte Monographien zu verschiedenen Fragen. Ich brachte diesen Reichtum mit Mühe in einer Mietskutsche fort.

Mansurow war verwandt und befreundet mit dem jungen Trubezkoi und Dmitri Samarin. Ich kannte sie vom Fünften Gymnasium her, wo sie alljährlich die Examen als Externe, weil sie zu Hause studierten, ablegten.

Die alten Trubezkoi, Vater und Onkel des Studenten Nikolai, waren – Professor der Rechtswissenschaften der eine, Rektor der Universität und Philosoph der andere. Beide zeichnete große Korpulenz aus, und wie Elefanten in taillenlosen Gehröcken sich auf das Katheder ladend, hielten sie in einem inständigen Ton, mit dumpfen, aristokratisch das R verschleifenden, bettelnden Stimmen ihre hervorragenden Vorlesungen.

Von ähnlichem Geblüt waren die jungen Leute, die als unzertrennliche Troika ab und zu bei der Universität hereinschauten, hochgewachsene, begabte Jünglinge mit zusammengewachsenen Augenbrauen und tönenden Stimmen und Namen.

In diesem Kreis war die Marburger philosophische Schule angesehen. Trubezkoi schrieb über sie und schickte die begabtesten

Schüler dorthin, sich zu vervollkommen. Dmitri Samarin, der vor mir dort gewesen war, war in der Stadt wie zu Hause und ein Patriot Marburgs. Ich war auf seinen Rat dorthin gegangen.

Dmitri Samarin kam aus einer berühmten slawophilen Familie, auf deren ehemaligem Landgut sich jetzt das Schriftstellerstädtchen in Peredelkino und das Peredelkinoer Kindersanatorium für Tuberkulose ausgebreitet hat. Die Philosophie, die Dialektik, die Kenntnis Hegels lagen ihm im Blut, sie waren ererbt. Er zersplitterte sich, war zerstreut und sicherlich nicht völlig normal. Dank den seltsamen Ausfällen, mit denen er überraschte, wenn es ihm ankam, war er schwierig und im Gemeinschaftsleben unerträglich. Den Verwandten, welche sich nicht mit ihm vertrugen und mit welchen er beständig im Streit lag, ist nicht schuld zu geben.

Am Anfang der NÖP-Zeit kam er, schlichter und friedfertig geworden, aus Sibirien, wo ihn der Bürgerkrieg lange umhergetrieben hatte, nach Moskau zurück. Er war vom Hunger aufgedunsen und unterwegs verlaust. Die unter Entbehrungen leidenden Verwandten umgaben ihn mit Sorge. Doch es war schon zu spät. Er erkrankte bald am Typhus und starb, als die Epidemie im Schwinden begriffen war.

Was aus Mansurow wurde, weiß ich nicht; der bekannte Philologe Nikolai Trubezkoi wurde in der ganzen Welt berühmt und starb vor kurzem in Wien.

2

Den Sommer nach dem Staatsexamen verbrachte ich bei den Eltern auf einer Datscha in Molodi, nahe der Station Stolbowaja, an der Moskau – Kursker Eisenbahn.

In dem Haus hatten sich, wie überliefert wird, Kosaken unserer zurückweichenden Armee gegen nachsetzende vorderste Teile der Armee Napoleons verteidigt. In der Tiefe des Parks, der in einen Friedhof übergang, wuchsen ihre Gräber zu und verfielen.

Das Haus hatte im Vergleich zur Höhe enge Zimmer und hohe Fenster. Die Petroleumlampe warf Schatten von gigantischen Ausmaßen über die Ecken der dunklen, bordeauxroten Wände und die Decke.

Den Park entlang wand sich ein kleines Fließchen, in lauter schroffen, vom Wasser ausgewaschenen Ausbuchtungen. Über einem der Strudel lag eine halb hinuntergestürzte und umgekippt weiterwachsende große alte Birke.

Der grüne Wirrwarr ihrer Zweige bildete eine über dem Wasser hängende luftige Laube. In ihrer kräftigen Umflechtung konnte man sich niederlassen, sitzend oder halb liegend. Hier richtete ich

mir eine Arbeitsecke ein. Ich las Tjutschew und schrieb zum ersten Mal im Leben Gedichte nicht als seltene Ausnahmerecheinung, sondern oft und ausdauernd, wie man sich mit Malerei beschäftigt oder Musik komponiert.

Im Dickicht dieses Baums schrieb ich im Verlauf von zwei oder drei Sommermonaten die Gedichte meines ersten Buchs.

Das Buch nannte sich, anspruchsvoll bis zur Dummheit, „Zwilling in den Wolken“, in Nachahmung der kosmologischen Spitzfindigkeiten, die die Buchtitel der Symbolisten und die Namen ihrer Verlage kennzeichneten.

Diese Gedichte zu schreiben, dann zu streichen und das Gestrichene wiederherzustellen, war ein tiefes Bedürfnis und gewährte eine mit nichts zu vergleichende, bis zu Tränen rührende Befriedigung.

Ich bemühte mich, romantische Künsteleien und eine mir fremde Interessantheit zu vermeiden. Es verlangte mich nicht danach, sie von der Estrade zu donnern, auf daß die Gebildeten vor ihnen zurückschräken und sich entrüsteten: „Was für ein Niedergang! Was für eine Barbarei!“ Ich brauchte es nicht, daß von ihrem bescheidenen Glanz die Fliegen stürben und die Frau-Professor-Damen nach der Lesung in einem Kreis von sechs oder sieben Verehrerinnen sagten: „Erlauben Sie, Ihnen die ehrliche Hand zu drücken.“ Ich habe nicht jene deutliche Rhythmik erstrebt, des Tanzes oder Liedes, unter deren Wirkung, fast ohne Beteiligung der Worte, die Füße und Hände sich von allein zu bewegen beginnen. Ich habe nichts zum Ausdruck gebracht, nichts widergespiegelt, nichts abgebildet, nichts dargestellt.

In der Folge, da man mich in eine unbegründete Nähe zu Majakowski stellte, fand man oratorische und intonatorische Ansätze bei mir. Das ist unrichtig. Sie sind bei mir nicht stärker als bei jedem, der spricht.

Ganz im Gegenteil, meine beständige Arbeit war auf den Inhalt gerichtet, mein beständiger Traum, daß das Gedicht selbst etwas enthalte, daß es einen neuen Gedanken ein neues Bild enthalte. Daß es mit allen seinen Besonderheiten in das Buch eingraviert sei und von seinen Seiten spreche mit all seinem Schweigen und mit allen Farben seines schwarzen, farblosen Drucks.

Ich habe, zum Beispiel, das Gedicht „Venedig“ oder das Gedicht „Der Bahnhof“ geschrieben. Die Stadt auf dem Wasser stand vor mir, und die Kreise und Achten ihrer Spiegelungen schwammen und vermehrten sich, aufquellend wie Zwieback in Tee. Oder in der Ferne, am Ende der Schienen und Perrons, erhob sich, ganz in Wolken und Rauch, der Abschiedshorizont der Eisenbahn, hinter dem sich die Züge verbargen und der eine ganze Geschichte von Beziehungen abschloß, Begegnungen und Abschiede und Ereignisse vor ihnen und nach ihnen.

Ich brauchte nichts von mir selbst, von den Lesern, von der Kunsttheorie. Für mich war nötig, daß das eine Gedicht die Stadt Venedig enthielt und in dem anderen der Brester, heute der Belorussisch-Baltische Bahnhof stand. Die Zeilen „In Manövern von Regen und Schwellen schwärmt der Weten zuweilen aus“ in „Der Bahnhof“ gefielen Bobrow. Wir hatten in einer Gruppe mit Assejew und ein paar anderen Anfängern einen kleinen gemeinschaftlichen Verlag auf der Basis gemeinsam getragener Kosten. Bobrow, der bei seiner Arbeit im „Russischen Archiv“¹ Typographie gelernt hatte, publizierte selbst mit uns und druckte uns. Er brachte den „Zwilling“ mit einem freundschaftlichen Vorwort von Assejew.

Maria Iwanowna Baltrušaitis, die Frau des Dichters, sagte: „Sie werden irgendwann bereuen, daß Sie ein unreifes Bändchen publiziert haben.“ Sie hatte recht. Ich habe es oft bedauert.

3

Den heißen Sommer 1914, mit einer Dürre und einer totalen Sonnenfinsternis, verlebte ich in der Datscha der Baltrušaitis auf einem großen Gut an der Oka in der Nähe der Stadt Aleksin. Ich nahm mit ihrem Sohn die Unterrichtsfächer durch und übersetzte für das damals gegründete Kammertheater, dessen literarischer Leiter Baltrušaitis war, eine deutsche Komödie von Kleist, „Der zerbrochene Krug“.

Auf dem Gut waren viele Leute aus der Künstlerwelt, der Poet Wjatscheslaw Iwanow, der Maler Uljanow, die Frau des Schriftstellers Muratow. Nicht weit davon, in Tarussa, übersetzte Belmont für dasselbe Theater „Śakuntalā“² von Kālidāsa.

Im Juli fuhr ich nach Moskau zur Einberufungskommission und erhielt das weiße Billett, die völlige Zurückstellung, wegen des verkürzten, in der Kindheit gebrochenen Beines. So kehrte ich dann an die Oka zu den Baltrušaitis zurück.

Bald danach kam ein besonderer Abend. Auf der Oka, lange im Nebelschleier, der sich über dem Uferschilf ausbreitete, näherte sich von unten eine Militärmusik, Polkas und Märsche. Dann glitt hinter einem Kap ein kleiner Schleppdampfer mit drei Lastkähnen hervor. Sicherlich sah man vom Dampfer aus das Gut auf dem Berg und beschloß anzulegen. Der Dampfer drehte sich auf dem Fluß quer und brachte die Lastkähne an unser Ufer. Auf ihnen wurden wir Soldaten gewahr, eine vielköpfige Grenadiereinheit. Sie stiegen aus und zündeten am Fuß des Berges Lagerfeuer an. Die Offiziere wurden eingeladen, oben Abendbrot zu essen und

¹ Zeitschrift für Geschichte und Literatur, kam von 1863 bis 1917 in Moskau heraus.

² Drama des indischen Hofdichters Kālidāsa (etwa 390–460).

zu übernachten. Am Morgen stießen sie ab vom Ufer. Das war eine der Einzelheiten der rechtzeitig durchgeführten Mobilisierung. Der Krieg begann.

4

Damals diente ich in zwei Abschnitten mit Unterbrechungen etwa ein Jahr lang als Hauslehrer in der Familie des reichen Kaufmanns Moriz Filipp, als Erzieher ihres Sohnes Walter, eines netten und anhänglichen Jungen.

Im Sommer, während der antideutschen Unruhen in Moskau, wurde neben einer Anzahl großer Firmen – Einem, Ferrein¹ und anderen – auch Filipp verwüstet, das Kontor und das Wohnhaus.

Die Zerstörungen wurden geplant betrieben, mit dem Wissen der Polizei. Der Besitz der Angestellten wurde nicht angerührt, nur der der Herrschaft. In dem entstandenen Chaos blieben mir meine Wäsche, die Garderobe und andere Sachen, aber meine Bücher und Handschriften gerieten in den allgemeinen Brei und wurden vernichtet.

Ich habe später viel unter friedlicheren Umständen verloren. Ich liebe meinen Stil bis 1940 nicht, ich lehne die Hälfte des Majakowskischen ab, nicht immer gefällt mir Jesenin. Mir ist der allgemeine damalige Formenzerfall fremd, die Verarmung des Gedankens, die verschlackte und ungestaltete Fügung. Ich bejammere das Verschwinden mangelhafter und unvollendeter Arbeiten nicht. Aber auch unter einem ganz anderen Gesichtspunkt haben mich Verluste nie betrübt.

Verlieren ist im Leben unerläßlicher als Erwerben. Das Korn gibt keinen Keim, wenn es nicht stirbt. Man muß leben, ohne müde zu werden, nach vorn schauen und sich von den lebendigen Vorräten nähren, die, zusammen mit dem Gedächtnis, das Vergessen herausarbeitet.

Zu verschiedenen Zeiten habe ich aus verschiedenen Ursachen verloren: den Text des Vortrages „Symbolismus und Unsterblichkeit“. Die Aufsätze der futuristischen Periode. Ein Märchen für Kinder in Prosa. Zwei Poeme. Ein Heft mit Versen, geschrieben zwischen „Über die Barrieren“ und „Meine Schwester – das Leben“. Den Entwurf eines Roans in mehreren Quartheften, dessen Anfang für sich als die Erzählung „Lüvers' Kindheit“ gedruckt worden ist. Die Übersetzung einer ganzen Tragödie² Swinburnes aus seiner dramatischen Trilogie über Maria Stuart.

¹ Namen deutscher Unternehmer im Ural.

² Pasternak übersetzte die Tragödie „Chastelard“ von Swinburne, die zu der dramatischen Trilogie „Maria Stuart“ (1881) gehört.

Aus dem zerstörten und zur Hälfte niedergebrannten Haus Filippis zogen wir in eine Mietwohnung um. Hier hatte ich ein eigenes Zimmer. Ich erinnere mich gut daran. Die Strahlen der sinkenden Herbstsonne furchten das Zimmer und das Buch, das ich durchblätterte. Es enthielt einen doppelten Abend. Der erste lag als leichter Rosaschein auf seinen Seiten. Der zweite bildete den Inhalt und die Seele der Verse, die in ihm gedruckt waren. Ich beneidete den Autor, der mit solch einfachen Mitteln Teilchen der Wirklichkeit festhalten konnte, die in es hineingetragen worden waren. Es war eins der ersten Bücher Achmatowas, vermutlich „Wegerich“¹.

5

In ebendiesen Jahren, in den Zwischenzeiten der Arbeit bei den Filippis, reiste ich in den Ural und an die Kama. Einen Winter brachte ich in Wsewolod-Wilwa zu, im Norden des Gouvernements Perm, an einem Ort, den einst Tschechow und Lewitan besucht hatten, wie A. N. Tichonow bezeugt, der diese Gegenden in seinen Erinnerungen dargestellt hat. Den anderen überwinterte ich in Tichije Gory an der Kama, in den chemischen Werken der Uschkows.

Im Kontor der Werke versah ich einige Zeit das Militäramt und befreite die Militärflichtigen ganzer Amtsbezirke. Sie waren den Werken zugeteilt und arbeiteten für die Verteidigung.

Im Winter verkehrten die Werke mit der übrigen Welt auf vorsintflutliche Art. Die Post wurde aus dem zweihundertfünfzig Werst entfernten Kasan wie zu Zeiten der „Hauptmannstochter“² auf Troikas gebracht. Ich habe diesen Winterweg einmal bewältigt.

Als man im März 1917 in den Werken von der in Petersburg ausgebrochenen Revolution erfuhr, reiste ich nach Moskau.

Ich sollte im Ishewsker Werk einen donhin entsandten Ingenieur und hervorragenden Menschen, Sbarski, finden und holen, mich ihm zur Verfügung stellen und mit ihm weiterreisen.

Von Tichije Gory jagten wir in einer Kibitka, einem überdachten Fuhrwerk auf Kufen, einen Abend und eine Nacht hindurch und einen Teil des folgenden Tages dahin. In drei Asjams³ gewickelt und im Heu untertauchend, rollte ich wie ein schwerer Sack auf dem Schlittenboden hin und her, der Bewegungsfreiheit beraubt. Ich döste, hob immer wieder den Kopf und schlief doch ein, erwachte wieder und schloß und öffnete die Augen.

¹ Anna Achmatowas Gedichtband „Wegerich“ erschien erst 1921; wahrscheinlich meint Pasternak die Sammlung „Der Abend“ (1912) oder „Der Rosenkranz“ (1913).

² Roman von A. S. Puschkina.

³ langer Rock.

Ich sah einen Waldweg, Frostnachtsterne. Hohe Schneewehen buckelten den engen Passierpfad zum Berg. Oft streifte das Fuhrwerk mit dem Dach an die unteren Zweige überhängender Tannen, strich den Reif von ihnen und schleppte sich raschelnd unter ihnen durch, sie hinter sich herziehend. Das Weiß der Schneehülle spiegelte das Glitzern der Sterne und erhellte den Weg. Die leuchtende Schneedecke erschreckte in der Tiefe, innen im Dickicht, wie eine in den Wald gestellte brennende Kerze.

Die drei Pferde, hintereinandergespannt, jagten mit dem Fuhrwerk dahin, wobei mal das eine, mal das andere zur Seite sprang und aus der Spur kam. Der Kutscher richtete sie alle Augenblicke neu, und wenn sich die Kutsche zur Seite neigte, sprang er ab, lief nebenher und stützte sie mit der Schulter, daß sie nicht umkippe.

Ich schlief wieder ein, verlor die Vorstellung von der mittlerweile verflossenen Zeit und erwachte plötzlich von einem Ruck und vom Abbruch der Fahrt.

Eine Kutscher-Station im Wald, ganz wie in den Märchen von Räubern. Licht in der Hütte. Der Samowar summt, und die Uhr tickt. Während sich der Kutscher, der die Kibitka gefahren hat, aus den Sachen schält, sich von dem Frost erholt und nächtlich-leise, aus Rücksicht auf die hinter der Scheidewand Schlafenden vielleicht, mit der Stationsvorsteherin plaudert, die ihm zu essen holt, wischt der neue sich Schnurrbart und Lippen ab, knöpft den Bauernrock zu und geht in die Kälte hinaus, eine frische Troika anspannen.

Und wieder gejagt, was es hergibt, das Pfeifen der Kufen und Schläfrigkeit und Schlaf. Und dann, am andern Tag, eine unbekannte Ferne mit Fabrikschornsteinen, die grenzenlose Schneewüste eines großen vereisten Flusses und irgendeine Eisenbahnlinie.

6

Bobrow verhielt sich unverdient warmherzig zu mir. Unermüdlich bewachte er meine futuristische Reinheit und bewahrte mich vor schädlichen Einflüssen. Als solche verstand er die Anteilnahme von Älteren. Kaum bemerkte er Anzeichen ihrer Aufmerksamkeit, beeilte er sich, wie aus Angst, ihre Freundlichkeit stürze mich in den Akademismus, mit allen möglichen Mitteln die sich andeutende Verbindung zu zerstören. Ich hörte nicht auf, mich dank ihm mit allen zu verstreiten.

Das Ehepaar Anissimow, Julian und seine Frau Wera Stanevitsch, waren mir sympathisch. Unfreiwillig mußte ich an Bobrows Zerwürfnis mit ihnen teilhaben.

Wjatscheslaw Iwanow schrieb mir eine rührende Widmung auf ein geschenktes Buch. Bobrow lachte in Brjussows Kreis die

Widmung aus mit einer Pose, als hätte ich selbst den Anlaß zu der Spöttei gegeben. Wjatscheslaw Iwanow grüßte mich nicht mehr.

Das Journal „Sowremennik“¹ druckte meine Übersetzung von Kleists „Zerbrochenem Krug“. Die Arbeit war unreif, uninteressant. Ich hätte mich vor dem Journal bis auf den Boden verneigen müssen für den Abdruck. Außerdem hätte ich der Redaktion noch mehr dafür zu danken gehabt, daß irgend jemandes unbekannte Hand das Manuskript durchgegangen war zu seinem offenkundigen Nutz und Frommen.

Doch das Gefühl der Wahrheit, die Bescheidenheit, die Erkenntlichkeit waren unter der Jugend der linken künstlerischen Richtungen nicht im Schwang und galten als Zeichen für Sentimentalität und Sauertöpfigkeit. Man fand es gut, die Nase zu rümpfen, einherzuzustolzieren und dreist zu sein, und, wie sehr mir das auch widerstand, ich ließ mich gegen meinen Willen mitziehen, um nicht hinter den Kameraden zurückzubleiben.

Irgend etwas geschah mit der Korrektur der Komödie. Sie kam zu spät und enthielt irgendwelche Vermerke der Setzerei, die nichts mit dem Text zu tun hatten.

Zur Rechtfertigung Bobrows muß man sagen, daß er selbst von der Sache nicht die mindeste Ahnung hatte und in diesem Fall wirklich nicht wußte, was er anrichtete. Er sagte, daß man diese Schlamperei, diese Schmierereien in der Korrektur und eine unerbetene stilistische Berichtigung so nicht auf sich beruhen lassen könne und daß ich mich bei Gorki beschweren müsse, der an der Führung des Journals, soviel er wisse, im stillen beteiligt sei. So tat ich auch. Anstatt der Redaktion des „Sowremennik“ dankbar zu sein, beschwerte ich mich in einem dummen Brief voller gemachter flegelhafter Arroganz bei Gorki darüber, daß man aufmerksam gegen mich war und mir eine Liebenswürdigkeit erwies. Jahre vergingen, und es stellte sich heraus, daß ich mich bei Gorki über Gorki beschwert hatte. Die Komödie war auf seinen Hinweis hin gedruckt worden, und er hatte sie mit eigener Hand verbessert.

Endlich begann auch meine Bekanntschaft mit Majakowski mit der polemischen Begegnung zweier sich befeindender futuristischer Gruppen, von denen er der einen angehörte und ich der anderen. Der Absicht der Veranstalter nach hätte einige Rauferei statthaben sollen, doch den Streit verhinderte unser beider, sich bei den ersten Worten herausstellendes gegenseitiges Verständnis.

¹ Zeitschrift, die in Petersburg von 1911 bis 1915 herauskam; M. Gorki brachte in ihr 1915 Kleists Komödie „Der zerbrochene Krug“ in der Übersetzung von Boris Pasternak heraus.

Ich werde nicht von meinen Beziehungen zu Majakowski schreiben. Zwischen uns war nie Vertrautheit. Seine Anerkennung für mich wird übertrieben. Sein Standpunkt zu meinen Sachen wird entstellt.

Er mochte „Das Jahr 1905“ und „Leutnant Schmidt“ nicht und sah, daß sie geschrieben wurden, als einen Irrtum an. Ihm gefielen zwei Bücher: „Über die Barrieren“ und „Meine Schwester – das Leben“.

Ich werde nicht über die Geschichte unserer Begegnungen und Trennungen sprechen. Soweit ich kann, will ich mich bemühen, eine allgemeine Charakteristik Majakowskis und seiner Bedeutung zu geben. Es versteht sich, daß das eine wie das andere subjektiv gefärbt und voreingenommen sein wird.

Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Wir haben keinen Begriff von der seelischen Marter, die dem Selbstmord vorausging. Unter der physischen Tortur auf der Folterbank verliert man alle Augenblicke das Bewußtsein, die Folterqualen sind so stark, daß schon sie mit ihrer Unerträglichkeit das Ende nahebringen. Doch ein der Gewalt des Henkers unterworfenener Mensch ist noch nicht vernichtet. Vor Schmerz besinnungslos, ist er zugegen bei seinem Ende, seine Vergangenheit gehört ihm, seine Erinnerungen sind bei ihm, und wenn er es begehrt, kann er sie benutzen, vor dem Tode können sie ihm helfen.

Kommt man auf den Gedanken an den Selbstmord, räumt man das Feld, wendet sich ab von dem Vergangenen, erklärt sich bankrott und seine Erinnerungen für ungültig. Diese Erinnerungen können den Menschen schon nicht mehr erreichen, ihn retten und ihn unterstützen. Der Zusammenhang der inneren Existenz ist gestört, die Persönlichkeit hat geendet. Vielleicht tötet man sich am Schluß nicht aus Treue zu der gefaßten Entscheidung, sondern aus der Unerträglichkeit dieser Sehnsucht, die unbekannt wem gehört, dieses Leidens in Abwesenheit des Leidenden, dieser leeren, von dem sich fortsetzenden Leben nicht erfüllten Erwartung.

Mir scheint, Majakowski hat sich aus Stolz erschossen, deshalb, weil er etwas in sich oder neben sich verurteilt hat, mit dem seine Eigenliebe nicht Frieden schließen konnte. Jessenin hat sich erhängt ohne eine klare Vorstellung von den Folgen und in der Tiefe der Seele denkend – wer weiß, vielleicht ist es noch nicht das Ende, und, die Stunde ist ungerade, die Großmutter hat noch zweifach geweissagt. Marina Zwetajewa hat sich das ganze Leben vor der Alltäglichkeit mit der Arbeit abgeschirmt, und als ihr schien, daß

das ein unerlaubter Luxus ist und sie um ihres Sohnes willen die fesselnde Leidenschaft opfern und nüchtern ringsum blicken mußte, sah sie ein Chaos, das nicht durch das Werk hindurchgedrungen war, ein unbewegliches, ungewohntes, starres, fuhr entsetzt zurück und verbarg sich, da sie nicht wußte wohin vor dem Grauen, in der Eile in den Tod, legte den Kopf in die Schlinge wie unter ein Kopfkissen. Und mir scheint, Paolo Jaschwili hat schon gar nichts verstanden, ein von der Hexerei der Schigaljows¹ des Jahres 37 hinter Licht Geführter, und blickte nachts auf seine schlafende Tochter und bildete sich ein, er sei nicht mehr wert, auf sie zu blicken, und am Morgen ging er zu den Freunden und zertrümmerte sich mit Schrot aus zwei Mündungen den Schädel. Und mir scheint, daß Fadejew, mit jenem schuldbewußten Lächeln, das er durch alle Winkelzüge der Politik hindurchzutragen vermochte, in der letzten Minute vor dem Schuß von sich Abschied nehmen konnte mit etwa diesen Worten: „Na schön, alles ist zu Ende. Machs gut, Sascha.“

Aber sie alle haben sich unbeschreiblich gequält, gequält auf jener Stufe, wo die Empfindung der Sehnsucht schon als seelische Krankheit erscheint. Und wie vor ihrem Talent und hellen Angedenken verneigen wir uns mit Teilnahme auch vor ihrem Leiden.

9

Also, im Sommer 1914 sollte in einem Café auf dem Arbat ein Zusammenstoß zweier literarischer Gruppen stattfinden. Auf unserer Seite waren ich und Bobrow. Von ihrer Seite waren Tretjakow und Scherschenewitsch vorgesehen. Doch sie brachten Majakowski mit.

Wider Erwarten stellte sich heraus, daß mir der junge Mann schon von Ansehen bekannt war von den Korridoren des Fünften Gymnasiums, wo er zwei Klassen unter mir gelernt hatte, und von den Wandelgängen der Sinfonie, wo er mir während der Pausen aufgefallen war.

Nicht lange davor hatte mir ein späterer blinder Anhänger Majakowskis einen seiner Erstlinge im Druck gezeigt. Damals verstand dieser junge Mensch seinen künftigen Gott nicht nur nicht, sondern er zeigte mir diese Neuerscheinung mit Spott und Entrüstung, wie einen offensichtlich talentlosen Unsinn. Mir aber gefielen die Gedichte über die Maßen. Es waren jene ersten flammend leuchtenden Versuche von ihm, die dann in den Band „Einfach wie Muhen“² eingingen.

¹ nach der Figur des Schigaljow aus F. Dostojewskis Roman „Die Dämonen“, der das Prinzip eines uneingeschränkten Despotismus vertritt.

² russ. „Prostoe, kak mycanie“, Gedichtband von W. Majakowski, den Pasternak 1916 rezensierte.

Jetzt, in dem Café, gefiel mir ihr Autor nicht weniger. Vor mir saß ein schöner, finster aussehender Jüngling mit dem Baß eines Protodiakons und der Faust eines Boxers, unerschöpflich, vernichtend scharfsinnig, etwas in der Mitte zwischen einem mythischen Helden Alexander Grins und einem spanischen Torero.

Man ahnte gleich, daß, wenn er auch schön und scharfsinnig und begabt, auch vielleicht erzbegabt war, nicht dies die Hauptsache sei in ihm, sondern die Hauptsache war – eine eiserne innere Disziplin, bestimmte Vermächtnisse oder Grundpfeiler eines Adels, ein Pflichtgefühl, dessentwegen er sich nicht erlaubte, anders zu sein, weniger schön, weniger scharfsinnig, weniger begabt.

Und mich erinnerten seine Entschiedenheit und die zerzauste Mähne, die er mit allen fünf Fingern rauhte, sofort an die typische Dostojewskische Figur des jungen Terroristen und Illegalen, eine seiner jüngeren Gestalten aus der Provinz.

Die Provinz ist nicht immer zu ihren Ungunsten hinter der Hauptstadt zurückgeblieben. Manchmal, in einer Verfallsperiode der Hauptzentren, haben die stillen Winkel die in ihnen erhalten gebliebene rechtschaffene alte Zeit bewahrt. So brachte Majakowski in das Reich des Tangos und der Rollschuhbahnen aus dem stillen transkaukasischen Forstrevier, wo er geboren wurde, die in dem Krähwinkel noch unerschütterliche Überzeugung mit, daß die Aufklärung in Rußland nur revolutionär sein könne.

Die natürlichen äußeren Gaben ergänzte der junge Mensch wunderbar mit einer künstlerischen Unordnung, die er sich verlieh, einer etwas groben und nachlässigen Ungeschlachtheit der Seele und der Figur und rebellischen Bohemezügen, mit denen er mit so sicherem Geschmack spielte und sich drapierte.

10

Ich liebte die frühe Lyrik Majakowskis sehr. Auf dem Hintergrund der damaligen Hanswurstelei war ihre Ernsthaftigkeit, diese schwere, strenge, klagende, so ungewöhnlich. Es war eine meisterlich ausgeformte Poesie, hochmütig, dämonisch und zu gleicher Zeit maßlos preisgegeben, zugrunde gehend, fast um Hilfe rufend.

Zeit! Daß du doch, lahmer Gottkleckser, mein Gesicht
in die Betecke kleckst der Mißgeburt von Jahrhundert!
Einsam wie das letzte Auge bin ich
eines Menschen, der geht zu den Blinden!¹

¹ letzte Strophe des Gedichts „Einige Worte über mich selbst“, das Majakowski 1913 schrieb.

Die Zeit gehorchte und tat, worum er bat. Sein Gesicht wurde eingezeichnet in die Betecke des Jahrhunderts. Doch worüber mußte man verfügen, um das zu sehen und vorauszusagen.

Oder er sagt:

Was versteht ihr, warum ich, gelassen,
einem Hohngewitter gleich,
die Seele bring in der Schüssel
zum Mittagmahl kommender Zeit...¹

Die liturgischen Parallelen sind nicht zu übersehen. „Und alles Fleisch des Menschen schweigt und steht mit Furcht und Zittern und bedenkt sein nichtiges Erdendasein. Der KÖNIG der Könige und HERR der Herrschenden kommt sich zu opfern und zur Speise zu geben den Frommen.“

Im Unterschied zu den Klassikern, denen der Sinn der Hymnen und Gebete wichtig war, zu Puschkin, der im „Gebet“² Ephräm Syrus nacherzählt, und zu Alexej Tolstoi, der die Begräbnis-Idiomelen³ des Johannes von Damaskus in Verse umsetzt, waren Blok, Majakowski und Jessenin die Stückchen kirchlicher Gesänge und Lesungen in ihrer Buchstäblichkeit teuer, als Teilchen des lebendigen Daseins, gleichrangig neben der Straße, dem Haus und beliebigen Worten der Umgangssprache.

Diese Sedimente altertümlicher Schöpfung sagten Majakowski den parodistischen Bau seiner Poeme vor. Es gibt eine Vielzahl Analogien zu kanonischen Vorstellungen bei ihm, verborgene und betonte. Sie riefen auf zum großen Maß, forderten starke Hände und erzogen die Kühnheit des Poeten.

Es ist sehr gut, daß Majakowski und Jessenin das nicht umgegangen haben, was sie seit der Kindheit kannten und wußten, daß sie diese Schichten aus der Gewohnheit hoben, die in ihnen eingeschlossene Schönheit nutzten und sie nicht unter dem Schefel ließen.

11

Als ich Majakowski näher kennenlernte, stellten sich bei uns unvorhergesehene technische Übereinstimmungen heraus, ein ähnlicher Bildaufbau, Ähnlichkeit im Reim. Ich liebte die Schönheit und das Gelingen seiner Bewegungen. Etwas Besseres brauchte ich nicht. Um ihn nicht zu wiederholen und nicht als

¹ die ersten Verse aus dem Prolog zu der Tragödie „Wladimir Majakowski“ (1913)

² Puschkins Gedicht „Gebet“.

³ Psalmverse, Hymnen; Alexej Tolstoi trat zu Beginn seiner literarischen Tätigkeit mit Gedichten im Stil des Symbolismus hervor.

sein Nachahmer zu erscheinen, begann ich, die Anklänge in mir zu unterdrücken, die bei ihm widerhallten, den heroischen Ton, der für mich falsch gewesen wäre, und das Streben nach Effekten. Das hat meinen Stil begrenzt und gereinigt.

Majakowski hatte Nachbarn. Er war in der Poesie kein Einzelgänger, er war nicht in einer Wüste. Auf der Estrade war bis zur Revolution sein Nebenbuhler Igor Sewerjanin, auf der Arena der Volksrevolution und in den Herzen der Menschen Sergej Jessenin. Sewerjanin gebot den Sälen und machte, in der Berufsterminologie der Bühnenartisten, volle Kassen und ausverkaufte Häuser. Er sang seine Verse auf zwei, drei populäre Motive aus französischen Opern, und das fiel nicht in Plattheit ab und beleidigte nicht das Ohr.

Seine Einfalt, Abgeschmacktheit und platten Wortneuschöpfungen, im Verein mit seiner beneidenswert reinen, sich frei verströmenden poetischen Diktion erschufen ein besonderes, seltsames Genre, das, unter dem Deckmantel der Banalität, eine verspätete Ankunft des Turgenew-Stils in der Poesie darstellte.

Seit der Zeit Kolzows hat die russische Erde nichts so Ursprüngliches, Natürliches, Bodenständiges und Arteigenes hervorgebracht wie Sergej Jessenin, nachdem sie seiner Zeit eine unvergleichliche Freiheit bescherte und das Geschenk nicht belastete mit hundertpudschwerem Volkstümlerfleiß. Zudem war Jessenin ein lebendes, pulsierendes Klümpchen von jener Artistik, die wir, in Puschkins Spur, den höchsten Mozartschen Beginn¹, das Mozartsche Element nennen.

Jessenin verhielt sich zu seinem Leben wie zu einem Märchen. Er, ein Zarensohn Iwan auf dem grauen Wolf, überflog den Ozean und fing wie einen Feuervogel am Schwanz Isidora Duncan. Er schrieb auch seine Verse mit Märchen-Mitteln, halb wie mit Kanen Patienen aus Worten legend, halb sie mit Herzblut schreibend. Das Wertvollste bei ihm ist das Bild der heimatlichen Natur, der waldigen, mittlrussischen, rjasanschen, wiedergegeben mit einer verblüffenden Frische, wie sie sich ihm in der Kindheit gegeben hatte. Im Vergleich zu Jessenin ist Majakowskis Gabe schwerer und gröber, dafür vielleicht aber tiefer und umfassender. Den Platz der Natur Jessenins nimmt bei ihm das Labyrinth der modernen Großstadt ein, worin sich die einsame zeitgenössische Seele verirrt und moralisch verdingt, deren dramatische Zustände, leidenschaftliche und unmenschliche, er zeichnet.

¹ Alexander Puschkin stellte die künstlerischen Prinzipien Mozarts und Salieris in seiner kleinen Tragödie „Mozart und Salieri“ (1830) dar.

Wie ich schon sagte, wurde unsere Nähe zueinander übertrieben. In einer Zeit, als unsere Nichtübereinstimmungen sich verschärften, hat er bei Assejew, wo wir uns aussprachen, unsere Unähnlichkeit mit dem üblichen Humor so bestimmt: „Na und? Wir sind wirklich verschieden. Sie lieben den Blitz am Himmel und ich im elektrischen Bügeleisen.“

Ich verstand seinen propagandistischen Eifer nicht, seiner und seiner Kameraden gewaltsame Einbürgerung im gesellschaftlichen Bewußtsein, die Kumpanei, die Artelgemeinschaftlichkeit, die Unterordnung unter die Stimme des Alltags.

Noch unbegreiflicher war mir das Journal „Lef“, in welchem er führend war, die Zusammensetzung der Mitarbeiter und das System der Ideen, die darin verteidigt wurden. Der einzige Konsequente und Ehrliche in diesem Zirkel von Verneinern war Sergej Tretjakow, der seine Verneinung bis zur natürlichen Schlußfolgerung führte. Einer Auffassung mit Platon, hielt Tretjakow dafür, daß die Kunst keinen Platz habe in dem jungen sozialistischen Staat, oder jedenfalls im Moment seiner Entstehung nicht. Aber jene, von den der Zeit angeglichenen Berichtigungen verdorbene, unschöpferische, handwerkliche Pseudokunst, die im «Lef»¹ blühte, lohnte die aufgewendete Mühe und Arbeit nicht, und man konnte sie leicht opfern.

Abgerechnet das dem Sterben vorausgehende und unsterbliche Dokument „Mit voller Stimmkraft“², habe ich zu dem späten Majakowski, angefangen vom „Mysterium buffo“³, keinen Zugang. Mich erreichen diese plump in Reime gebrachten Schreibmuster nicht, diese verfeinerte Inhaltlosigkeit, diese Gemeinplätze und überzähligen Wahrheiten, die so künstlich verworren und ohne Scharfsinn dargelegt sind. Das ist, in meinen Augen, überhaupt kein – ein nicht existenter Majakowski. Und es ist erstaunlich, daß der Gar-kein-Majakowski als der revolutionäre zu gelten begann.

Doch man hielt uns irrtümlich für Freunde, und Jessenin zum Beispiel bat mich, in einer Periode der Unzufriedenheit mit dem Imaginismus⁴, ihn mit Majakowski zu versöhnen, weil er annahm, daß ich zu diesem Zweck der Geeignetste sei.

¹ russ. „Levyj front iskusstva“ (Linke Kunstfront), literarische Gruppe, die sich 1922 in Moskau konstituierte und bis 1929 bestand; ihr gehörten W. Majakowski, N. Assejew, W. Kamenski, S. Tretjakow, A. Krutschonych, O. Brik, B. Arwatow, N. Tschushak, B. Kuschner, S. Kirsanow u. a. an; W. Schklowski stand der Gruppe nahe, B. Pasternak fühlte sich über seine Beziehungen zu Assejew und Majakowski eine Zeitlang mit ihr verbunden. In der Zeitschrift „Novyj Lef“ (1927/28) propagierten Majakowski und Tretjakow die Losungen vom „sozialen Auftrag“ und von der „Literatur des Faktis“.

² Dieses Poem Majakowskis (1930) blieb unvollendet.

³ Massenspiel, das Majakowski 1918 geschaffen hatte und 1921 noch einmal bearbeitete.

⁴ Strömung in der russischen Literatur, die von 1919 bis 1927 bestand; ihr gehörten S. Jessenin, W. Scherschewitsch, A. Marienhof, N. Erdman u. a. an.

Obwohl Majakowski und ich uns siezten, ich mich mit Jessenin aber duzte, waren meine Begegnungen mit dem letzteren seltener. Man konnte sie an den Fingern abzählen, und immer endeten sie mit Rasereien. Mal schworen wir einander tränenüberströmt die Treue, mal entfesselten wir eine Schlägerei bis aufs Blut, und Fremde trennten uns und rissen uns mit Gewalt auseinander.

13

In den letzten Lebensjahren Majakowskis, als es keine Poesie mehr gab, niemandes, seine eigene nicht und nicht die irgendeines anderen, als sich Jessenin erhängte, als, einfacher gesagt, die Literatur abgebrochen war, denn auch der Anfang des „Stillen Don“¹ war ja Poesie und der Anfang des Wirkens von Pilnjak und Babel, Fedin und Wsewolod Iwanow, in diesen Jahren war Assejew – ein vortrefflicher Kamerad, klug, begabt, innerlich frei und von nichts verblendet – ihm ein in der Richtung naher Freund und wichtigster Halt.

Ich aber war endgültig von ihm fortgegangen. Ich hatte mit Majakowski gebrochen aus dem folgenden Grund. Trotz meiner Erklärungen über den Austritt aus dem Mitarbeiterstab des „Lef“ und die Nichtzugehörigkeit zu ihrem Kreis fuhren sie fort, meinen Namen in die Mitarbeiterliste zu setzen. Ich schrieb Majakowski einen scharfen Brief, der ihn heftig aufbringen mußte.

Früher noch, in den Jahren, als ich mich noch unter dem Zauber seines Feuers, seiner innren Kraft und seiner gewaltigen schöpferischen Rechte und Möglichkeiten befand und er mir mit einer erwidernnden Wärme entgalt, schrieb ich ihm eine Widmung in „Meine Schwester – das Leben“ mit unter anderen diesen Zeilen:

„Sie sind beschäftigt mit unserer Balance,
der Tragödie des VWRs²,
Sie, der des Fliegenden Holländers Chance
vorsang, über den Rand jedem Vers.
Ich weiß, daß Ihr Weg nicht gefälscht ist,
doch was ist das, was Sie verschlägt
unter solcher Wohlfahnhäuser Gewölbe
auf Ihrem aufrichtigen Weg?“

¹ Die ersten drei Bücher des Romans „Der stille Don“ von Michail Scholochow kamen 1928/29 heraus, der vierte Teil erschien 1937/40.

² Volkswirtschaftsrats.

Es gab zwei bekannte Sätze über die Zeit. Das Leben wurde besser, das Leben wurde heiterer, und Majakowski war und bleibt¹ der beste und begabteste Poet der Epoche. Für den zweiten Satz dankte ich dem Autor dieser Worte in einem persönlichen Brief, weil sie mich von einem Aufblähen meiner Bedeutung erlösten, dem ich in der Mitte der dreißiger Jahre, zur Zeit des Schriftstellerkongresses, begann ausgesetzt zu sein. Ich liebe mein Leben und bin zufrieden mit ihm. Ich brauche seine zusätzliche Vergoldung nicht. Ein Leben außerhalb des Geheimnisses und der Unauffälligkeit, ein Leben im Spiegelglanz der Vitrinen denke ich mir nicht.

Man begann Majakowski als Pflicht einzuführen wie die Kartoffel unter Katharina. Das war sein zweiter Tod. An dem war er unschuldig.

Drei Schatten

1

Im Juli 1917 machte mich auf Brjussows Rat hin Ehrenburg ausfindig. Damals lernte ich diesen klugen Schriftsteller kennen, einen Menschen von einer mir entgegengesetzten Mentalität, tatkräftig, nicht nach innen gekehrt.

Damals begann der große Strom der aus dem Ausland zurückkehrenden politischen Emigranten, von Menschen, die der Krieg in der Fremde antraf und die dort interniert worden waren, und anderen. Andrej Bely kam aus der Schweiz. Ehrenburg kam.

Ehrenburg rühmte mir die Zwetajewa, zeigte mir ihre Gedichte. Bei einer Gemeinschaftslesung am Anfang der Revolution hörte ich sie unter den anderen Vortragenden. In einem der Kriegskommunismus-Winter ging ich mit irgendeinem Auftrag zu ihr, sagte Belanglosigkeiten, erhielt Bagatellen zur Antwort. Die Zwetajewa war noch nicht angelangt bei mir.

Mein Ohr war damals verdorben von den Verrenkungen und dem Umbruch alles Gewohnten, ringsum Herrschenden. Alles

¹ Einige Jahre nach Majakowskis Freitod verfaßten Ossip und Lilja Brik eine Eingabe an J. W. Stalin, in der sie den Wunsch äußerten, daß die Verdienste des Dichters angesichts seines bevorstehenden zehnten Todestages mehr gewürdigt werden sollten, denn „Majakowski war und bleibt der beste und begabteste Dichter der Sowjetepoche“. Diese Briksche Formulierung und den Zusatz, daß es ein Verbrechen sei, Majakowskis Erbe zu vernachlässigen, brachte Stalin mit Rotstift auf dem Schriftstück an. Bald darauf wurde ihm der Ausspruch zugeschrieben. Vgl. darüber Hugo Huppert, „Ungeduld des Jahrhunderts. Erinnerungen an Majakowski“, Berlin 1976, S. 131 f.

normal Gesagte sprang ab von mir. Ich vergaß, daß die Worte ganz von sich aus etwas enthalten und bedeuten können, neben dem Klimbim, mit dem sie behängt waren.

Gerade die Harmonie der Gedichte Zwetajewas, die Klarheit ihres Gedankens, die Anwesenheit allein von Tugenden und die Abwesenheit von Mängeln bildeten das Hindernis für mich, hemmten mich zu verstehen, worin ihr Kern lag. Ich suchte in allem nicht das Eigentliche, sondern den nebensächlichen Witz.

Ich habe die Zwetajewa lange nicht genügend geschätzt, wie ich auch andere auf unterschiedliche Art unterschätzt habe – Bagrizki, Chlebnikow, Mandelstam, Gumiljow.

Ich sagte schon, daß unter der Jugend, die es nicht verstand, sich besonnen mitzuteilen, die die Redehemmung zur Tugend machte und ungewollt originell war, nur die beiden, Assejew und Zwetajewa, sich menschlich ausdrückten und klassisch in Sprache und Stil schrieben.

Und plötzlich entsagten beide ihrer Befähigung. Assejew war gefesselt von dem Beispiel Chlebnikows. Mit Zwetajewa gingen eigene innere Wandlungen vor. Doch die frühere, sich gleichbleibende Zwetajewa, die vor der Umwandlung, hatte mich noch überzeugen können.

2

Man mußte sich in sie hineinlesen. Als ich das tat, konnte ich die sich mir eröffnende Tiefe der Reinheit und Kraft kaum fassen. Nichts Ähnliches hatte es sonst irgendwo ringsum gegeben. Ich will nicht lange erörtern. Ich nehme keine Sünde auf mich, wenn ich sage: Abgerechnet Annenski und Blok und, mit einigen Einschränkungen, Andrej Bely, war die junge Zwetajewa genau das, was die anderen Symbolisten sein wollten und nicht konnten, allesamt. Dort, wo sich deren Dichtung kraftlos abstrampelte in ausgedachten Schemata und leblosen Archaismen, schwebte die Zwetajewa schwerelos über den Schwierigkeiten des wirklichen Schaffens, kam mit seinen Aufgaben spielend zurecht, mit einem unvergleichlichen technischen Glanz.

Im Frühjahr 1922, als sie schon im Ausland war, kaufte ich in Moskau ihr kleines Bändchen „Werstpfähle“¹. Mich bezwang sofort die lyrische Macht ihrer Form, einer leibhaftig erlebten, nicht schwachbrüstigen, einer schroff gestrafften und verdichteten, die, ohne bei einzelnen Zeilen den Atem zu verlieren, ohne Brüche im Rhythmus, ganze Strophenfolgen in der Entwicklung ihrer Perioden umfaßte.

¹ russ. „Versty“, Gedichtband (1921).

Eine gewisse Nähe barg sich hinter diesen Besonderheiten, vielleicht eine Gemeinsamkeit erfahrener Einflüsse oder die nämlichen Anreger bei der Charakterformung, eine ähnliche Rolle von Familie und Musik, die Herkunftsgleichheit der Ausgangspunkte, Ziele und Bevorzugungen.

Ich schrieb Zwetajewa nach Prag einen Brief, voller Entzücken und Erstaunen angesichts dessen, daß ich sie so lange verschlafen hatte und nicht erkannt. Sie antwortete mir. Zwischen uns entspann sich ein Briefwechsel, der in der Mitte der zwanziger Jahre besonders rege wurde, als ihr „Handwerk“¹ herauskam und in Moskau ihre „Poem vom Ende“², „Poem vom Berg“³ und „Der Rattenfänger“⁴ in Abschriften bekannt wurden – groß in der Spannweite und dem Gedanken, leuchtend und ungewöhnlich in der Neuheit. Wir wurden Freunde.

Im Sommer 1935, als ich nach einer fast einjährigen Schlaflosigkeit einer Gemütskrankheit nahe war und mich selbst nicht mehr kannte, kam ich zu einem Antifaschistenkongreß nach Paris. Dort lernte ich den Sohn, die Tochter und den Ehemann⁵ Zwetajewas kennen und begann diesen bezaubernden, feinen und standhaften Menschen wie einen Bruder zu lieben.

Die Angehörigen Zwetajewas drängten sie zur Rückkehr nach Rußland. Zum Teil sprachen in ihnen die Sehnsucht nach Hause und die Sympathie für den Kommunismus und die Sowjetunion, zum Teil die Vorstellung, Zwetajewa könne nicht leben in Paris und gehe dort zugrunde in der Leere, ohne das Echo der Leser.

Zwetajewa fragte mich, was ich dazu denke. Ich hatte in dieser Sache keine entschiedene Meinung. Ich wußte nicht, was ihr zu raten sei, und fürchtete sehr, daß es für sie und ihre hervorragende Familie bei uns schwer und unruhig werden würde. Die alle umfassende Tragödie der Familie überstieg meine Befürchtungen unermesslich.

3

Im Anfang dieser einführenden Skizze, auf den Seiten, die die Kindheit betrafen, habe ich reale Bilder und Szenen geboten und Lebensereignisse beschrieben, von der Mitte an aber bin ich zu Verallgemeinerungen übergegangen und habe begonnen, mich

¹ russ. „Remeslo“, Gedichtband (1923).

² russ. „Poema Konca“ (1924).

³ russ. „Poema Gory“ (1924).

⁴ russ. „Krysolov“, eine „lyrische Satire“, die im November 1925 in Paris abgeschlossen wurde.

⁵ Marina Zwetajewa war mit S. Ja. Efron verheiratet, der während des Bürgerkriegs als Offizier in der Weißen Armee gekämpft hatte und anschließend nach Prag emigriert war.

auf eine Darlegung mit flüchtigen Charakteristiken zu beschränken. Das war um der Verdichtung willen nötig.

Wollte ich anfangen, die Geschichte der die Zwetajewa und mich verbindenden Bestrebungen und Interessen von Fall zu Fall und von Situation zu Situation zu erzählen, geriete ich weit über die gebotenen Grenzen hinaus. Dem müßte ich ein ganzes Buch widmen, soviel ist damals erlebt worden an Gemeinsamem, Wechselseitigem, Freudigem und Tragischem, immer Unerwartetem und immer, von einem Mal zum andern, den Gesichtskreis gegenseitig Erweiterndem.

Aber hier wie auch in den noch verbleibenden Kapiteln enthalte ich mich des Persönlichen und Privaten und beschränke mich auf das Wesentliche und Allgemeine.

Zwetajewa war eine Frau mit einer tatkräftigen männlichen Seele, entschieden, kämpferisch, unbändig. Im Leben und im Schaffen brach sie zielstrebig, gierig und fast raubtierhaft zu einer Endgültigkeit und Bestimmtheit durch, in deren Verfolgung sie weit gegangen ist und alle überholt hat.

Außer dem wenigen Bekannten hat sie eine Menge bei uns unbekannter Sachen geschrieben, gewaltige, stürmische Schöpfungen, einige im Stil der russischen Volksmärchen, andere nach Motiven allbekannter historischer Sagen und Mythen.

Ihre Publikation wird ein großer Triumph und Fund für die russische Poesie sein und sie auf einen Zug mit dieser verspäteten und noch dazu einmaligen Gabe bereichern.

Ich denke, die größte Revision und die größte Anerkennung erwarten die Zwetajewa.

Wir waren Freunde. Bei mir hatten sich an die hundert Briefe von ihr erhalten, Antworten auf meine. Ungeachtet des Raums, den, wie ich schon sagte, die Verluste und Einbußen in meinem Leben einnahmen, war es doch unvorstellbar, wie diese sorgfältig behüteten wertvollen Briefe einmal verlorengehen konnten. Eine übergroße Sorgsamkeit bei ihrer Verwahrung hat sie vernichtet.

In den Jahren des Krieges und meiner Reisen zur Familie in die Evakuierung schlug mir eine Mitarbeiterin des Skrjabin-Museums und große Verehrerin der Zwetajewa und enge Freundin von mir vor, diese Briefe zusammen mit den Briefen meiner Eltern und mehreren Briefen von Gorki und Rolland in Verwahrung zu nehmen. Alles Aufgezählte legte sie in den Safe des Museums, von den Briefen der Zwetajewa aber trennte sie sich nicht, gab sie nicht aus der Hand und vertraute sie nicht der Haltbarkeit der Wände des feuersicheren Schrankes an.

Sie wohnte das ganze Jahr über außerhalb der Stadt und führte diese Briefe jeden Abend in einem Handkofferchen mit sich zum Nachtquartier und brachte sie morgens wieder mit zum Dienst. Einmal im Winter kam sie in äußerster Übermüdung heim zu ihrer

Datscha. Auf halbem Weg von der Station fiel ihr im Wald plötzlich ein, daß sie das Köfferchen mit den Briefen im Waggon der Elektrischen zurückgelassen hatte. So fuhren die Briefe Zwetajewas fort und verschwanden.

4

In den langen Jahrzehnten, die seit dem Druck des „Schutzbriefes“ vergangen sind, habe ich viele Male gedacht, daß ich, wenn er neu herausgegeben werden sollte, ein Kapitel über den Kaukasus und zwei georgische Poeten hinzuschreiben würde. Die Zeit verging, und ein Bedürfnis nach anderen Ergänzungen stellte sich nicht ein. Die einzige weiße Stelle blieb dieses fehlende Kapitel. Jetzt schreibe ich es.

Etwa im Winter 1930 besuchte mich in Moskau zusammen mit seiner Frau der Poet Paolo Jaschwili, ein glänzender Weltmann, gebildet, fesselnder Gesprächspartner, Europäer, schöner Mensch.

Bald gab es in zwei Familien, meiner und einer anderen, befreundeten, Umwandlungen, Komplikationen und Veränderungen, seelisch schwerwiegend für die Beteiligten. Einige Zeit hatten meine Gefährtin, meine spätere, zweite Frau¹, und ich keinen Ort, wo wir den Kopf hinlegen konnten. Jaschwili bot uns ein Obdach bei sich in Tbilissi an.

Damals waren der Kaukasus, Georgien, einzelne Menschen dort und das Leben seines Volkes für mich eine völlige Offenbarung. Alles war neu, alles erstaunte. In der Tiefe aller Straßenschneisen in Tbilissi herabhängend dunkle Steinkolosse. Das von den Höfen auf die Straße herausgetragene Leben der ärmsten Volksschicht, kühner, weniger versteckt als im Norden, lebhaft, offen. Die von Mystik und Messianismus erfüllte Symbolik der Volksüberlieferungen erweckte zu einem Leben in der Einbildungskraft und machte, wie im katholischen Polen, jeden zum Dichter. Die hohe Kultur des fongeschrittenen Teils der Gesellschaft, das geistige Leben, war auf einem solchen Niveau bereits selten in jenen Jahren. Die schöngebauten Winkel Tbilissis, die an Petersburg erinnerten, die in Korb- oder Leierform gebogenen Fenstergitter der Beletage, die schönen Nebengassen. Das einem auf den Fersen folgende und einen überall einholende Bubnatrommeln, welches den Rhythmus der Lesginka schlug. Das Ziegenbockblöken des Dudelsacks und irgendwelcher anderer Instrumente. Der Eintritt des südlichen städtischen Abends, voller Sterne und Düfte aus Gärten, Konditoreien und Cafés.

¹ Pasternak hatte sich 1931 von Jewgenija Wladimirowna, seiner ersten Frau, scheiden lassen und heiratete 1934 Sinaida Nikolajewna Neuhaus, die Frau des Pianisten Heinrich Neuhaus.

Paolo Jaschwili ist ein hervorragender Poet der nachsymbolistischen Zeit. Seine Poesie baut sich auf genauen Angaben und Zeugnissen der Empfindung auf. Sie ist verwandt mit der neueren europäischen Prosa von Bely, Hamsun und Proust und, wie diese Prosa, frisch in den unerwarteten und feinen Beobachtungen. Es ist eine im höchsten Grad schöpferische Poesie. Sie ist nicht verstopft von prall in sie hereingepreßten Effekten. In ihr ist viel Raum und Luft. Sie bewegt sich und atmet.

Der erste Weltkrieg überraschte Jасchwili in Paris als Student der Sorbonne. Er kehrte auf einem Umweg nach Hause zurück. Auf einer abgelegenen norwegischen Bahnstation trödelte Jасchwili und bemerkte nicht, daß sein Zug abfuhr. Ein junges norwegisches Ehepaar, Landwirte, die der Post wegen zum Bahnhof gefahren waren, sahen die Gedankenlosigkeit des heißblütigen Südländers und ihre Folgen. Sie bedauerten Jасchwili, und nachdem sie sich, Gott weiß wie, mit ihm verständigt hatten, nahmen sie ihn mit sich auf die Farm bis zum nächsten Zug, welcher erst am nächsten Tag zu erwarten war.

Jасchwili konnte wunderbar erzählen. Er war der geborene Erzähler von Abenteuern. Ihm passierten, ewig Überraschungen im Stil künstlerischer Novellen. Die Zufälligkeiten strömten ihm nur so zu, er hatte eine Gabe für sie, eine leichte Hand.

Die Begabung schimmerte aus ihm hervor. Vom Feuer der Seele leuchteten seine Augen, vom Feuer der Leidenschaft waren seine Lippen versengt. Von der Glut des Durchlebten war sein Gesicht verbrannt und geschwärzt, so daß er älter schien, als er war, ein Mann, dem man ansah, daß er gelebt hatte und lebte.

Am Tag unserer Ankunft versammelte er seine Freunde, die Mitglieder einer Gruppe¹, deren Haupt er war. Ich erinnere mich nicht, wer damals gekommen war. Sicherlich war sein Nachbar dabei, ein erstrangiger und unverfälschter Lyriker, Nikolai Nadi-radse. Auch Tizian Tabidse und seine Frau waren da.

6

Wie heute sehe ich dieses Zimmer. Wie hätte ich es wohl vergessen können. Ich habe es ja damals, an diesem selben Abend, ohne zu wissen, welche Schrecken es erwarteten, vorsichtig, daß es nicht zerbreche, auf den Grund meiner Seele versenkt mit all dem Entsetzlichen, was danach in ihm und nah bei ihm geschah.

¹ Paolo Jасchwili hatte während des ersten Weltkrieges in Kutaissi die „Blauen Hörner“, eine Gruppierung des georgischen Symbolismus, gegründet und die gleichnamige Zeitschrift herausgegeben.

Wozu waren mir diese beiden Menschen geschickt worden? Wie benenne ich unsere Beziehungen? Beide wurden ein Bestandteil meiner persönlichen Welt. Ich habe keinen dem anderen vorgezogen, so untrennbar waren sie, so ergänzten sie einander. Das Schicksal der beiden¹ sollte, zusammen mit dem Schicksal der Zwetajewa, zu meinem größten Kummer werden.

7

War Jaschwili ganz im äußeren zentrifugalen Erscheinen, so war Tizian Tabidse nach innen gerichtet und rief mit jeder Zeile und mit jedem Schritt in die Tiefe seiner reichen, von Mutmaßungen und Vorgefühlen erfüllten Seele.

Das Bestimmende an seiner Poesie war das Gefühl der Unererschöpflichkeit der lyrischen Potenz, das hinter jedem seiner Gedichte stand, das Übergewicht des Ungesagten und dessen, was er noch sagen würde, über dem schon Gesagten. Diese Anwesenheit der unberührten seelischen Vorräte erschafft den Hintergrund und zweiten Plan seiner Verse und verleiht ihnen jene besondere Stimmung, von der sie durchtränkt sind und die ihre eigentliche und bittere Anmut bildet. Es ist ebensoviel Seele in seinen Versen, wie in ihm selbst war, eine vielschichtige, für sich bewahrte Seele, mit allem zum Guten gerichtet, fähig zur Klarsicht und zur Selbstaufopferung.

Denke ich an Jaschwili, kommen mir städtische Situationen in den Sinn, Zimmer, Streitgespräche, gesellschaftliche Auftritte, die funkensprühende Beredsamkeit Jaschwilis bei den nächtlichen vielköpfigen Gastmählern.

Der Gedanke an Tabidse führt zum Element der Natur, in die Vorstellungen treten ländliche Ortschaften, die Freiheit der blühenden Ebene, die Wellen des Meers.

Wolken ziehen, und in der Ferne bauen sich zu einer Reihe mit ihnen die Berge auf. Und mit ihnen fließt die gedrungene, untersetzte Figur des lächelnden Poeten zusammen. Er hat einen etwas zuckenden Gang. Er bebt mit dem ganzen Körper, wenn er lacht. Jetzt hat er sich erhoben, sich seitlich zum Tisch gestellt und schlägt mit dem Messer an das Glas, um eine Rede zu halten. Wegen der Gewohnheit, die eine Schulter höher zu ziehen als die andere, erscheint er ein wenig schief gewachsen.

Das Haus in Kodshori steht im Winkel einer Straßenschleife. Die Straße steigt an seiner Fassade entlang hoch, dann aber, das Haus umbiegend, führt sie an seiner Rückseite vorüber. Alle auf

¹ Tizian Tabidse, einer der Begründer der georgischen Gruppe „Die blauen Hörner“, wurde 1937 auf Grund falscher Beschuldigungen verhaftet und starb im gleichen Jahr.

der Straße Gehenden und Fahrenden sieht man vom Haus aus zweimal.

Die Zeit war auf dem Siedepunkt, wo, nach einem bissigen Wort Belys, der Triumph des Materialismus die Materie auf der Welt aufgehoben hatte. Nichts zu essen, nichts anzuziehen. Ringsum nichts Berührbares, nur Ideen. Wenn wir nicht zugrunde gehen, ist es das Verdienst der Tbilissier Freunde und Wundertäter, die allezeit etwas beschaffen und heranbringen und uns mit Darlehen von Verlagen, Gott weiß worauf, versorgen.

Wir sind versammelt, teilen uns Neuigkeiten mit, essen Abendbrot, lesen einander irgend etwas vor. Ein frischer Hauch blättert rasch wie mit Fingerchen das silbrige Pappellaub um, das an der Unterseite weißsamte. Die Luft ist wie von Gerüchten voll von den sinnverwirrenden Düften des Südens. Und wie das Vordergestell eines beliebigen Fuhrwerks auf dem Drehscheit dreht in der Höhe langsam die Nacht die ganze Karosserie ihres gestirnten Vehikels.

Und auf der Straße ziehen und fahren die Karren und Autos, und jeder ist zweimal zu sehen vom Haus aus.

Oder wir sind auf der Georgischen Heerstraße oder in Borshomi oder in Abastuman. Oder nach den Fahrten, Schönheiten, Abenteuern und Trankopfern sind wir, jeder mit etwas, ich mit einem bei einem Sturz blaugeschlagenen Auge, in Bakuriani, zu Gast bei Leonidse, einem höchst eigenständigen Poeten, der mehr als alle mit den Geheimnissen der Sprache verbunden ist, in der er schreibt, und sich darum weniger als alle übersetzen läßt.

Ein nächtliches Gelage auf dem Gras im Wald, die schöne Hausherrin, die zwei kleinen bezaubernden Töchterchen. Am anderen Tag die unerwartete Ankunft eines Mestwires, eines wandernden, auf dem Dudelsack improvisierenden Volksmusikanten, und aus dem Stegreif das Lobpreisen des gesamten Tisches der Reihe nach, Gast um Gast, mit einem passenden Text für jeden und der Kunst, jeden beliebigen Anlaß zu einem Toast aufzugreifen, mein blaues Auge zum Beispiel.

Oder wir am Meer in Kobuleti, Regen und Sturm, und in einem Gasthaus mit uns Simon Tschikowani, der künftige Meister des lebhaften, malerischen Bildes, damals noch ganz jung. Und über der Linie aller Berge und Horizonte der Kopf des neben mir gehenden lächelnden Dichters, und die hellen Zeichen seiner unermesslichen Gabe, und der Schatten der Trauer und des Schicksals auf seinem Lächeln. Und wenn ich jetzt auf diesen Seiten noch einmal von ihm Abschied nehme, soll es in seiner Person der Abschied von allen übrigen Erinnerungen sein.

Abschluß

Hier endet meine biographische Skizze.

Sie fortzusetzen würde unermesslich schwierig.

Der Folgerichtigkeit nach wäre weiter von den Jahren, Umständen, Menschen und Schicksalen zu reden, die der Rahmen der Revolution umfaßt hat.

Von der Welt früher unbekannter Ziele und Bestrebungen, Aufgaben und Taten, einer neuen Selbstbeherrschung, einer neuen Strenge und neuen Prüfungen, die diese Welt der menschlichen Persönlichkeit, der Ehre und dem Stolz, der Liebe zur Arbeit und der Ausdauer des Menschen erlegt hat.

Da ist sie in die Ferne der Erinnerung zurückgetreten, diese einzigartige und kein Ebenbild besitzende Welt, und ragt am Horizont wie ein Gebirge, das vom Feld her zu sehen ist, oder wie eine in einem nächtlichen Feuerschein rauchende ferne, große Stadt.

Schreiben muß man über sie so, daß das Herz erstirbt und die Haare zu Berge stehen.

Verfestigt und wie gewohnt über sie zu schreiben, nicht bestürzend zu schreiben, blasser zu schreiben, als Gogol und Dostojewski Petersburg dargestellt haben, ist nicht nur ohne Sinn und Ziel – so zu schreiben ist niedrig und gewissenlos.

Wir sind noch weit entfernt von diesem Ideal.

Frühjahr 1956, November 1957

Shenja Lüvers' Kindheit

Erzählung

Lange Tage

1

Shenja Lüvers wurde in Perm geboren und wuchs dort auf. Wie einst ihre Schiffchen und Puppen, versanken ihre Erinnerungen später in den zottigen Bärenfellen, deren es viele im Hause gab. Ihr Vater führte die Geschäfte der Lunjew-Gruben, und er hatte zahlreiche Kunden unter den Fabrikanten von der Tschusowaja.

Die geschenkten Felle waren schwarzbraun und tüppig. Die Eisbärin in ihrem Kinderzimmer ähnelte einer riesigen entblätterten Chrysantheme. Es war ein Fell, das man für „Shenetschkas Zimmer“ angeschafft – im Geschäft ausgesucht, erhandelt und mit Boten zugestellt hatte.

Den Sommer pflegten sie am anderen Ufer der Kama in einer Datscha zu verbringen. In jenen Jahren wurde Shenja frühzeitig ins Bett gebracht. Die Lichter von Motowilicha konnte sie nicht sehen. Einmal aber bewegte sich die Angorakatze, von irgend etwas aufgeschreckt, heftig im Schlaf, so daß Shenja erwachte. Da sah sie die Erwachsenen auf dem Balkon. Die Erle, die über die Bohlen herabhing, war dickflüssig und schillernd wie Tinte. Der Tee in den Gläsern war rot. Die Manschetten und die Karten gelb, das Tuch grün. Es war einer Fieberphantasie ähnlich, doch diese Fieberphantasie hatte ihren eigenen, auch Shenja bekannten Namen: Es wurde gespielt.

Dagegen war nicht im entferntesten festzustellen, was an jenem Ufer, sehr weit von hier, vor sich ging: Es hatte keinen Namen

und keine deutlich ausgeprägte Farbe und war ohne festen Umriß; auf und ab treibend, war es vertraut und nah und kein Fieberwahn wie das, was in den Schwaden des Tabakrauchs murmelte und sich regte und frische luftige Schatten auf die rötlichbraunen Balken der Galerie warf. Shenja brach in Tränen aus. Der Vater kam herein und gab ihr eine Erklärung. Die Engländerin drehte sich nach der Wand um. Des Vaters Erklärung war kurz: „Das ist Motowilicha. So eine Schande! Ein großes Mädchen wie du... Schlaf jetzt!“

Das Mädchen begriff nichts, und es schluckte mit Genugtuung eine rinnende Träne hinunter. Nichts anderes war ja erforderlich: als zu erfahren, wie das Unverständliche hieß – Motowilicha. In dieser Nacht konnte das noch alles erklären, denn in dieser Nacht hatte der Name noch seine volle, kindlich beruhigende Bedeutung.

Aber am nächsten Morgen begann sie Fragen zu stellen, was das sei, Motowilicha, und was man dort in der Nacht tue, und sie erfuhr, daß Motowilicha ein Betrieb war, ein staatlicher Betrieb, daß man dort Gußeisen herstellte und aus dem Gußeisen... Doch das berührte sie nicht mehr, es interessierte sie, ob jenes, was man „Betriebe“ nannte, besondere Länder seien und wer dort lebe; aber diese Fragen stellte sie nicht und hielt sie aus irgendeinem Grund bewußt verborgen.

An diesem Morgen ging sie hervor aus dem Kindesalter, in dem sie sich noch in der Nacht befunden hatte. Zum ersten Mal in ihrem Leben verdächtigte sie die Erscheinung, etwas an sich zu haben, das die Erscheinung entweder für sich behält oder das sie allenfalls jenen Menschen enthüllt, die schreien und strafen können, die rauchen und die Türen mit einem Riegel versperren. Zum ersten Mal sagte sie, wie auch dieses neue Motowilicha, nicht alles, was sie dachte, und verbarg das Wesentlichste, Nötigste und Ruheloseste in sich.

Die Jahre vergingen. An Vaters Abreisen waren die Kinder von klein auf gewohnt, so daß es in ihren Augen zu einer besonderen Eigenart der Vaterschaft geworden war, selten mit ihnen Mittag zu essen und niemals mit ihnen zu Abend zu speisen. Doch immer häufiger wurde in ganz verödeten, festlich menschenleeren Zimmern gespielt und gezankt, gegessen und getrunken, und die frostigen Ermahnungen der Engländerin konnten nicht die Gegenwart der Mutter ersetzen, die das Haus mit der süßen Bürde des Aufbrausens und der Starrköpfigkeit wie mit einer Art von heimischer Elektrizität erfüllte. Durch die Stores sickerte der stille nördliche Tag. Er lächelte nicht. Das Eichenbüfett schien ergraut zu sein. Streng und schwer türmte sich das Silber. Überm Tischtuch bewegten sich die mit Lavendel gewaschenen Hände der Engländerin, die keinen benachteiligte und die über einen unerschöpflichen Vorrat an Geduld verfügte; doch Gerechtigkeitssinn besaß sie in ebendem hohen Maße, wie sie ihr Zimmer und ihre Bücher

sauber und ordentlich hielt. Das Zimmermädchen blieb, wenn sie das Essen aufgetragen hatte, immer im Speisezimmer stehen und ging nur in die Küche, um den nächsten Gang zu holen. Es war schön und angenehm, aber schrecklich traurig.

Und da es für das Mädchen Jahre des Mißtrauens und der Einsamkeit waren, des Gefühls der Sündhaftigkeit und einer Angelegenheit, die auf französisch als „christianisme“ bezeichnet werden soll, weil es unmöglich ist, all dies Christentum zu nennen, schien es ihr bisweilen, als ob es ihrer Verderbtheit und Verstocktheit halber weder besser sein könnte noch dürfte; als ob es zu Recht geschähe. Indessen — doch dies kam den Kindern nie zu Bewußtsein —, indessen erschauerte im Gegenteil ihr ganzes Wesen und gährte, völlig aus der Fassung geraten durch das Verhältnis der Eltern zu ihnen, wenn sie zu Hause waren; wenn sie, ohne eigentlich heimgekehrt zu sein, ins Haus zurückgekehrt waren.

Die seltenen Scherze des Vaters gingen meistens daneben und kamen durchaus nicht immer zur rechten Zeit. Er spürte es und spürte, daß es die Kinder begriffen. Der Anflug einer gewissen traurigen Verwirrung wich niemals von seinem Gesicht. Erregte er sich, wurde er ein ganz und gar fremder Mensch, fremd bis ins Innerste und genau in dem Augenblick, wenn er die Selbstbeherrschung verlor. Ein Fremder vermag nicht zu rühren. Nie gaben die Kinder ihm ungehörige Antworten.

Doch seit einiger Zeit fand ihn die aus dem Kinderzimmer dringende, stumm in den Augen der Kinder erscheinende Kritik unempfindlich. Er bemerkte sie nicht. Und *dieser* durch nichts zu verletzende, kaum wiederzuerkennende und mitleiderregende Vater war furchtbar, ganz im Gegensatz zu dem erregten — dem fremden — Vater. Er rührte mehr das Mädchen, weniger den Jungen.

Die Mutter aber verwirrte sie beide. Sie überschüttete sie mit Liebkosungen und Geschenken und verbrachte stets ganze Stunden mit ihnen, wenn sie es am wenigsten mochten; wenn dieses Unverdiente ihr kindliches Gewissen bedrückte und sie sich in den Kosenamen, die ihr Instinkt töricht hervorsprudelte, nicht wieder erkannten.

Und oft, wenn in ihren Seelen eine ungewöhnlich klare Ruhe eingekehrt war und sie nicht die Missetäter in ihrem Innern fühlten, wenn von ihrem Gewissen alles Geheime, Enthüllung Scheuende, dem Fieber vor dem Ausschlag ähnlich, abgefallen war, sahen sie die Mutter als eine, die entfremdet war, die sie mied und die ohne Anlaß aufbrauste. Der Briefträger erschien. Seiner Bestimmung gemäß gehörte der Brief Mama. Ohne Dank nahm sie ihn entgegen. „Geh auf dein Zimmer!“ Die Tür klappte zu. Still ließen sie den Kopf hängen, und wenn sie trübsinnig wurden, gaben sie sich einer langen, schwermütigen Verwunderung hin.

Anfangs weinten sie manchmal; dann, nach einem besonders heftigen Zornesausbruch, begannen sie sich zu fürchten; danach

kam es im Lauf der Jahre zu einer verborgenen, immer tiefer Wurzeln schlagenden Feindseligkeit bei ihnen.

Alles, was von den Eltern zu den Kindern gelangte, kam zur Unzeit, von außerhalb, nicht von ihnen, sondern von nebensächlichen Anlässen ausgelöst, und es hatte den Geruch der Ferne, wie es stets vorkommt, und des Rätsels, wie in den Nächten das Lamento an den Stadttoren, wenn sich alle zur Ruhe legen.

Dieser Umstand erzog die Kinder. Sie waren sich seiner nicht bewußt, denn selbst von den Erwachsenen wissen und spüren nur wenige, was sie erschafft, zrichtet und zusammennäht. Sehr wenige weihet das Leben ein in das, was es mit ihnen tut. Es hat diese Sache viel zu gern, und es spricht bei der Arbeit wohl nur mit jenen, die ihm Erfolg wünschen und die seine Hobelbank lieben. Niemand ist ermächtigt, ihm zu helfen, stören kann es ein jeder. Und wie kann man es stören? Seht nur, wie. Wenn man dem Baum die Sorge um das eigene Wachstum anvertraute, würde er sich entweder ganz an die Schößlinge hingeben oder sich völlig in die Wurzel zurückziehen oder sich auch an ein einziges Blatt verschwenden, weil er das Universum, das man sich zum Vorbild nehmen muß, vergessen hätte, und indem er nur eines von Tausenden ausführte, begänne er, In Tausenden ein und dasselbe auszuführen.

Und damit die Seele ohne Knorren ist, damit ihr Wachstum nicht stockt, damit der Mensch seinen Stumpfsinn nicht in den Aufbau seines unsterblichen Wesens mengt, ist vieles so eingerichtet, seine platte Neugierde vom Leben abzulenken, das nicht in seinem Beisein arbeiten möchte und ihn auf jede Weise zu meiden sucht. Dazu dienen alle echten Religionen und alle allgemeinen Begriffe und alle Vorurteile der Menschen, auch das auffälligste von ihnen und das Unterhaltsamste, *die Psychologie*.

Aus dem ursprünglichen Kleinkindalter waren die Heranwachsenden schon heraus. Die Begriffe Sühne, Vergeltung, Belohnung und Gerechtigkeit waren schon auf kindliche Weise in ihre Seele gedrunken, sie lenkten ihr Bewußtsein vom Wesentlichen ab und ließen das Leben mit ihnen tun, was es für nötig und wichtig und schön hielt.

2

Miss Hawthorne hätte es nicht getan. Doch in einer Anwendung grundloser Zärtlichkeit für die Kinder überschüttete Frau Lüvers die Engländerin aus dem wichtigsten Anlaß heraus mit Grobheiten, so daß jene aus dem Hause verschwand. Kurze Zeit danach, man merkte kaum, wie es geschah, erschien an ihrer Statt eine kränkliche Französin. Später entsann sich Shenja nur noch, daß die Französin einer Fliege ähnelte und daß niemand sie moch-

te. Ihr Name war völlig verlorengegangen, und Shenja hätte nicht sagen können, unter welchen Lauten und Silben dieser Name anzutreffen war. Im Gedächtnis blieb ihr nur zurück, daß die Französin sie erst anschrte und dann eine Schere nahm, um die Stelle im Bärenfell auszuschneiden, die mit Blut befleckt war.

Sie glaubte, man werde sie von nun an immer anschreien, und ihr Kopf werde niemals aufhören zu schmerzen, und jene Seite in ihrem Lieblingsbuch werde niemals zu verstehen sein, die unklar vor ihren Augen verschwamm wie das Lehrbuch nach dem Mittagessen.

Furchtbar zog sich jener Tag in die Länge. Die Mutter war an dem Tag nicht anwesend. Shenja bedauerte es nicht. Es schien ihr sogar, als freue sie sich über ihre Abwesenheit.

Unter den Formen des passé und futur antérieur¹, dem Gießen der Hyazinthen und den Spaziergängen durch die Sibirskaja und die Ochanskaja war der lange Tag bald dem Vergessen anheimgefallen. Er war so gründlich vergessen, daß sie die Länge eines anderen, des zweiten langen in ihrem Leben, erst gegen Abend beim Lesen unter der Lampe bemerkte und empfand, als die träge dahinfließende Geschichte sie auf Hunderte unnützer Gedanken brachte. Wenn sie später an das Haus in der Ossinskaja dachte, in dem sie damals wohnten, stand es ihr immer so vor Augen, wie sie es an jenem zweiten langen Tag, an seiner Neige, gesehen hatte. Er war in der Tat sehr lang. Draußen war Frühling. Schwer heranreifend und kränkelnd, bricht sich der Frühling im Ural schließlich breit und stürmisch Bahn, etwa im Lauf einer Nacht, um dann stürmisch und breit dahinzufließen. Die Lampen tönnten die Leere der abendlichen Luft nur ab. Sie gaben kein Licht, sondern schwoollen von innen her an wie kranke Früchte, von jenem glanzlosen, hellen Wasser, das ihre gedunsenen Glocken blähte. Sie waren nicht anwesend. Sie hatten sich eingefunden, wo es notwendig war, an ihren Plätzen, auf den Tischen, und hingen von Stuckdecken in den Zimmern, wo sie das Mädchen zu sehen gewohnt war. Indessen hatten die Lampen eine viel weniger enge Beziehung zu den Zimmern als zum Frühlingshimmel, an den sie dicht herangerückt schienen wie der Trunk an das Bett eines Kranken. Mit ihrer Seele waren sie auf der Straße, wo im feuchten Boden das Murmeln des Gesindes kribbelte und wo das spärlicher werdende Tröpfeln spätabends vereisend erstarb. Dort also fanden sich an den Abenden die Lampen ein. Die Eltern waren auf Reisen. Übrigens wurde die Mutter an diesem Tag wohl erwartet. An diesem langen oder an einem der nächsten. Ja, wahrscheinlich. Oder sie kam vielleicht unerwartet. Auch so kann es gewesen sein.

Shenja schickte sich an, ins Bett zu gehen, und sie sah, daß der Tag aus dem gleichen Grund lang war wie jener, und im ersten

¹ Plusquamperfekt und II. Futur (franz.).

Augenblick dachte sie daran, nach einer Schere zu greifen und die Flecke im Hemd und im Laken auszuschneiden, dann aber entschloß sie sich, etwas Puder von der Französin zu nehmen und sie mit Weiß zu verwischen, und sie griff eben nach der Puderdose, als die Französin hereinkam und sie schlug. Die ganze Verfehlung konzentrierte sich auf den Puder.

„Sie pudert sich! Das hat gerade noch gefehlt!“

Jetzt endlich verstand sie. Sie hatte es seit langem bemerkt.

Shenja brach wegen der Schläge, des Gekreischs und der Kränkung in Tränen aus; und weil sie, die sich in dem, dessen sie von der Französin verdächtigt wurde, nicht schuldig fühlte, etwas hinter sich wußte, das – dies *spürte* sie – weitaus abstoßender war als deren Verdacht. Sie mußte – das war bis zur Fühllosigkeit beharrlich zu spüren, in den Waden und in den Schläfen zu spüren –, sie mußte dies, obwohl sie nicht wußte, warum und weshalb, und ganz egal wie, um jeden Preis verbergen. Dumpf schmerzend glitten ihre Gelenke unter einer pausenlosen hypnotischen Einflüsterung dahin. Peinigend und aufreibend war diese Einflüsterung, ein Werk des Organismus, der dem Mädchen den Sinn des Ganzen verbarg und sie, während er sich aufführte wie ein Verbrecher, in dieser Blutung eine Art widerwärtigen, niederträchtigen Übels argwöhnen ließ. „Menteuse!“

Sie mußte nur leugnen, nachdem sie sich hartnäckig in dem abgekapselt hatte, was das Abscheulichste war und was irgendwo in der Mitte zwischen der Schande des Analphabentums und dem Schimpf eines Zwischenfalls auf der Straße lag. Sie mußte nur mit zusammengebissenen Zähnen auffahren und sich tränenerstickt an die Wand pressen. In die Kama konnte sie sich nicht stürzen, weil es noch zu kalt war und noch die letzten Eisstücke im Fluß schwammen.

Weder sie noch die Französin hörten das Läuten rechtzeitig. Das entstandene Hin und Her erstarb in der Taubheit der schwarzbraunen Felle, und als die Mutter ins Zimmer trat, war es schon zu spät. Sie fand die Tochter tränenüberströmt, die Französin von Rot übergossen vor. Sie forderte eine Erklärung. Die Französin verkündete ihr geradeher aus, daß – nicht etwa Shenja, nein, *votre enfant*, sagte sie –, daß *ihre Tochter* sich puderte und daß sie es schon früher bemerkt und geahnt hätte. Die Mutter ließ sie nicht ausreden, ihr Entsetzen war unverhohlen: Das Mädchen war noch keine dreizehn Jahre alt.

„Shenja, du?.. Herrgott im Himmel, wie weit es gekommen ist!“ (Die Mutter hatte in diesem Augenblick den Eindruck, als ob dieses Wort einen Sinn hätte, als ob sie auch früher schon gewußt hätte, daß die Tochter mehr und mehr herunterkam und verfiel, und als ob sie nur nicht rechtzeitig eingegriffen hätte – und diese nun auf einer solchen Stufe des Verfalls anträfe.)

¹ Lügnerin (franz.).

„Shenja, sag mir die ganze Wahrheit – sonst wird es nur schlimmer! – was hast du...“ – mit der Puderdose gemacht, wollte Frau Lüvers wohl sagen, doch sie sagte: „... mit diesem Ding gemacht“ – und sie griff nach „diesem Ding“ und schwenkte es in der Luft.

„Mama, glaub Mademoiselle nicht, ich habe niemals...“, sagte sie und brach in Schluchzen aus.

Doch die Mutter hörte aus diesem Weinen gehässige Töne heraus, die nicht darin waren; und sie fühlte sich schuldig und war in ihrem Innern entsetzt; ihrer Meinung nach mußte man alles wieder in Ordnung bringen, mußte man sich, sogar gegen die mütterliche Natur, „zu pädagogischen und vernünftigen Maßnahmen aufraffen“: Sie entschloß sich also, dem Mitleid nicht nachzugeben. Sie entschied sich zu warten, bis der Strom der sie im Innersten peinigenden Tränen verrauscht wäre.

Sie setzte sich aufs Bett und heftete ihren ruhigen, leeren Blick auf eine Ecke des Bücherbords. Der Duft eines teuren Parfüms umschwebte sie. Als die Tochter wieder zu sich gekommen war, setzte sie ihr von neuem mit Fragen zu. Shenja suchte mit verweinten Augen das Fenster und schluchzte. Das Eis trieb, und es toste wahrscheinlich. Ein Stern glänzte. Schmiedbar und eiskalt, doch ohne Widerschein, schwarz und rauh hob sich die öde Nacht ab. Shenja wandte den Blick vom Fenster. In der Stimme der Mutter lag die Drohung der Ungeduld. Die Französin stand an der Wand, ganz Ernsthaftigkeit und konzentrierte Pädagogik. Ihre Hand ruhte adjutantenhaft auf der Uhrkette. Wieder sah Shenja nach den Sternen und der Kama. Sie entschloß sich. Ungeachtet der Kälte, der Eisschollen. Und – stürzte sich mitten hinein. Sie erzählte der Mutter, sich verhaspelnd, angstvoll und alles entstellend, *davon*. Die Mutter ließ sie nur deshalb bis zu Ende reden, weil sie überrascht war, wieviel Seele das Kind in die Mitteilung legte. Begriffen hatte sie alles beim ersten Wort. Nein, nein: Schon daran, wie das Mädchen schluckte, als sie zu erzählen begann. Die Mutter hörte zu, vor Freude, Liebe, Zärtlichkeit für diesen schwächtigen kleinen Körper fast vergehend. Sie war nahe daran, der Tochter um den Hals zu fallen und in Tränen auszubrechen. Aber – die Pädagogik; sie stand vom Bett auf und riß die Bettdecke von der Unterlage. Sie rief die Tochter zu sich und strich ihr sehr langsam, zärtlich über den Kopf.

„Mein gutes Kind...“, entschlüpfte es ihr. Dann ging sie geräuschvoll und mit großen Schritten zum Fenster und wandte sich von ihnen ab.

Shenja sah die Französin nicht. Die Tränen waren da, die Mutter – und nichts sonst im Zimmer.

„Wer bringt das Bett in Ordnung?“

Die Frage hatte keinen Sinn. Das Mädchen zuckte zusammen. Gruscha tat ihr leid. Dann wurde in dem ihr bekannten Franzö-

sich etwas in einer unbekanntenen Sprache gesagt: mit strengen Worten. Und dann, mit völlig veränderter Stimme, war es wieder für sie bestimmt: „Shenetschka, geh ins Eßzimmer, Kindchen, ich komme gleich hinterher und erzähle dir, was für eine wunderschöne Datscha für den Sommer Papa und ich euch... uns für den Sommer gemietet haben.“

Die Lampen waren wieder ihre, wie im Winter, zu Hause bei Lüvers – brennend, eifrig und treu. Auf der blauen wollenen Tischdecke tummelte sich Mutters Marderpelz. „Bin im vorteil bleibe bis ende karwoche in blagodat wenn...“; das übrige konnte man nicht lesen: Die Depesche war an der Ecke umgeknickt. Shenja setzte sich auf den Rand des Sofas, erschöpft und glücklich. Sie setzte sich bescheiden und guter Dinge dorthin, ebenso, wie sie sich ein halbes Jahr später im Korridor des Jekaterinburger Gymnasiums auf den Rand der kalten gelben Bank setzte, als sie in der mündlichen Prüfung im Fach Russisch eine Eins bekommen hatte und erfuhr, daß sie „gehen konnte“.

Am nächsten Morgen sagte ihr die Mutter, was in solchen Fällen zu tun sei, und daß es nichts weiter auf sich habe und daß sie sich nicht zu ängstigen brauche und daß es noch öfter auftreten werde. Sie nannte nichts beim Namen und gab ihr keine Erklärung, fügte aber hinzu, daß sie die Fächer nun selbst mit der Tochter behandeln wolle, denn sie werde nicht mehr verreisen.

Die Französin wurde, nachdem sie wenige Monate in der Familie verbracht hatte, ihrer Nachlässigkeit halber entlassen. Als man ihr eine Droschke bestellt hatte und sie eben die Treppe hinabließ, begegnete sie auf dem Treppenabsatz dem Doktor, der hinaufstieg. Er erwiderte ihren Gruß recht unfreundlich und sagte kein Wort des Abschieds; sie erriet, daß er schon alles wußte, verfinsterte sich und zuckte die Schultern.

Das Zimmermädchen stand in der Tür und wartete darauf, den Doktor hereinzulassen, deshalb verharrte das Dröhnen der Schritte und des widerhallenden Steins in dem Vorzimmer, wo sich Shenja befand, über Gebühr lange. Und so prägte sich die Geschichte ihrer ersten jungfräulichen Reife ins Gedächtnis ein: das reiche Echo der zwitschernden morgendlichen Straße, die, auf der Treppe zögernd, frisch ins Haus eindrang; die Französin, das Zimmermädchen und der Doktor, zwei Missetäterinnen und ein Eingeweihter, alle reingewaschen und desinfiziert vom Licht, von der Kühle und von der Klangfülle hallender Treppengänge.

Es war ein warmer, sonniger April. „Die Füße, tretet euch die Füße ab!“ – so wehte es der nackte, helle Korridor von einem Ende zum andern. Die Felle wurden für den Sommer weggeräumt. Die Zimmer hielten sauber und verwandelt Auferstehung und seufzten sanft und erleichtert. Den ganzen Tag, den ganzen ermüdend endlosen, für lange Zeit stehengebliebenen Tag, lachte und

tobte unersättlich und unstillbar, blinzelnd und sich putzend, in allen Winkeln und mitten in den Zimmern, in den an die Wand gelehnten Fensterscheiben und in den Spiegeln, in den mit Wasser gefüllten Kelchgläsern und in der dunkelblauen Gartenluft der Faulbeerbaum, und badete, sich fast am Wasser verschluckend, das Geißblatt. Volle vierundzwanzig Stunden währte das gelangweilte Murmeln der Höfe; sie erklärten die Nacht für entmachtet und versicherten hartnäckig und ununterbrochen, den lieben langen Tag, mit Einläufen, die wie ein Schlaftrunk wirkten, daß es nie mehr Abend sein würde, daß sie niemand schlafen lassen würden. „Die Füße, die Füße!“ – doch es brannte unter ihnen, sie kamen, von Freiheit trunken, ein Klingen in den Ohren, über dem sie den Sinn des Gesagten zu begreifen versäumten, und waren begierig, rascher zu nippen und zu Ende zu kosten, um, mit scharrendem Geräusch die Stühle zurückschiebend, von neuem in den zum Ausflug über das Abendrot hinaus drängenden Tag zurückzulaufen, wo das trocknende Holz sein kurzes Klopfen von sich gab, wo die Bläue schrill zwitscherte und die Erde wie geschmolzenes Fett glänzte. Die Grenzen zwischen Haus und Hof verwischten sich. Der Scheuerlappen vermochte nicht alle Schmutzspuren abzuwaschen. Die Dielen überzogen sich mit trockenem und hellem Geklecks und knirschten leicht.

Der Vater schaffte Süßigkeiten und Wunderdinge herbei. Im Haus wurde es wunderbar schön. Mit feuchtem Rascheln machten die Steine im voraus auf ihr Erscheinen aus dem sich allmählich färbenden Seidenpapier aufmerksam, das immer durchsichtiger wurde, je weiter sich die weißen, gazeweichen Päckchen entrollten. Die einen sahen wie Mandelmilchtropfen aus, andere wie Spritzer eines lichtblauen Aquarells, eine dritte Art wie erstarrte Käsetränen. Jene waren blind, schläfrig oder verträumt, diese hatten einen mutwilligen Funken wie der gefrorene Saft der Blutapfelsinen. Man mochte sie nicht berühren. Sie waren schön auf dem schäumenden Papier, das sie absonderte wie die Pflaume den glanzlosen Saft.

Der Vater war ungewöhnlich zärtlich zu den Kindern, und er begleitete die Mutter öfter in die Stadt. Gemeinsam kehrten sie zurück und sahen fröhlich aus. Vor allem aber waren beide ruhigen Sinnes, ausgeglichen und freundlich, und wenn die Mutter den Vater manchmal mit scherzendem Vorwurf ansah, schien es, als ob sie diese Welt aus seinen weder großen noch schönen Augen schöpfte und sie danach mit ihren großen und schönen an die Kinder und die Menschen ihrer Umgebung verströmte.

Einmal standen die Eltern sehr spät auf. Dann beschlossen sie aus unerfindlichen Gründen, zu dem Dampfer zu fahren, der an der Anlegestelle lag, um dort zu frühstücken, und nahmen die Kinder mit. Serjoshia ließen sie von dem kalten Bier kosten. All das gefiel ihnen so sehr, daß sie noch einmal zum Dampfer frühstü-

cken fuhren. Die Kinder kannten ihre Eltern nicht wieder. Was war mit ihnen geschehen? Verlegen genoß das Mädchen dieses Glück und glaubte, daß es nun immer so sein würde. Sie wurden nicht traurig, als sie erfuhren, daß man sie diesen Sommer nicht auf die Datscha bringen würde. Bald danach reiste der Vater ab. Im Haus erschienen drei riesige gelbe Reisekoffer, die von starken Reifen umschlossen waren.

3

Der Zug ging spät in der Nacht ab. Lüvers war schon ein Monat vorher umgezogen und hatte geschrieben, daß die Wohnung hergerichtet sei. Mehrere Droschken fuhren im gemächlichen Trab zum Bahnhof hinunter. Die Farbe des Straßenpflasters kündete seine Nähe an. Es wurde schwarz, und die Lichter prallten an dem schwarzbraunen Gußeisen ab. In diesem Augenblick eröffnete sich vom Viadukt der Ausblick auf die Kama, und donnernd stürzte unter ihnen rußschwarz eine Grube in die Tiefe und eilte davon, von Lasten und Alarmsignalen erfüllt. Wie ein Pfeil schnellte sie fort, und erschrocken entrollte sie sich dort, sehr weit hinten, am anderen Ende, und erzitterte in den blitzenden Glasperlen der signalisierten Fernen.

Es war windig. Von den kleinen Häusern und den Zäunen flogen die Umrisse wie Siebrahmen davon und schaukelten und flatterten in der aufgewühlten Luft. Es roch nach Kartoffeln. Ihr Kutscher löste sich aus der Reihe der vor ihnen hüpfenden Körbe und Hintergestelle und begann sie zu überholen. Von weitem erkannten sie den Plattenwagen mit ihrem Gepäck; sie fuhren schließlich auf gleicher Höhe mit ihm; Uljascha rief der Herrin mit lauter Stimme etwas vom Wagen aus zu, doch wurde sie vom Gackern der Räder übertönt und hin und her gerüttelt und hüpfte, und es hüpfte auch ihre Stimme.

Das Mädchen empfand keine Traurigkeit angesichts der Neuheit all dieser nächtlichen Geräusche und all der Schwärze und Kühle. Weit, weit in der Ferne hob sich dunkel und rätselhaft etwas ab. Jenseits der Hafenbaracken schwankten kleine Feuer, die Stadt spülte sie vom Ufer und von den Booten her im Wasser. Dann wurden es viele, und sie begannen, blind wie Würmer, dickflüssig und fett auszuschwärmen. An der Ljubimowskaja-Anlegestelle blauten nüchtern Schornsteine, Speicherdächer, Schiffsdecks...

Dort lagen, zu den Sternen aufblickend, die Schleppekähne. 'Das ist ein Rattennest', dachte Shenja. Sie wurden von weißen Gepäckträgern umringt. Serjoscha sprang als erster ab. Er sah sich um und war sehr verwundert, als er bemerkte, daß der Fuhrmann mit ihrem Gepäck gleichfalls schon da war; das Pferd warf den Kopf hoch, das Kummet wuchs empor, stand aufrecht wie ein Hahn,

das Pferd stemmte sich gegen den Wagen und drängte ihn zurück. Und den ganzen Weg über hatte es ihn beschäftigt, wie weit jene hinter ihnen bleiben würden.

Der Junge stand, berauscht von der Unmittelbarkeit der Reise, in seinem weißen Gymnasiasterhemd da. Die Reise war für beide etwas Neues, aber er kannte und liebte schon Worte wie: Depot, Lokomotiven, Abstellgleise, D-Zug, und die Lautverbindung „Klasse“ schien ihm von süßsaurem Geschmack. Von all diesem ließ auch die Schwester sich hinreißen, aber auf ihre Weise, ohne den knabenhaften Zug zum Systematischen, der den Feuereifer des Bruders auszeichnete.

Plötzlich stand, wie aus der Erde aufgewachsen, neben ihnen die Mutter. Es wurde befohlen, die Kinder zum Büfett zu führen. Von dort ging sie, während sie sich wie ein Pfau den Weg durch die Menge bahnte, geradewegs auf jenen zu, der zum ersten Mal da draußen laut und drohend „Bahnhofsvorsteher“ genannt worden war und der danach an verschiedenen Orten, in der Verschiedenartigkeit des Gedränges, mit Abwandlungen erwähnt wurde.

Das Gähnen überwältigte sie. Sie saßen an einem der Fenster, die so staubig, steif und riesig waren, daß sie wie Behörden aus Flaschenglas anmuteten, wo man sich nicht mit der Mütze auf dem Kopf aufhalten durfte. Das Mädchen sah: Hinter dem Fenster war keine Straße, sondern ebenfalls ein Zimmer, nur daß es ernster und düsterer war als dieses hier – in der Karaffe; in jenes Zimmer fuhren langsam Lokomotiven ein und blieben stehen, tiefe Finsternis mit sich bringend; doch wenn sie abfuhren und das Zimmer räumten, stellte es sich heraus, daß es gar kein Zimmer war, denn dort war Himmel, hinter den kleinen Säulen, und auf jener Seite gab es eine kleine Anhöhe und Holzhäuser, und Leute entfernten sich darauf zu; vielleicht krächten in diesem Augenblick dort die Hähne, und der Wasserfahrer war kurz zuvor da gewesen und hatte herumgeplantscht.

Es war ein Provinzbahnhof, ohne das hauptstädtische Tohubohu und den Feuerschein, mit frühzeitig aus der nächtlichen Stadt herbeiströmenden Reisenden, mit langem Warten; mit seiner Stille und den Fortziehenden, die zwischen Jagdhunden, Koffern, in Bastdecken gehüllten Maschinen und nicht eingehüllten Fahrrädern auf dem Erdboden schliefen.

Die Kinder machten es sich auf den oberen Plätzen bequem. Der Junge schlief auf der Stelle ein. Der Zug stand noch. Es dämmerte, und allmählich vergewisserte sich das Mädchen, daß der Wagen dunkelblau, kühl und sauber war. Und allmählich vergewisserte sie sich... Doch da war auch sie schon eingeschlafen.

Er war ein sehr korpulenter Mensch. Er las die Zeitung und wiegte sich. Wenn man ihn ansah, wurde das Wiegen deutlich, von dem auch das ganze Kupee durchtränkt und gesättigt war. Shenja musterte ihn von oben her mit jener trägen Genauigkeit,

mit der ein völlig ausgeschlafener, frischer Mensch an etwas denkt oder etwas ansieht; während er nur liegenbleibt, weil er darauf wartet, daß der Entschluß aufzustehen ohne seine Mitwirkung von selbst kommt, klar und ungezwungen wie alle seine Gedanken. Sie musterte ihn und überlegte, wie er zu ihnen ins Kupee geraten war und wann es ihm gelungen sei, sich so rasch anzukleiden und zu waschen. Sie hatte keine Vorstellung von der wirklichen Stunde des Tages. Sie war eben erst aufgewacht – also war es Morgen. Sie betrachtete ihn, aber er konnte sie nicht sehen: Die Pritsche war leicht zur Wand geneigt. Er sah sie nicht, weil er seinerseits nur hin und wieder von den Nachrichten nach oben, zur Seite oder schräg hinaufblickte, und wenn er die Augen zu ihrer Koje hob, trafen sich ihre Blicke nicht: Er sah entweder nur die Matratze oder aber die... doch zog sie sie schnell an den Körper heran und strich die erschlaferten Strümpfe glatt. 'Mama sitzt hier in der Ecke; sie hat sich schon zurechtgemacht und liest ein Buch', stellte Shenja auf indirekte Weise fest, indem sie die Blicke des Fettwanstes studierte. – 'Doch Serjosha ist selbst da unten nicht. Wo ist er dann aber?' Sie streckte sich und gähnte genüsslich. 'Schrecklich heiß', erst jetzt wurde ihr das bewußt, und sie ließ ihren Blick von den Köpfen zu dem halb hinuntergelassenen Fenster gleiten. 'Wo ist denn die Erde?' klopfte es in ihrer Seele.

Was sie erblickte, war unbeschreiblich. Der rauschende Nußbaumwald, in den ihr Zug mit Schlängelbewegungen einströmte, wurde Meer, Welt, was immer, einfach alles. Schroff und murrend floh er hinab, nach unten zu breit und sanft geneigt und, nachdem er niedrig geworden, sich verdichtet und in Dunkel gehüllt hatte, riß er jäh ab, nun schon vollkommen schwarz. Das aber, was dort auf jener Seite des Abrisses aufragte, sah aus wie eine riesige, stroh-gelb-grüne Gewitterwolke voller Ringel und Locken, die in Nachdenken versunken, die tief bestürzt war. Shenja hielt den Atem an, und im Nu spürte sie die Schnelligkeit dieser grenzenlosen, in Träumereien verlorenen Luft und begriff sofort, daß die Gewitterwolke ein Gebiet war, eine Gegend, daß sie einen berühmten Gebirgsnamen trug, der ringsum dröhnend erschallte, ins Tal geschleudert mit dem Sand und den Steinen; daß der Nußwald nur ihn im Sinn hatte, ihn flüsterte und wieder flüsterte; hier und dort, do-o-o-rt; nur ihn allein.

„Ist das der Ural?“ fragte sie nach vorn in das Abteil gebeugt.

Den Rest der Fahrt brachte sie, ohne sich von dem Anblick losreißen zu können, am Gangfenster zu. Sie verwuchs mit ihm und lehnte sich jeden Augenblick hinaus. Sie war voller Gier. Sie entdeckte, daß es angenehmer war zurückzuschauen, als nach vorn zu blicken. Die majestätischen Bekannten verschleiern sich und ziehen sich in die Ferne zurück. Nach kurzer Trennung von ihnen, wenn dir mit senkrechtem Krachen, auf dröhnenden Ketten, daß

es dir kalt über den Nacken rieselt, direkt vor der Nase ein neues Wunder aufgetischt worden ist, machst du sie wieder ausfindig. Das Gebirgspanorama hat sich ausgedehnt und wächst immer weiter und entfaltet sich. Einige der Berge sind schwarz, andere strahlend frisch, jene dort überschattet, diese tauchen in Schatten ein. Sie rücken zusammen und treten auseinander, sie senken sich hinab und vollziehen den Aufstieg. Dies alles geschieht in einer verhaltenen Kreisbewegung, der Drehung der Sterne gleich, mit der behutsamen Zurückhaltung von Giganten, um Haaresbreite an der Katastrophe vorbei, in der Sorge um die Unversehrtheit der Erde. Über diesen komplizierten Verschiebungen waltet ein erhabenes, gemessenes, dem Menschenohr unverständliches, allerschauendes Grollen. Es läßt sein Adlerauge über sie hinschweifen, finster und stumm wohnt es der Truppenparade bei. So nimmt der Ural Gestalt um Gestalt an und gruppiert sich um.

Sie ging auf einen Sprung ins Abteil, die Augen zusammenknreifend vor dem grellen Licht. Mama unterhielt sich mit dem unbekanntem Herrn und lachte. Serjoscha rutschte auf dem hochroten Plüsch hin und her, er hielt sich an dem abgerissenen Ende eines an der Wand befestigten Riemens fest. Mama spie den letzten Kern in ihre kleine Faust, klopfte die hinuntergefallenen vom Kleid und schleuderte, während sie sich rasch und geschmeidig nach vorn beugte, den ganzen Unrat unter die Bank. Der Dickwanst hatte wider alle Erwartung ein heiseres, brüchiges Stimmchen. Offenbar litt er an Kurzatmigkeit. Die Mutter stellte ihm Shenja vor und gab ihr eine Mandarine. Er war drollig und offenbar gutartig, und wenn er sprach, führte er jeden Augenblick die rundliche Hand zum Mund. Seine Rede schwoll an, doch sie riß, jäh zusammengepreßt, immer wieder ab. Wie sich herausstellte, stammte er aus Jekaterinburg, hatte den Ural kreuz und quer bereist und kannte ihn ausgezeichnet, und als er die goldene Uhr aus der Westentasche gezogen hatte, sie dicht vor die Nase hielt und sich anschickte, sie wieder einzustecken, bemerkte Shenja, wie gutmütig seine Finger waren. Wie es in der Natur der Belebten liegt, nahm er mit der Geste des Gebenden, und seine Hand seufzte die ganze Zeit über, als sei sie zum Kuß dargereicht, und hüpfte leicht, als schlüge sie sanft einen Ball auf den Boden.

„Jetzt ist es bald soweit“, sagte er in gedehntem Tonfall und mit in die Breite gezogenen Lippen, während er schräg an dem Jungen vorbeischiele, obwohl er sich gerade an ihn wandte.

„Weißt du, der Pfahl, sagt der Herr, an der Grenze zwischen Asien und Europa, wo 'Asien' drauf geschrieben steht“, sprudelte Serjoscha hervor, und schon rutschte er vom Sofa und rannte in den Gang hinaus.

Shenja begriff gar nichts, doch als ihr der Dicke erklärt hatte, worum es sich handelte, rannte sie ebenfalls dort hinüber, um den Pfahl zu erwarten, voll Furcht, daß sie ihn schon verpaßt haben könnte. In ihrem behexten Kopf erstand die „Grenze Asiens“ in

Gestalt einer phantasmagorischen Trennlinie, jenen eisernen Barrieren ähnlich, die zwischen das Publikum und den Käfig mit den Pumas eine Zone drohender, nachtschwarzer und stinkender Gefahr legen. Sie wartete auf diesen Pfahl wie auf den Vorhang, der sich über dem ersten Akt einer geographischen Tragödie heben würde, von der sie jene, die dabeigewesen, hatte erzählen hören, und sie war festlich gestimmt und erregt, weil nun auch sie dort ankam und alsbald alles selbst erleben würde.

Indessen nahm das, was sie zuvor genötigt hatte, ins Abteil zu den Älteren zu gehen, eintönig seinen Verlauf: Der graue Erlenwald, den man schon seit mehr als einer halben Stunde durchquerte, schien kein Ende zu nehmen, und die Natur bereitete sich auf das herannahende Ereignis nicht vor. Shenja ärgerte sich über das langweilige, staubige Europa, das die Ankunft des Wunders saumselig verzögerte. Doch wie verblüfft war sie, als – gleichsam auf Serjoshas rasenden Schrei – etwas wie ein kleines Grabkreuz am Zugfenster vorbeihuschte, sich seitlich zu ihnen stellte und davonsauste und die lang erwartete, märchenhafte Aufschrift vor den ihm nachjagenden Erlen in den Erlenwald forttrug! In diesem Augenblick schoben sich wie auf Verabredung zahlreiche Köpfe aus den Zugfenstern aller Klassen, und der gleich einer Staubwolke bergab getragene Zug lebte auf. Hinter Asien hatte man schon längst mehr als ein Dutzend Telegrafentangen gezählt, aber immer noch flatterten die Tücher über den dahinjagenden Köpfen, und die Menschen warfen sich Blicke zu, sie waren glatten Gesichts oder bärtig und alle flogen dahin in Wolken aufgewirbelten Sandes, flogen und flogen vorbei an den immer gleichen, staubigen, eben noch europäischen und nun schon asiatischen Erlen.

4

Das Leben verlief auf andere Art. Die Milch wurde nicht durch die Austrägerin ins Haus, in die Küche gebracht; Uljascha trug sie morgens in zwei Kruken herbei, und sie brachte Brötchen, die anders waren als jene in Perm. Die Bürgersteige hatten hier etwas von Marmor und Alabaster an sich, mit einem welligen, weißen Glanz. Die Platten blendeten selbst im Schatten wie Eissonnen, gierig saugten sie die Schatten der prächtigen Bäume auf, die, nachdem sie auf ihnen geschmolzen und dünnflüssig geworden waren, zerrannen. Hier ging man ganz anders auf die Straße hinaus, die hell und breit war und mit Anlagen versehen.

„Wie in Paris“, sprach Shenja dem Vater nach.

Er sagte es an dem ersten Tag, dem ihrer Ankunft. Schön und weiträumig war es hier. Der Vater hatte vor der Abfahrt zum Bahnhof einen Imbiß genommen und beteiligte sich nicht am Mittagessen. Sein Gedeck blieb hell und sauber wie die Stadt Jekaterinburg, er faltete nur die Serviette auseinander, saß neben ihnen

und erzählte. Er knöpfte die Weste auf, und sein Chemisett wölbte sich frisch und gewaltig. Er sagte, dies sei eine vortreffliche, europäische Stadt, und läutete, wenn abgeräumt und etwas Neues aufgetragen werden mußte, und läutete und erzählte. Durch unbekannte Korridore kam aus noch nicht bekannten Räumen ein geräuschloses, weißes Zimmermädchen herein, schwarzhaarig und ganz in gestärkten Falten, sie wurde mit „Sie“ angeredet, und sie, die Neue, lächelte der Herrin und den Kindern zu wie alten Bekannten. Man gab ihr irgendwelche Anordnungen hinsichtlich Uljaschas, die sich dort in der unbekanntenen und sicher überaus dunklen Küche befand, wo es bestimmt ein Fenster gab, durch das etwas Neues zu sehen war: ein Glockenturm oder eine Straße oder Vögel. Und Uljascha fragte dort wohl gerade dieses Fräulein aus, während sie sich etwas weniger Gutes überzog, um sich gleich darauf ans Verteilen der Dinge zu machen; sie fragt und macht sich mit allem vertraut und sieht nach, in welcher Ecke der Ofen steht, in derselben wie in Perm oder wo sonst.

Der Junge erfuhr vom Vater, daß es zum Gymnasium gar nicht weit war, nur ein paar Schritte – sie hätten es sehen müssen, als sie vorbeifuhren; der Vater trank sein Mineralwasser aus, und als er es hinuntergeschluckt hatte, fuhr er fort: „... hab ich es denn wirklich nicht gezeit? Aber von hier kann man es nicht sehen, vielleicht von der Küche aus“ (er überschlug es im Geist), „und von da aus sicher nur das Dach.“

Er trank noch ein bißchen Mineralwasser und läutete.

Die Küche erwies sich als frisch und hell, haargenau – so erschien es dem Mädchen einen Moment später –, wie sie es sich im Eßzimmer ausgedacht und vorgestellt hatte; einen Kachelherd, der weißlich und himmelblau schimmerte, und zwei Fenster gab es, in ebender Anordnung, die sie erwartet hatte; Uljascha streifte etwas über ihre bloßen Arme, der Raum war von Kinderstimmen erfüllt, auf dem Dach des Gymnasiums gingen Leute umher, und die Spitzen eines Baugerüsts ragten darüber hinaus.

„Ja, es wird instand gesetzt“, sagte der Vater, als sie einer nach dem andern lärmend und drängend durch den nun schon bekannten, aber noch nicht vertrauten Korridor ins Eßzimmer gingen, dem sie morgen noch einen Besuch abstatten muß, wenn sie die Hefte verteilt und ihren Waschhandschuh an der Öse aufgehängt hat und, kurz gesagt, fertig mit den tausenderlei Dingen ist.

„Eine herrliche Butter“, sagte die Mutter und setzte sich an den Tisch.

Sie aber begaben sich ins Unterrichtszimmer, das sie gleich nach der Ankunft, noch mit der Mütze auf dem Kopf, besichtigt hatten.

„Was ist denn nun hier asiatisch?“ dachte sie laut.

Doch aus irgendeinem Grund verstand Serjoscha nicht, was er zu anderen Zeiten todsicher verstanden hätte: Bis jetzt standen sie auf dem Fuß der Ebenbürtigkeit. Er glitt schwungvoll zu der

aufgehängten Karte und fuhr mit der Hand von oben nach unten über den Kamm des Uralgebirges und warf ihr dabei einen Blick zu, ihr, die durch diesen Beweis niedergeschmettert schien.

„Man ist übereingekommen, eine natürliche Linie zu ziehen, das ist alles.“

Sie erinnerte sich an den nun schon so fernen Mittag des heutigen Tages. Es war kaum zu glauben, daß der Tag, der all jenes in sich trug, derselbe Tag war wie jetzt in Jekaterinburg, der noch nicht vollendet war, der noch nicht aufgehört hatte. Bei dem Gedanken, daß all jenes, indem es seine leblose Ordnung bewahrte, zurückgewichen war in die ihm bestimmte Ferne, durchlebte sie das Gefühl einer seltsam Mattigkeit, wie sie der Körper nach einem Arbeitstag gegen Abend spürt. Als sei sie selbst daran beteiligt gewesen, jene schweren Schönheiten fortzuschieben und umzusetzen, und habe sich dabei übernommen. Und aus irgendeinem Grund davon überzeugt, daß *er*, ihr Ural, sich *dort* befinde, machte sie kehrt und lief in die Küche, auf dem Weg durch das Speisezimmer, in dem sich das Geschirr verringert hatte, wenn auch die herrliche Butter mit dem Eis auf den angelaufenen Ahornblättern und das grimmige Mineralwasser noch zurückgeblieben waren.

Das Gymnasium wurde instand gesetzt, und scharfkantige Segler durchtrennten die Luft, wie die Näherinnen mit den Zähnen das Madapolam, und unten – sie lehnte sich hinaus – glänzte neben der offenen Remise eine Equipage, und Funken stiebten von einem Schleifring, und es roch nach Gegessenem, besser und appetitlicher als in dem Augenblick, als es serviert worden war, es roch traurig und lange Zeit, wie in einem Buch. Sie vergaß, weshalb sie hierhergelaufen war, und merkte nicht, daß es ihren Ural in Jekaterinburg gar nicht gab, sie merkte aber, wie es in Jekaterinburg allmählich von Haus zu Haus dunkel wurde und wie unten, unter ihnen, gesungen wurde, sicher bei einer leichten Arbeit: Sie wuschen wohl die Dielen und breiteten mit heißen Händen die Bastmatten aus – und wie sie das Wasser dem Wischwasserkübel schwappen ließen, und obwohl sie es herausschwappen ließen unten, war es ringsum doch so still! Und wie der Wasserhahn dort blubberte, wie... „Nun ja, Fräulein...“ – doch sie hatte noch Scheu vor der Neuen und wollte nicht auf sie hören – : ... wie – spannte sie den Gedanken fort – die dort unter ihnen wußten es und sagten wahrscheinlich: „In Nummer zwei ist heute die Herrschaft angekommen.“

Uljascha kam in die Küche.

Die Kinder schliefen in dieser ersten Nacht fest, und dann wachten sie auf: Serjossa in Jekaterinburg, Shenja in Asien, wie es ihr wieder weit und wundersam durch den Kopf ging. An der Zimmerdecke spielte kühl der blättrilge Alabaster.

Es begann noch im Sommer. Man gab ihr bekannt, daß sie Gymnasium eintreten werde. Das war ihr nur willkommen. Doch sie gaben es ihr bekannt. Sie rief den Repetitor nicht in das Schul-

zimmer, wo die Sonnenschattierungen so fest an den mit Leimfarbe gestrichenen Wänden hafteten, daß es dem Abend nur mit Blut gelang, den festklebenden Tag abzureißen. Sie hatte ihn nicht gerufen, als er in Mamas Begleitung für einen Moment eintrat, um sich mit „seiner künftigen Schülerin“ bekannt zu machen. Sie hatte ihm den unsinnigen Namen Dikich nicht zugesprochen. Und hatte denn sie es gewollt, daß nun immer die Soldaten am Mittag übten, die eigenwillig schnaufend und schweißtriefend waren wie der rote Krampf des Wasserhahns bei einem Defekt der Leitung, und daß eine violette Gewitterwolke ihnen die Stiefel ausquetschte, die von Kanonen und Rädern viel mehr verstand als ihre weißen Hemden, weißen Zelte und die weißesten Offiziere? Hatte denn sie darum gebeten, daß es nun immer zwei Dinge geben sollte: Das kleine Waschbecken und die Serviette, die eine Verbindung eingingen wie die Kohlenstücke der Bogenlampe, riefen ein augenblicklich sich verflüchtigendes drittes Ding ins Leben: den Gedanken an den Tod, wie jenes Schild über dem Barbiergeschäft – wo war ihr das zum ersten Mal begegnet? Und geschah es denn mit ihrer Zustimmung, daß die roten, „Stehenbleiben verboten“ bekundenden Schlagbäume der Ort irgendwelcher verboten stehenbleibender Stadtgeheimnisse wurden, und die Chinesen etwas persönlich Erschreckendes, Shenjasches und Fürchterliches? Natürlich legte sich nicht alles so schwer auf ihre Seele. Vieles, ihr bevorstehender Eintritt ins Gymnasium zum Beispiel, war angenehm. Doch alles, und so auch dies, war ihr *mitgeteilt* worden. Das Leben hörte auf, eine poetische Bagatelle zu sein, und begann wie ein schroffes, finsternes Märchen zu gären in dem Maße, wie es Prosa wurde und sich in eine Tatsache verwandelte. Dumpf, trüb und schmerzhaft, wie im Zustand ewiger Ernüchterung, fielen die Bestandteile des Alltagslebens in die knospende Seele. Sie sanken auf ihren Boden, real, erstarrt und kalt wie schläfrige Zinnlöffel. Dort auf dem Boden begann dieses Zinn zu zerfließen, ballte sich zu Klümpchen und vertropfte in fixen Ideen.

5

Zur Teestunde begannen sie öfter die Belgier zu besuchen. So wurden sie genannt. So nannte der Vater sie, wenn er sagte: „Heute kommen die Belgier.“ Es waren ihrer vier. Der Bartlose besuchte sie selten, er war wortkarg. Manchmal kam er durch einen Zufall allein, wochentags, und er hatte sich schlechtes, regnerisches Wetter ausgesucht. Die anderen drei waren unzertrennlich. Ihre Gesichter ähnelten frischen, unangebrochenen Seifenstücken aus der Pappschachtel, kühl und duftend. Einer hatte einen dichten, wolligen Backenbart und wolliges, kastanienbraunes Haar. Sie kamen stets in Begleitung des Vaters von irgendeiner Sitzung. Im Haus hatten alle sie gern. Sie sprachen, als ob sie Wasser auf einem

Tischtuch verschütteten: lärmend, frisch drauflos und alle zur gleichen Zeit, in einer Richtung, die niemand erwartet hatte, mit lange nicht trocknenden Spuren von ihren, den Kindern immer verständlichen, durststillenden und stets reinen Scherzen und Anekdoten.

Lärm erhob sich in der Runde, es glänzten die Zuckerdose, die vernickelte Kaffeekanne, die kräftigen, blanken Zähne, das straffe Tafeltuch. Liebenswürdig und ehrerbietig scherzten sie mit der Mutter. Sie, Vaters Kollegen, hatten das höchst subtile Geschick, ihn rechtzeitig zu zügeln, wenn er als Antwort auf ihre raschen Erwähnungen und Anspielungen auf Dinge und Leute, die an diesem Tisch nur ihnen, den Professionellen, bekannt waren, schwerfällig, in ziemlich unreinem Französisch, weitschweifig und mit Stockungen von den Kontrahenten zu sprechen begann, den *références approuvées*¹ und den *férocités*², das heißt den *bestialités*³, *ce que veut dire en russe*⁴: den Diebstählen in Blagodat.

Der Bartlose, der sich seit einiger Zeit für das Studium des Russischen begeisterte, versuchte sich öfter auf diesem neuen Wirkungsfeld, aber es trug ihn noch nicht. Ungehörig war es, sich über Vaters französische Perioden lustig zu machen, und seine *férocités* waren für alle bedrückend; doch schien die Situation selbst das schallende Gelächter zu sanktionieren, von dem die Versuche Négarates übertönt wurden.

Er hieß Négarate. Ein Wallone aus dem flämischen Teil Belgiens. Dikich war ihm empfohlen worden. Er schrieb sich seine Adresse russisch auf, wobei er komplizierte Buchstaben wie ю, я, ъ recht drollig nachzeichnete. Sie kamen bei ihm gleichsam doppelt, getrennt und gespreizt heraus. Die Kinder nahmen sich die Freiheit, auf den Lederkissen der Sessel zu hocken und die Ellbogen auf den Tisch zu stützen – alles war gestattet, alles war aus den Fugen geraten, ю war nicht mehr ю, sondern eine Art Zehn; ringsum wieherten sie und tobten, Evans schlug mit der Faust auf den Tisch und wischte sich die Tränen ab, und der Vater wiederholte, vom Lachen geschüttelt und rot angelaufen im Zimmer auf und ab gehend, die Worte: „Nein, icn kann nicht mehr!“ und knüllte sein Taschentuch zusammen.

„Faites de nouveau“⁵, rief Evans, das Feuer schürend. „Commencez“⁶.

Und Négarate öffnete etwas den Mund, zögernd wie ein Stotterer und grübelnd, wie er dieses den Kolonien im Kongo ähnlich unerforschliche russische „Jery“ hervorbringen solle.

„Dites: ‘uwy, newygodno’“, schlug der Vater feucht und heiser mit versagender Stimme vor.

¹ gebilligte Referenzen (franz.).

² Wildheiten, Grausamkeiten (franz.).

³ Bestialitäten (franz.).

⁴ was auf (gut) russisch heißt (franz.).

⁵ (etwa.) Versuchen Sie es noch einmal. (franz.).

⁶ Fangen Sie an. (franz.).

„Ouvoui, niévoui.“

„Entends-tu?¹ Ouvoui, niévoui – ouvoui, niévoui. Oui, oui, chose inouïe, charmant!²“ riefen die Belgier und kugelten sich vor Lachen.

Der Sommer war vergangen. Die Prüfungen waren mit Erfolg, manche sogar mit Auszeichnung bestanden. Wie aus Quellen sprudelte der kalte, transparente Lärm der Korridore. Hier kannte ein jeder jeden. Das Laub im Garten wurde gelb und schimmerte golden. In seinem hellen, tanzenden Widerschein schmachteten die Fensterscheiben des Klassenraumes. Zur Hälfte mattiert, wurden sie an den unteren Teilen von Dunst überzogen und wogten. Die Klappfenster zogen sich in dunkelblauem Krampf zusammen. Ihre eisige Klarheit wurde von den bronzenen Zweigen der Ahornbäume durchfurcht.

Sie wußte nicht, daß all ihre Unruhe in einen so lustigen Schabernack verwandelt werden sollte. Teile die folgenden Arschin und Werschok durch sieben! Lohnte es sich denn, Dolja, Solotnik, Lot, Pfund und Pud durchzunehmen? Gran, Drachmen, Skrupel und Unzen³, die ihr stets vorkamen wie die vier Lebensalter des Skorpions? Und warum schreibt man das Wort „полезно“ mit „е“, nicht mit „н“? Sie tat sich nur deshalb schwer mit der Antwort, weil alle Kräfte ihres Verstandes in dem Bemühen übereinstimmten, sich die unglücklichen Ursachen auszumalen, aus denen irgendwann in der Welt das Wort „пользный“ auftauchen konnte, das sich in dieser Zeichnung wild und zottig ausnahm. Unbekannt blieb ihr, warum man sie damals doch nicht aufs Gymnasium gab, obwohl sie angenommen und immatrikuliert war und die kaffeebraune Uniform schon zugeschnitten und danach stundenlang lästig und knapp mit Nadeln angepaßt worden war; in ihrem Zimmer aber eröffneten sich Horizonte wie die Schultasche, die Federmappe, das Frühstückskörbchen und ein bemerkenswert scheußlicher Rat-zefummel.

Der Fremde

1

Das Mädchen war bis über die Ohren in ein dickes wollenes Tuch gewickelt, das bis an die Knie hinabreichte, und es lief wie ein Hühnchen im Hof auf und ab. Shenja wollte auf die kleine Tatarin zugehen und sie anreden. In diesem Augenblick stießen

¹ Hörst du? (franz.).

² Ja, ja, das ist unglaublich, das ist entzückend! (franz.).

³ alte Apothekegewichte.

die Flügel eines sich schwungvoll öffnenden Fensters an die Hauswand. „Kolka!“ rief Aksinja. Das Kind, das an ein Wäschebündel mit hastig hineingesteckten Filzstiefeln erinnerte, trippelte flugs in die Hausmannswohnung.

Die Arbeit mit auf den Hof zu nehmen, hieß immer: irgend-eine Anmerkung zur Regel bis zur Sinnentleerung abzustumpfen und danach hinaufzugehen, um in den Räumen alles von vorn zu beginnen. Diese berührten auf der Stelle, schon an der Türschwelle, durch das besondere Halbdunkel und die Kühle, die besondere, stets überraschende Vertrautheit, mit der die Möbel, nachdem sie einmal ihre vorgeschriebenen Plätze eingenommen hatten, darauf stehenblieben. Die Zukunft kann man nicht voraussagen. Doch kann man sie sehen, wenn man von draußen her ins Haus tritt. Hier ist ihr Plan schon vorhanden, jene Anordnung, der die in allem übrigen Widerspenstige sich unterwirft. Und es gab keinen von der Luftbewegung auf der Straße herangewehten Traum, den der muntere und verhängnisvolle Geist des Hauses, der einem von der Schwelle des Vorzimmers unverhofft entgegenschlug, nicht lebhaft abgechüttelt hätte.

Diesmal war es Lermontow. Shenja klappte das Buch so auseinander, daß der Einband nach innen zu liegen kam. In den Zimmern würde sie sich, wenn Serjosha es täte, über die „häßliche Angewohnheit“ empören. Draußen, da war es etwas anderes.

Prochor stellte die Eismaschine auf die Erde und ging ins Haus zurück. Als er die Tür zum Spizynschen Korridor öffnete, quoll das geballte diabolische Bellen der nackten Generalshündchen heraus. Die Tür schnappte mit kurzem Glockenton ins Schloß.

Unterdessen brüllte noch immer der Terek, springend wie die Löwin mit der zottigen Mähne auf dem Rücken, wie es ihm zukam, und in Shenja regten sich nur leise Zweifel, ob all dies wirklich auf dem Rücken und nicht auf dem Bergrücken vor sich ging. Sie spürte keine Lust, weiter in dem Buch zu lesen, und die goldenen Wolken von weit her, aus südlichen Ländern, hatten es kaum geschafft, den Terek nach Norden zu begleiten, als sie an der Schwelle zur Generalsküche einem Eimer und einer Hand mit einem Bastwisch begegneten.

Der Offiziersbursche stellte den Eimer ab, bückte sich, nahm die Eismaschine auseinander und ging daran, sie zu waschen. Die Augustsonne brach durch das Laub des Baumes und ließ sich schwer auf dem Kreuz des Soldaten nieder. Rot drang sie in das verblichene Uniformtuch ein und tränkte es gierig mit sich selbst wie mit Terpentin.

Der Hof war geräumig, er hatte vertrackte Ecken und war verworren und schwierig. Das Pflaster in seiner Mitte war schon lange nicht mehr ausgebessert worden, und die Katzenköpfe waren dicht mit niedrigem, wirrem Gras bedeckt, das in den Nachmittagsstunden jenen säuerlichen Arzneigeruch verströmte, der

bei brütender Hitze die Krankenhäuser umschwebt. Zwischen der Hausmannswohnung und dem Wagenschuppen stieß der Hof mit einem Zipfel an einen fremden Garten.

Dorthin begab sich Shenja, hinter den Brennholzstapel. Sie schob ein flaches Holzscheid unter die Leiter, damit sie nicht wegrutschte, rückte sie an den schwankenden Hölzern zurecht und setzte sich unbequem und interessant wie beim Spiel im Hof auf die mittlere Sprosse. Dann stand sie auf, um noch höher zu steigen, legte das Buch auf die obere, schon angebrochene Reihe und machte Anstalten, sich dem „Dämon“ zu widmen; dann stieg sie, da sie vorher besser gesessen zu haben glaubte, wieder hinab und dachte gar nicht mehr daran, weil sie nun jenseits des Gartens etwas sah, das sie vorher dort nicht vermutet hatte, und blieb mit weit aufgerissenem Mund, wie verzaubert, stehen.

Sträucher gab es nicht in dem fremden Garten, und die jahrhundertealten Bäume legten, da sie die unteren Äste nach oben, ins Laub, geschickt hatten, unten den Garten bloß, obwohl er in gleichbleibendem Halbdunkel lag, luftig und feierlich, und niemals daraus hervortrat. Weit verzweigt, bei Gewitter violett, mit grauen Flechten bedeckt, gaben sie doch den Blick auf die öde, kaum befahrene kleine Straße frei, welcher der fremde Garten auf jener Seite zugewandt war. Dort wuchs gelber Schattendorn. Jetzt war sein Lau verdorrt, es krümmte sich und fiel ab.

Die durch den düsteren Garten von dieser in jene Welt hinausgetragene stille Straße leuchtete, wie Ereignisse im Traum angestrahlt werden, das heißt sehr grell, peinlich genau und sehr geräuschlos, als durchstöberte die Sonne, nachdem sie sich die Brille aufgesetzt hatte, dort den Hahnenfuß.

Was hatte Shenja so in den Bann geschlagen? Ihre Entdeckung, die sie mehr beschäftigte als die Leute, die ihr geholfen hatten, sie zu machen.

Dort ist also eine kleine Bank? Hinter der Gartentür, auf der Straße. Auf so einer Straße! 'Die Glücklichen!' dachte sie neiderfüllt von den Unbekannten. Es waren ihrer drei.

Sie hoben sich schwarz ab wie das Wort „Nonne“ in dem Lied. Drei ebenmäßige, unter runden Hüten glattgekämmte Hinterköpfe neigten sich, als ob die von einem Strauch halb verdeckte außen Sitzende, mit dem Ellbogen auf etwas gestützt, schlief und als ob die beiden andern, an sie geschmiegt, gleichfalls schliefen. Die Hüte waren von dunklem Taubenblau, sie erloschen und blitzten in der Sonne wie Insekten. Sie waren mit schwarzem Krepp bespannt. In diesem Augenblick wandten die Unbekannten ihre Köpfe nach der anderen Seite. Anscheinend erregte irgend etwas an jenem Ende der Straße ihre Aufmerksamkeit. Etwa eine Minute lang sahen sie dorthin, wie man im Sommer schaut, wenn ein Augenblick vom Licht aufgetan und gedehnt wird, wenn man blinzeln und die Augen mit der Handfläche schützen muß, etwa

eine solche Minute lang sahen sie dorthin und versanken wieder in den früheren Zustand einträchtiger Schläfrigkeit.

Shenja war schon im Begriff, ins Haus zurückzugehen, doch sie vermißte das Buch und konnte sich nicht sogleich besinnen, wo sie es gelassen hatte. Sie kehrte deswegen zurück, und als sie hinter dem Holzstoß ankam, sah sie, daß die Unbekannten aufgestanden waren und sich anschickten zu gehen. Sie begaben sich einzeln, eine nach der andern, durch die Gartentür. Hinter ihnen lief mit sonderbar lahmem Gang ein mittelgroßer Mann. Er trug ein riesiges Album oder einen Atlas unter dem Arm. Damit waren sie also beschäftigt, als sie einander über die Schulter sahen, und sie hatte gemeint, sie – schliefen. Die Nachbarinnen durchschritten den Garten und verschwanden hinter den Wirtschaftsgebäuden. Die Sonne war schon im Sinken begriffen. Als Shenja das Buch herabnahm, versetzte sie den Holzstoß in Aufruhr. Ein ganzer Klawter erwachte und begann sich zu regen wie ein lebendiges Wesen. Mehrere Scheite rutschten hinab und fielen mit leichtem Gepolter auf den Rasen. Dies war ein Zeichen wie der Schlag des Wächters mit dem Klappholz. Der Abend kam herauf. Eine Vielfalt von Tönen, leise, verschwommen, zog herauf. Die Lüfte begannen etwas Uraltes von der andern Seite des Flusses zu pfeifen.

Der Hof war menschenleer. Prochor hatte seine Arbeit beendet. Er war durchs Tor hinausgegangen. Dort schwebte tief unten, dicht über dem Rasen, traurig und helltönend das Geklimper einer Soldatenbalalaika. Darüber tanzte und wirbelte ein feiner Schwarm lautloser Schnaken, er hielt inne und sank hinab, während er in der Luft erstarrte, und sank hinab und erstarrte und stieg schließlich, ohne den Erdboden erreicht zu haben, empor... Doch das Geklimper der Balalaika war noch zarter und leiser. Tiefer als die Kriebelmücken ließ es sich zum Erdboden hinab, und ohne sich mit Staub zu bedecken, schwang es sich besser und luftiger wieder in die Höhe und flimmerte und hielt inne und sank ab und zu hinunter ohne jegliche Eile.

Shenja kehrte ins Haus zurück. 'Ein Lahmer', dachte sie von dem Unbekannten mit dem Album, 'ein Lahmer, aber einer von den Herrschaften, ohne Krücken.' Sie kam vom Hintereingang her. Auf dem Hof roch es widerlich süß und wie von einem starken Aufguß nach Kamille. 'Seit einiger Zeit sammelt sich bei Mama eine ganze Apotheke an, eine Menge blauer Fläschchen mit gelben Hüten.' Langsam stieg sie die Treppe hinauf. Das eiserne Geländer war kalt, die Stufen knarrten als Erwidierung auf das Fußescharren. Da schoß ihr etwas Seltsames durch den Kopf. Sie nahm zwei Stufen auf einmal und hielt auf der dritten inne. Es schoß ihr durch den Kopf, daß sich in letzter Zeit eine nicht aufzuhellende Ähnlichkeit zwischen Mama und der Hausmeistersfrau eingestellt hatte. Eine Ähnlichkeit in einer Sache, die überhaupt nicht zu fassen war. Sie blieb stehen. In so einer, wie – grübelte

sie —, wie man sie vielleicht im Sinn hat, wenn man sagt: Wir sind eben alle Menschen... oder: Wir sind alle keine Engel... oder: Vor dem Schicksal sind alle gleich — mit der Schuhspitze stieß sie ein am Boden liegendes Fläschchen fort, das Fläschchen flog hinab, es fiel auf die staubigen Säcke, zerbrach aber nicht — mit einem Wort, in einer Sache, die sehr, sehr allgemein war, allen Menschen gemeinsam. Aber warum gab es sie dann nicht zwischen ihr selbst und Aksinja? Oder etwa zwischen Aksinja und Uljascha? Dies kam Shenja um so seltsamer vor, als es schwerhielt, Menschen zu finden, die sich weniger ähnelten: Aksinja hatte etwas Erdhaftes an sich wie die Gemüsegärten, etwas, das an das Knollige einer Kartoffel oder das Blaugrünliche des Teufelsapfels gemahnte, während Mama... Shenja mußte lächeln allein bei dem Gedanken an ihre Vergleichbarkeit.

Indessen war es gerade Aksinja, die in dem sich aufdrängenden Vergleich den Ton angab. Sie hatte das Übergewicht bei dieser Näherung, in der das Bauernweib nicht gewann, aber die Dame verlor. Etwas Unbändiges schwebte Shenja für einen Augenblick vor. Es schien ihr, als ob etwas vom einfachen Volk bei Mama eingekehrt sei, und sie stellte sich die Mutter vor, wie sie Garpfen sagte statt Karpfen und orbeeten statt arbeiten; und mit einemmal, meinte sie, wäre der Tag gekommen, da sie, gleich einem Schiff, im neuen seidenen Morgenrock ohne Gürtel, ohne sich lange zu besinnen, herausplatzte mit einem: „Stells vor de Tier!“

Der Korridor roch nach Arznei. Shenja ging zum Vater.

2

Die Einrichtung wurde erneuert. Luxus zog im Haus ein. Die Lüvers' schafften sich eine Kalesche an und hielten sich Pferde. Der Kutscher hieß Dawletscha.

Gummireifen stellten damals etwas völlig Neuartiges dar. Wenn sie spazierenfuhren, drehte sich alles um und verfolgte die Kutsche mit dem Blick: Menschen, Zäune, Kapellen und Hähne.

Lange dauerte es, bis man Frau Lüvers die Tür öffnete, und als sich die Kutsche, um ihr Achtung zu erweisen, im Schritt entfernte, rief sie hinter ihnen her: „Fahr nicht so weit! Bis zum Schlagbaum, und dann zurück. Sei vorsichtig, wenn es bergab geht.“

Und als die fahlweiße Sonne von der Außentreppe des Doktors her Shenja erreicht hatte, bewegte sie sich weiter die Straße entlang und wärmte und runzelte, als sie bei Dawletscha angelangt war, seinen straffen, sommersprossigen, purpurroten Hals.

Dann fuhren sie auf die Brücke. Das Gespräch der Balken ertönte kokett, geläufig und rund, irgendwann einmal für alle Zeiten gefügt, unverbrüchlich der Schlucht eingekerbt und ihr stets erinnerlich, am Mittag und im Schlaf.

Beim Erklimmen des Berges begann Wykormysch den heftig fortrollenden, nicht zu bezwingenden Kieseln Trotz zu bieten; er streckte sich nach vorn, doch er vermochte es nicht, und auf einmal wurde er, der bei diesem Klettern an eine kriechende Heuschrecke erinnerte, überraschend schön in der Demütigung seines unnatürlichen Bemühens wie dieses von Natur aus fliegende und hüpfende Geschöpf; schon im nächsten Augenblick, schien es, würde er es nicht mehr ertragen und zornig Flügel aufblitzen lassen, um sich in die Luft zu erheben. Und wirklich lief ein Zukken durch das Pferd, es warf die Vorderbeine hoch und raste im kurzen Galopp über das unbebaute Gelände. Dawletscha bändigte es, indem er die Zügel anzog. Altersschwach, struppig, abgestumpft kläffte sie ein Hund an. Der Staub war schwarz wie Schießpulver. Jäh bog der Weg nach links ab.

Die schwarze Straße stemmte sich wie ein Keil gegen den roten Zaun des Eisenbahndepots. Sie war voll Unruhe. Die Sonne drang seitlich aus den Sträuchern und windelte eine Gruppe sonderbarer kleiner Gestalten, die Frauenjacke trugen. Die Sonne übergieß sie mit flutendem weißem Licht, das sich aus einem mit dem Stiefel umgestoßenen Eimer zu ergießen schien wie flüssiger Kalk, und lief in einer Woge über die Erde. Die Straße war voll Unruhe.

Das Pferd ging im Schritt.

„Bieg nach rechts ab!“ befahl Shenja.

„Dort wird kein Bahnübergang sein“, antwortete Dawletscha, er deutete mit dem Peitschenstiel auf das rote Straßenende – eine Sackgasse.

„Dann halte an, ich will nachgucken.“

„Es sind unsere Chinesen.“

„Das sehe ich.“

Als Dawletscha begriff, daß das Fräulein keine Lust hatte, mit ihm zu sprechen, sang er sein gedehntes „Brrr“, und das Pferd blieb, am ganzen Körper zitternd, wie angewurzelt stehen; Dawletscha jedoch begann fein und das Pferd nachahmend, mit kurzen Unterbrechungen zu pfeifen und es zu ermuntern, damit es tat, was nötig war.

Die Chinesen kamen über die Straße gelaufen, sie hielten riesige Roggenbrote in den Händen. Sie waren ganz in Blau und sahen aus wie Bauernweiber in Hosen. Die unbedeckten Köpfe fanden ihren Abschluß in einem kleinen Knoten auf dem Scheitel und schienen aus Taschentüchern zusammengebunden zu sein. Einige verweilten etwas länger. Man konnte sie eingehend betrachten. Sie hatten bleiche, erdfarbene, grinsende Gesichter. Sie waren sonnenverbrannt und schmutzig, wie Kupfer, das vom Elend oxydiert ist.

Dawletscha zog einen Tabaksbeutel hervor und wollte sich eben eine drehen. Da kamen hinter der Ecke, von dort, wo die Chinesen hingingen, ein paar Frauen zum Vorschein. Wahrscheinlich

gingen auch sie Brot holen. Jene, die auf dem Weg waren, begannen laut zu gackern und sich ihnen zu nähern, dabei verrenkten sie sich, als seien ihre Hände auf dem Rücken mit einem Strick zusammengebunden. Das Schlängelnde ihrer Bewegungen wurde vor allem dadurch hervorgehoben, daß ihr ganzer Körper wie bei Akrobaten vom Kragen bis zu den Knöcheln in ein einziges Stück gehüllt war. Es lag nichts Furchtbares darin; die Frauen liefen nicht davon, sie blieben auch stehen und lachten.

„Hör mal, Dawletscha, was machst du da?“

„Das Pferd ist durchgegangen! Durchgegangen! Nicht stehenbleiben!“ Während Dawletscha Wykormysch wieder und wieder eins überzog, zerrte und schleuderte er die Leine.

„Ruhig, du wirfst noch die Kutsche um. Weshalb peitschst du es?“

„Es muß sein.“

Erst als er aufs Feld hinausgefahren war und das beinahe schon tanzende Pferd besänftigt hatte, nahm der listige Tatar, der das Fräulein blitzschnell aus der anstößigen Szene entführt hatte, die Zügel in die Rechte und steckte den Tabaksbeutel, den er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, unter den Rockschöß.

Sie kehrten auf einem anderen Weg zurück, Frau Lüvers hatte sie wohl aus dem Fenster des Doktors gesehen. Sie trat in dem Augenblick auf die Vortreppe, als die Brücke, die ihnen ihr ganzes Märchen schon erzählt hatte, unter dem Wagen des Wasserfahrers von neuem damit begann.

3

Mit der Defendowa, dem Mädchen, das in die Klasse Vogelbeeren mitbrachte, die sie auf dem Schulweg abgerissen hatte, traf Shenja in einer der Prüfungen zusammen. Die Tochter des Psalmensängers legte die Nachprüfung in Französisch ab. Lüvers, Jewgenija wurde auf den erstbesten freien Platz verwiesen. Und so lernten sie sich kennen, während sie beide über dem gleichen Satz brüteten:

„Est-ce Pierre qui a volé la pomme?“

„Oui. C'est Pierre qui vola... etc.“

Der Umstand, daß man Shenja zu Hause lernen ließ, setzte ihrer Bekanntschaft kein Ende. Sie begannen sich zu treffen. Ihre Zusammenkünfte waren, dank Mamas Grundsätzen, einseitig: Es wurde Lisa gestattet, sie zu besuchen, Shenja war es fürs erste verboten, zu den Defendows zu gehen.

Dieses Lückenhafte ihrer Begegnungen hinderte Shenja keineswegs, sich der Freundin rasch anzuschließen. Sie verliebte sich in die Defendowa, das heißt, sie wurde der passive Teil in ihren

Beziehungen, das Manometer, das wachsam und aufgestört war. Jede Anspielung Lisas auf Shenja unbekannte Mitschülerinnen rief in ihr ein Gefühl der Bitterkeit und Leere hervor. Der Mut verließ sie: Es waren Ausbrüche der ersten Eifersucht. Ohne äußeren Anlaß nur von der Stärke ihres Mißtrauens überzeugt, daß Lisa falsches Spiel trieb — daß sie nach außen hin offen war, in ihrem Innern aber alles ins Lächerliche zog, was Lüversch an ihr war, und sich hinter ihrem Rücken, in der Klasse und zu Hause darüber lustig machte —, nahm Shenja dies als das ihr Zukommende hin, als etwas, das im Wesen der Anhänglichkeit lag. Ihr Gefühl war ebenso zufällig in der Wahl seines Gegenstandes, wie es an seinem Ursprung die Antwort auf das herrische Bedürfnis eines Instinkts war, der keine Eigenliebe kennt und nur zu leiden und sich zu quälen vermag zum Ruhme des Fetischs, solange jener zum ersten Mal fühlt.

Weder Shenja noch Lisa nahmen durch irgend etwas entscheidenden Einfluß aufeinander, und sie begegneten und trennten sich — Shenja als Shenja und Lisa als Lisa — die eine mit einem starken Gefühl, die andere unberührt.

Der Vater der Achmedjanows handelte mit Eisen. In dem Jahr, das die Geburt von Nuretdin und Smagil trennte, wurde er unerwartet reich. Damals begann Smagil Samoila zu heißen, und man beschloß, den Söhnen eine russische Erziehung zuteil werden zu lassen. Der Vater hatte keine Besonderheit des schwungvollen Herrendaseins versäumt, und im Verlauf eines zehnjährigen Rennens durch alle Stationen hatte er jedes Maß überschritten. Die Kinder gediehen prächtig, das heißt, sie paßten in das übernommene Muster, und der energische Schwung des väterlichen Willens blieb in ihnen, rauschend und verderbenbringend wie im Dampf der herumgewirbelten, bedingungslos dem Trägheitsgesetz unterworfenen Schwungräder. Die echtsten Viertkläßler der vierten Klasse waren die Brüder Achmedjanow. Sie setzten sich aus zerbröckelnder Kreide, drübergeschriebenen Übersetzungen, Flintenschrot, Bänkegeknarr, Unflätigkeiten und einer sich bei Frostwetter schälenden, rotbäckigen und stupsnäsigen Selbstsicherheit zusammen. Serjoscha schloß sich ihnen im August an. Ende September hatte der Junge sein Gesicht verloren. Das lag in der Ordnung der Dinge. Ein typischer Gymnasiast zu sein und danach auch noch irgend etwas — das bedeutete, zu sein wie die Achmedjanows. Und Serjoscha begehrte nichts sehnlicher, als Gymnasiast zu sein.

Herr Lüversch stellte der Freundschaft seines Sohnes kein Hindernis in den Weg. Er bemerkte nicht die Veränderung an ihm, und wenn er dennoch etwas gewahrte, schrieb er es dem Übergangsalter zu. Zumal er den Kopf von ganz anderen Sorgen voll hatte. Seit einiger Zeit begann er zu argwöhnen, daß er an einer Krankheit litt und daß diese unheilbar war.

Es tat ihr nicht leid um ihn, wenn auch alle ringsum nur davon sprachen, daß es wirklich unglaublich unzeitig und ärgerlich sei. Négarate war auch für die Eltern zu sonderbar, und alles, was die Eltern Fremden gegenüber empfanden, übertrug sich undeutlich auf die Kinder wie auf verhätschelte Haustiere. Shenja war nur betrübt, daß jetzt nicht mehr alles sein würde wie vorher und daß von den Belgiern nur drei übrigblieben und daß es nicht mehr solches Gelächter geben würde wie früher.

Zufällig saß sie an jenem Abend mit am Tisch, als er Mama mitteilte, daß er zur Ableistung seines Wehrdienstes zurück nach Dijon müßte.

„Da sind Sie also noch so jung!“ sagte die Mutter und ging auch schon daran, ihn in den höchsten Tönen zu beklagen.

Er aber saß mit gesenktem Kopf am Tisch. Die Unterhaltung kam nicht recht in Gang.

«Morgen kommen sie die Fenster abdichten», sagte die Mutter und fragte ihn, ob sie die Fenster schließen solle.

Er sagte, es sei nicht nötig, da der Abend warm sei; und bei ihnen würden die Fenster selbst für den Winter niemals abgedichtet.

Kurz darauf kam der Vater. Auch er verhehlte bei dieser Nachricht nicht sein Bedauern. Doch bevor er mit dem Klagen begann, hob er etwas die Brauen und fragte erstaunt:

„Nach Dijon? Sind Sie denn nicht Belgier?“

„Belgier, ja, aber mit französischer Staatsangehörigkeit.“

Und schon erzählte Négarate die Geschichte von der Auswanderung „seiner Alten“ derart fesselnd, als wäre er nicht ihr Sohn, und mit einer solchen Wärme, als spräche er gelegentlich eines Buches über Fremde.

„Entschuldigen Sie, daß ich Sie unterbreche“, sagte die Mutter. „Shenjura, lehne das Fenster trotzdem ein bißchen an. Vika, morgen kommen sie zum Abdichten. Nun fahren Sie fort! Dieser Onkel von Ihnen ist aber ein richtiger Schurke! Ist es denn möglich, *tatsächlich* unter Eid?“

„Ja.“

Er nahm die unterbrochene Erzählung wieder auf. Als er aber zur Hauptsache kam, dem Papier, das er gestern per Post vom Konsulat erhalten hatte, merkte er, daß das Mädchen überhaupt nichts begriff, obwohl es sich große Mühe gab, etwas zu verstehen. Da wandte er sich ihr zu und begann zu erklären – ohne sich anmerken zu lassen, welches Ziel er verfolgte, damit ihre Eigenliebe nicht verletzt würde –, was es mit dieser Militärdienstpflicht auf sich hatte. „Ja, ja. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe, ich verstehe“, wiederholte das Mädchen dankbar und mechanisch.

„Warum müssen Sie so weit fortfahren? Werden Sie doch hier Soldat, *üben* Sie, wo es alle tun“, korrigierte sie sich, und dabei

standen ihr deutlich die Wiesen vor Augen, die sich vom Klosterhügel her auftaten.

„Ja, ja. Ich verstehe. Ja, ja, ja“, sagte das Mädchen atemlos von neuem, und Lüvers', die ohne Beschäftigung dabeisaßen und der Meinung waren, daß der Belgier das Kind mit unnützen Kleinigkeiten vollstopfte, flochten ihre schläfrigen und vereinfachenden Bemerkungen ein. Und plötzlich trat jener Augenblick ein, da ihr all jene leid taten, die irgendwann einmal oder erst vor kurzem an verschiedenen fernen Orten Négarates waren und die sich, nachdem sie Abschied genommen, auf die unerwartete, aus heiterem Himmel gefallene Reise hierher begaben, um hier, im ihnen fremden Jekaterinburg, Soldat zu werden.

So gut verstand es dieser Mann, dem Mädchen alles begreiflich zu machen. So war ihr noch niemals etwas erklärt worden. Der Anflug von Gefühllosigkeit, der überwältigende Anflug der bloßen Anschaulichkeit fiel ab von dem Bild der weißen Zelte; die Kompanien verloren ihren Glanz und wurden eine Anhäufung einzelner Menschen im Soldatenrock, die einem im gleichen Augenblick Mitleid einzuflößen begannen, als sie von einem in sie eingeführten Sinn beseelt, erhoben, zu Nahestehenden gemacht und ihrer Farbe beraubt wurden.

Sie nahmen Abschied.

„Einen Teil meiner Bücher lasse ich bei Zwetkow. Das ist der Freund, von dem ich Ihnen soviel erzählt habe. Bitte, machen Sie auch weiterhin davon Gebrauch, Madame. Ihr Sohn weiß, wo ich wohne, er verkehrt in der Familie des Hausbesitzers, und mein Zimmer überlasse ich Zwetkow. Ich werde ihm noch Bescheid sagen.“

„Er möchte bei uns vorbeikommen. Zwetkow, haben Sie gesagt?“

„Zwetkow.“

„Er möchte vorbeikommen. Daß wir uns kennenlernen. Als junges Mädchen kannte ich solche“, und sie sah ihren Mann an, der, die Hände an den Knöpfen seines enganliegenden Jacketts, vor Négarate stehengeblieben war und zerstreut auf die passende Gelegenheit wartete, sich mit dem Belgier endgültig für den nächsten Tag zu verabreden. „Er möchte vorbeikommen. Nur nicht gleich. Ich lasse ihn rufen. Ja, nehmen Sie, es ist Ihres. Ich habe es nicht fertig gelesen. Ich mußte beim Lesen weinen. Der Doktor hat mir überhaupt geraten, es zu unterlassen. Damit ich mich nicht aufrege.“

Und wieder sah sie ihren Mann an, der den Kopf gesenkt hielt und sich auf einmal, mit knisterndem Kragen, auffallend dafür interessierte, ob er an beiden Füßen Stiefel trug und ob sie gut geputzt waren.

„Also dann. Das wärs. Vergessen Sie nicht Ihren Spazierstock. Ich hoffe, wir sehen uns noch?“

„Aber natürlich. Bis Freitag ist ja noch Zeit. Was haben wir denn heute?“ Er erschrak, wie Abreisende in solchen Fällen zu erschrecken pflegen.

„Mittwoch. Mittwoch, Vika?.. Mittwoch, Vika?“

„Mittwoch. Ecoutez“, endlich war der Vater an der Reihe, „demain!“.

Und dann gingen die beiden hinaus auf die Treppe.

5

Sie gingen und unterhielten sich, und ab und zu mußte sie einen kleinen Sprint einlegen, um nicht hinter Serjosha zurückzubleiben und mit ihm Schritt zu halten. Sie gingen sehr schnell, und ihr Mantel verschob sich dauernd, weil sie, um ihr Gehen zu beflügeln, zusätzlich mit den Armen arbeitete, obwohl sie die Hände in den Taschen hatte. Es war kalt, unter ihren Überschuhen zerbarst knirschend das dünne Eis. Sie gingen im Auftrag von Mama, um für den Abreisenden ein Geschenk zu kaufen, und unterhielten sich.

„So haben sie ihn zum Bahnhof gebracht?“

„Ja.“

„Aber weshalb saß er im Heu?“

„Wie meinst du?“

„Auf dem Kastenwagen. Ganz und gar. Auch mit den Beinen drauf. So sitzt man doch nicht.“

„Ich hab doch schon gesagt: weil es ein Krimineller ist.“

„Bringen sie ihn zur Zwangsarbeit?“

„Nein. Nach Perm. Bei uns gibt es keine Gefängnisbehörde. Paß auf, wo du hintrittst.“

Ihr Weg führte auf die andere Straßenseite, an einer Kupfer-schlosserei vorüber. Den ganzen Sommer standen die Türen der Firma sperrangelweit offen, und Shenja war es gewohnt, diese Straßenkreuzung von jenem einträchtigen, allgemeinen Leben erfüllt zu sehen, das ihr der feurig aufgerissene Rachen der Werkstatt verlieh. Den ganzen Juli, August, September über machten hier Fuhrwerke halt und erschwerten das Vorüberfahren: Bauern vertraten sich die Beine; es waren vor allem Tataren; Eimer lagen herum, durchlöcherter und angerosteter Stücke von Dachrinnen; öfter als anderswo ließ sich die Sonne hier, während sie die Menschenmenge in ein Zeltlager verwandelte und die Tataren als Zigeuner malte, unheimlich und dickflüssig in den Staub herab zu der Zeit, wenn jenseits des Flechtzauns in der Nachbarschaft junge Hühner geschlachtet wurden; hier tauchten die von den Wagenkästen befreiten Vordergestelle mit den am Protznagel eingeschierten Scheiben ihre Deichselarme in den Staub.

¹ Hören Sie... morgen. (franz.).

Die gleichen Eimer und kleinen Eisenteile lagen unaufgesammelt und nun mit Reif bestäubt herum. Doch die Türen waren wegen der Kälte fest versperrt wie an einem Feiertag, und auf der Kreuzung war es menschenleer, und nur durch das runde Abzugsloch drang ein Shenja vertrauter Geruch nach muffigem Grubengas, das mit Gekreisch und Geknall herausströmte und sich, wenn es einem in die Nase stieg, am Gaumen wie billige Birnenlimonade niederschlug.

„Und in Perm ist eine Gefängnisverwaltung?“

„Ja. Eine Behörde. Ich glaube, es ist näher, wenn wir hier langgehen. In Perm ist sie, weil das eine Gouvernementsstadt ist, Jekaterinburg ist nur eine Kreisstadt. Und eine kleine dazu.“

Der Fußweg an den Villen vorbei war mit kleinen roten Ziegelsteinen ausgelegt und von Sträuchern eingefasst. Spuren einer matten, gebrechlichen Sonne zeichneten sich auf ihm ab. Serjoscha bemühte sich, so laut wie möglich auszusprechen.

„Wenn man diese Berberitze im Frühling, wenn sie blüht, mit einer Nadel kitzelt, klappt sie geschwind ihre Blütenblätter zu, als ob sie lebendig wäre.“

„Ich weiß.“

„Und du, bist du eigentlich kitzlig?“

„Ja.“

„Demnach bist du nervös. Die Achmedjanows sagen, wenn jemand kitzlig ist...“

Und so gingen sie: Shenja im Laufschrift, Serjoscha mit unnatürlich langen Schritten, und ihr Mantel verschob sich andauernd. Sie erspähten Dikich im gleichen Augenblick, als er eine Tür aufhielt, die sich als Drehkreuz auf einem eingerammten Pfosten quer zum Fußweg bewegte. Sie erspähten ihn von weitem, er trat aus ebendem Geschäft, von dem sie noch ein halber Häuserblock trennte. Dikich war nicht allein, hinter ihm kam ein mittelgroßer Mann heraus, der beim Auftreten zu verbergen suchte, daß er leicht hinkte. Es schien Shenja, als hätte sie ihn schon einmal irgendwo gesehen. Sie gingen aneinander vorbei, ohne sich zu grüßen. Die anderen hielten sich schräg zu ihrer Wegrichtung. Dikich bemerkte die Kinder nicht, er schritt in hohen Überschuhen einher, und er hob immer wieder seine gespreizten Hände. Er *wies irgend etwas zurück* und bewies mit allen zehn Fingern, daß sein Gesprächspartner... (Aber wo hatte sie den nur gesehen? Es war lange her. Aber wo? Wahrscheinlich in Perm, in ihrer *Kindheit*.)

„Halt!“ Serjoscha war etwas zugestoßen. Er ließ sich auf Knie nieder. «Warte mal.»

„Bist du hängengeblieben?“

„Na ja. Diese Idioten, können nicht mal einen Nagel richtig einschlagen!“

„Nun?“

„Warte, ich weiß noch nicht, wo er steckt. Ich kenne den Lahmen dort. Na, endlich. Gott sei Dank.“

„Was zerrissen?“

„Nein, ist noch alles in Ordnung, Gott sei Dank. Aber im Futter ist ein Loch – ein altes. Es stammt nicht von mir. Na, vorwärts. Halt, ich will mir das Knie saubermachen. Gut, gehen wir.“

„Ich kenne ihn. Vom Hof der Achmedjanows. Er gehört zu Négarate. Erinnerst du dich, ich hab dir davon erzählt: Es kommen Leute zu ihm, die ganze Nacht über trinken sie und das Licht scheint durchs Fenster. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich, wie ich bei ihnen übernachtet hab? Zu Samoilas Geburtstag. Einer von denen ist es. Erinnerst du dich?“

Sie erinnerte sich, Sie begriff, daß sie sich geirrt hatte, daß sie den Lahmen folglich nicht in Perm gesehen haben konnte, daß es ihr nur so vorgekommen war. Aber sie hatte auch weiterhin den Eindruck, und schweigend führte sie mit diesen Empfindungen, indes sie in Gedanken alles durchging, was Perm betraf, ihrem Bruder folgend, irgendwelche Bewegungen aus, hielt sich an etwas fest und schritt über etwas anderes hinweg und fand sich plötzlich, als sie aufsaß, im Halbdämmer von Ladentischen, leichten Schachteln, Regalen, beflissenen Grüßen und Gefälligkeiten wieder – und... Serjoscha redete.

Der von ihnen gesuchte Titel war bei dem Buchhändler, der Tabak aller Sorten verkaufte, nicht vorhanden, aber der Mann beruhigte sie mit der Versicherung, daß Turgenew ihm versprochen, von Moskau abgeschickt und bereits unterwegs sei, und daß er eben – gerade vor einer Minute – das gleiche Herrn Zwetkow, ihrem Erzieher, mitgeteilt habe. Die Kinder mußten über seine Wendigkeit und über den Irrtum, in dem er sich befand, lachen und gingen, nachdem sie sich verabschiedet hatten, unverrichteterdinge davon.

Als sie nach draußen kamen, wandte sich Shenja mit folgender Frage an ihren Bruder: „Serjoscha! Ich vergesse ständig, dich nach etwas zu fragen. Sag mal, kennst du die Straße, die man von unserem Holzstapel aus sieht?“

„Nein. Ich war noch niemals dort.“

„Das ist nicht wahr, ich hab dich selbst gesehen.“

„Auf dem Holz? Du...“

„Nein, nicht auf dem Holz, sondern auf der Straße dort, hinter dem Tscherep-Sawwitschewski-Garten.“

„Ach, davon sprichst du! Ach ja, richtig. Immer, wenn wir vorbeikommen, taucht er auf. Hinter dem Garten, ganz im Hintergrund. Dort gibt es irgendwelche Schuppen und den Holzstoß. Warte mal. Das ist also unser Hof?! Der Hof dort ist unserer? Ist ja verrückt! Und ich dachte, wenn ich da langging, ach, dort müßte man mal heimlich reinschlüpfen, und dann auf den Holzstoß klettern, und vom Holz auf den Dachboden, ich hatte eine Leiter gesehen. Also, das ist unser eigener Hof?“

„Serjoscha, zeigst du mir den Weg dorthin?“

„Schon wieder! Es ist doch der Hof von uns! Weshalb soll ich ihn dir zeigen? Du selbst...“

„Serjoscha, du hast mich wieder nicht verstanden. Ich rede von der Straße und du vom Hof. Ich rede von der Straße. Zeig mir, wie ich da hinkomme. Zeigst du es mir, Serjoscha?“

„Und ich versteh es wieder nicht. Wir sind doch vorhin erst dort langgegangen... und gleich müssen wir wieder vorbei.“

„Was meinst du?“

„Na klar. Und der Kupferschmied?.. Der ist Ecke.“

„Heißt das, die staubige...“

„Natürlich, genau die, nach der du fragst. Und Tscherep-Sawwitschi ist am Ende, auf der rechten Seite. Geh ein bißchen schneller, damit wir nicht zu spät zum Essen kommen. Heute gibts Krebse.“

Sie kamen auf etwas anderes zu sprechen. Die Achmedjanows wollten ihm beibringen, Samoware zu verzinnen. Was ihre Frage nach dem „Zinnlot“ betreffe, so sei dies ein Mineral, kurz gesagt ein Erz, so ähnlich wie Zinn und glanzlos. Mit ihm würden Blechdosen gelötet und Töpfe gebrannt, und die Achmedjanows könnten das alles.

Sie mußten über die Straße rennen, sonst wären sie von einem Lastzug aufgehalten worden. Darüber vergaßen sie alles: sie die Bitte, die jene kaum befahrene kleine Straße betraf, Serjoscha das Versprechen, sie ihr zu zeigen. Sie kamen direkt an der Tür der Werkstatt vorüber, und ebendort, als Shenja den warmen, talgigen Dunst einatmete, der beim Reinigen, kupferner Griffe und Leuchter entsteht, fiel ihr ein, wo sie den Lahmen und die drei Unbekannten gesehen hatte und womit sie beschäftigt gewesen waren, und im nächsten Augenblick begriff sie, daß Zwetkow, von dem der Buchhändler gesprochen hatte, ebendieser Lahme war.

6

Négarate reiste am Abend ab. Der Vater fuhr weg, um ihn zum Zug zu bringen. Vom Bahnhof kehrte er erst spät der Nacht zurück, und sein Erscheinen rief in der Hausmannswohnung großen und nur langsam abklingenden Tumult hervor. Man ging mit Lichtern hinaus, jemand wurde gerufen. Es goß in Strömen, und die Gänse, die jemand herausgelassen hatte, schnatterten.

Düster und schlotternd kam der Morgen herauf. Die graue, nasse Straße hüpfte, als ob sie aus Gummi wäre, ein garstiger, kleiner Regen trieb sich herum und gab Schmutzspritzer von sich, die Fahrzeuge hopsten, und die Menschen schlappten mit ihren Überschuhen, wenn sie den Fahrdamm passierten.

Shenja war auf dem Heimweg. Der Nachklang des nächtlichen Tumults hatte noch am Morgen auf dem Hof fortgewirkt. Die

Kutsche wurde ihr verweigert. So machte sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrer Freundin, gesagt hatte sie, daß sie nach Hanfsamen zum Kaufladen gehen wolle. Doch auf halbem Weg, als sie sich überzeugt hatte, daß sie den Weg vom Geschäftsviertel zu den Defendows nicht allein finden konnte, machte sie kehrt. Dann fiel ihr ein, daß sie vorschnell gehandelt hatte und daß sich Lisa ohnehin in der Schule befand. Sie war bis auf die Haut durchnäßt und starr vor Kälte. Das Wetter klarte auf: doch wurde es noch nicht heiter. Ein kalter, weißer Glanz wehte über die Straße und blieb wie ein Blatt an den nassen Steinplatten haften. Weißliche Wolken eilten aus der Stadt hinaus, sie drängten sich und wogten panisch, vom Wind geschüttelt, dort am Ende des Platzes, hinter der dreiarmligen Straßenlaterne.

Der da umzog, war vermutlich ein liederlicher oder prinzipienloser Mensch. Die Utensilien des dürftigen Arbeitszimmers waren nicht verladen, sondern einfach so, wie sie im Zimmer gestanden hatten, auf den flachen Wagen gestellt worden, und die Rädchen der Sessel, die unter den weißen Überzügen vorsahen, rutschten bei jeder Erschütterung der Fuhre auf dem Wagenboden hin und her wie auf Parkett. Die Überzüge waren schneeweiß, obschon sie vor Nässe triefen. Sie sprangen so grell in die Augen, daß, wenn man sie ansah, alles von ein und derselben Farbe war: der vom Unwetter abgewetzte Pflasterstein, das kälteschlotternde Wasser am Zaun, die Vögel, die von den Pferdehöfen geflogen kamen, die hinter ihnen her fliegenden Bäume, die Bleistücke und selbst jener Gummibaum im Kübel, der auf und ab wippte, während er sich vom Wagen aus linkisch vor allen verbeugte, die vorüberflogen.

Die Fuhre schien außer Rand und Band zu sein. Unwillkürlich zog sie die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann ging nebenher, und der Wagen kroch, stark seitlich geneigt, im Schritt voran und streifte den Prellstein. Über alldem flatterte wie ein krächzender Fetzen das nasse, bleierne Wort: *Stadt*, und es brachte im Kopf des Mädchens zahllose Vorstellungen hervor, die flüchtig waren wie der durch die Straßen jagende und ins Wasser stürzende kalte Oktoberglanz.

‘Er wird sich erkälten, schon wenn er die Sachen ablädt, dachte sie von dem ihr unbekanntem Eigentümer. Und sie stellte sich einen Menschen vor – *einen Menschen im allgemeinen, der mit unsicherem, in einzelne Schritte zerfallendem Gang seine Habseligkeiten an verschiedenen Plätzen aufstellte. Lebhaft malte sie sich seine Gesten und Handgriffe aus, vor allem, wie er einen Wischlappen nahm, um den Kübel herumstelte und die vom Sprühregen verschleierte Gummibaumblätter abrieb. Und dann bekäme er Schnupfen, Schüttelfrost und Fieber. Ganz bestimmt. Auch das stellte sich Shenja sehr lebhaft vor. Sehr lebhaft. Das Fuhrwerk holperte bergab zur Isset. Shenja mußte sich links halten.*

Es rührte wohl von schweren Schritten hinter der Tür her. Auf und ab stieg der Tee im Glas, auf dem Tischchen am Bett. Auf und ab stieg die Zitronenscheibe im Tee. Die Sonnenstreifen auf der Tapete schwankten. Sie schwankten wie Säulen, wie die Glaszylinder mit Sirup in den kleinen Läden mit Aushängeschildern, auf denen ein Türke Pfeife raucht. Auf denen ein Kümmeltürke... Pfeife... raucht. Pfeife... raucht.

Es rührte wohl von Schritten her. Die Kranke schlief wieder ein.

Shenja war einen Tag nach Négarates Abreise erkrankt; am gleichen Tag, als sie nach dem Spaziergang erfuhr, daß Aksinja in der Nacht einen Jungen zur Welt gebracht hatte; an dem Tag, als sie beim Anblick des Fuhrwerks mit den Möbeln entschieden hatte, daß ihrem Besitzer der Rheumatismus auflauere. Sie verbrachte zwei Wochen im Fieber, dicht von Schweiß beperl, mit schwerem rotem Paprika, der ihr auf den Lidern und Lippenrändern brannte und sie verklebte. Dieses Schwitzen ging ihr auf die Nerven, und das Gefühl, unförmig dick zu sein, vermischte sich mit dem Empfinden, daß sie gestochen werde. Als sei ihr die Flamme, die sie angefacht hatte, von einer Sommerwespe eingeflößt worden. Als sei deren feiner, winziger Stachel, ein graues Haar, in ihr zurückgeblieben, und als wollte sie ihn mehr als einmal und auf verschiedene Weise herausziehen: bald aus dem violetten Wangenknochen, bald aus der entzündeten, unter dem Nachthemd stöhnenden Schulter, bald wer weiß woher.

Jetzt wurde sie wieder gesund. Das Schwächegefühl trat in allem zutage. Das Schwächegefühl gab sich zum Beispiel auf eigenes Risiko und Gefahr einer seltsamen, *eigenen* Geometrie anheim. Es wurde einem leicht schwindlig und übel davon.

So begann das Schwächegefühl zum Beispiel, ausgehend von irgendeinem Ereignis auf der Bettdecke, Reihen allmählich wachsender Hohlräume auf sie zu schichten, die im Streben des Halbdunkels, die Form eines Platzes anzunehmen, der die Grundlage für diesen Wahnsinn des Raumes abgab, bald ungeheuerlich wurden. Oder es trieb, indem es sich Streifen um Streifen vom Tapetenmuster ablöste, vor den Augen des Mädchens leicht wie auf Öl die Breiten in die Flucht, die sich abwechselten und ebenso wie alle diese Empfindungen durch den regelmäßigen, allmählichen Zuwachs der Dimensionen erschöpften. Oder es peinigte die Kranke mit Tiefen, die sich endlos hinabsenkten und von Anfang an, mit der ersten Platte des Parketts, ihre Bodenlosigkeit verrieten, und ließ das Bett sacht, sehr sacht auf den Grund sinken, und mit dem Bett auch das Mädchen. Ihr Kopf kam in die Lage eines Zuckerwürfels, der in den Strudel eines faden, erschütternd leeren Chaos geschleudert ist und sich darin auflöst und zerrinnt.

Es rührte von der gesteigerten Empfindlichkeit der Ohrlabyrinth her.

Es rührte von Schritten her. Auf und ab stieg die Zitrone. Auf und ab stieg die Sonne auf der Tapete.

Endlich erwachte sie. Die Mutter kam herein, und als sie ihr zur Genesung gratulierte, erweckte sie in dem Mädchen den Eindruck, als ob sie Gedanken lesen könne. Beim Aufwachen hatte sie schon etwas Ähnliches vernommen. Es war der Glückwunsch ihrer eigenen Hände und Füße, Ellbogen und Knie, den sie, sich reckend, empfangen hatte. Ihr Willkommensgruß hatte sie geweckt. Und nun auch Mama. Ein seltsames Zusammentreffen.

Die Hausangehörigen gingen ein und aus, setzten sich und standen auf. Sie stellte Fragen und bekam Antworten. Es gab Dinge, die sich während ihrer Krankheit verändert hatten, und andere, die sich gleichgeblieben waren. An diese rührte sie nicht, jene ließen ihr keine Ruhe. Mama hatte sich offensichtlich nicht verändert. Ganz und gar nicht verändert hatte sich der Vater. Verändert hatten sich: sie selbst, Serjosa, die Verteilung des Lichts im Zimmer, die Stille der andern und noch etwas, vieles. Hatte es geschneit? Nein, nur ein bißchen Schnee war gefallen, wieder geschmolzen, es hatte leichten Frost gegeben, man wurde nicht klug daraus, so nackt, ohne Schnee. Sie merkte kaum, wen sie wonach ausfragte. Die Antworten purzelten übereinander.

Die Gesunden kamen und gingen. Lisa kam. Sie stritten. Dann fiel ihnen ein, daß man Masern nicht zweimal kriegt, und man ließ sie hinein. Dikich kam vorbei. Sie merkte kaum, wer ihr welche Antworten gab.

Als alle zum Mittagessen hinausgingen und sie mit Uljascha allein blieb, erinnerte sie sich, wie alle damals in der Küche über ihre dumme Frage gelacht hatten. Jetzt hütete sie sich, eine ähnliche zu stellen. Sie stellte eine vernünftige, gescheite Frage im Ton eines Erwachsenen. Sie fragte, ob Aksinja wieder schwanger sei. Das Mädchen, das eben ihr Teeglas abräumte, klirrte mit dem Löffelchen und wandte sich ab.

„Liebling!.. Sie muß sich doch erst mal erholen. Sie kann doch nicht andauernd, Shenetschka, in einer Tour...“

Sie rannte hinaus und machte die Tür nicht richtig zu, und die ganze Küche erdröhnte, als ob dort die Regale mit dem Geschirr umgestürzt seien, und dem Gelächter folgte ein hysterisches Geheul, und es fuhr der Aufwartefrau und Galim in die Hände und flammte unter ihren Händen auf und begann zu klappern, behend und eifrig, als sei man von Wortgefechten zu Handgreiflichkeiten übergegangen, und dann näherte sich jemand und schloß die vergessene Tür.

Danach hätte sie nicht fragen sollen. Das war noch dümmmer gewesen.

Was ist das, taut es tatsächlich schon wieder? Ob sie auch heute auf Rädern ausfahren und die Pferde noch immer nicht vor den Schlitten spannen können? Mit erstarrender Nase und frösteln-

den Händen stand Shenja stundenlang am Fenster. Vor kurzem war Dikich gegangen. Er war heute unzufrieden mit ihr. Aber wie soll man lernen, wenn auf den Höfen die Hähne krähen und der Himmel so schrill fiedelt und, wenn der Klang verflogen ist, die Hähne von neuem das Ihrige tun. Die Wolken sind abgewetzt und schmutzig wie eine fadenscheinig gewordene Decke. Der Tag stößt ans Fenster wie ein Kalb in seinem stallwarmen Verschlag. Ob das nicht der Frühling ist? Aber seit Mittag umfängt die Luft wie mit einem Reifen alles mit taubenblauer Eiseskälte, der Himmel wird aufgesogen und versinkt, man hört, wie die Wolken mit einem Pfeifton atmen; wie die vorübereilenden Stunden, während sie der winterlichen Dämmerung, dem Norden zutreiben, das letzte Blatt von den Bäumen reißen, die Rasenflächen scheren, durch Ritzen stechen, schneidend in die Brust dringen. Schwarz schimmern hinter den Häusern die Geschützöffnungen der nördlichen Tiefen; sie sind auf ihren Hof gerichtet und geladen mit einem riesigen November. Aber noch immer ist Oktober.

Aber noch immer ist Oktober. Man erinnert sich nicht, jemals einen solchen Winter erlebt zu haben. Es heißt, daß die Winterisaaten verdorben sind, und man befürchtet Hungersnöte. Es ist, als hätte jemand das Zepter geschwungen und einen Kreis um Schornsteine, Dächer und Starkästen geschlagen. Dort soll Rauch sein, dort Schnee und hier Reif. Doch das eine wie das andere steht noch aus. Die öde, hohlwangige Dämmerung sehnt sich danach. Sie strengt ihre Augen an, von den frühen Laternen und dem Licht in den Häusern schmerzt es die Erde, wie einen der Kopf beim langen Warten vom schwermütigen Stieren der Augen schmerzt. Alles wartet angespannt, das Brennholz ist schon in die Küchen getragen, die Wolken sind schon die zweite Woche bis zum Rand mit Schnee gefüllt, die Luft ist finsternisschwanger. Wann endlich wird er, der Zauberer, der um alles, was das Auge sieht, Zauberkreise gezogen hat, die Beschwörung sprechen und den Winter herbeirufen, dessen Geist schon vor der Tür steht?

Ja, natürlich, sie haben sich nicht um ihn gekümmert! Den Kalender im Schulzimmer hatten sie tatsächlich außer acht gelassen. Abgerissen hatten sie immer nur Shenjas Kinderkalender. Trotzdem! Der 29. August! Pfiffig, wie Serjosa sagen würde. Eine rote Zahl. Die Enthauptung Johannes' des Täufers. Der Kalender ließ sich leicht vom Nagel nehmen. Aus Langeweile beschäftigte sie sich damit, die Blätter abzureißen. Sie führte diese Bewegungen aus, und es war ihr öde dabei, bald begriff sie nicht mehr, was sie tat, aber von Zeit zu Zeit wiederholte sie für sich die Worte: „Der Dreißigste, und morgen ist der Einunddreißigste.“

„Schon den dritten Tag ist sie nicht aus dem Haus gegangen...“

Diese Worte, die vom Korridor herüberdrangen, ließen sie aus ihrer Versunkenheit aufschrecken, sie bemerkte, wie weit sie mit ihrer Tätigkeit gekommen war. Bis kurz vor Mariä Opfer. Die Mutter berührte ihre Hand.

„Sei so lieb, Shenja, sag mir doch...“

Das übrige ging verloren, als ob es niemals gesagt worden sei. Die Tochter fiel der Mutter ins Wort und bat – als spräche sie im Traum – Frau Lüvers, „Die Enthauptung Johannes' des Täufers“ zu sagen. Die Mutter wiederholte die Worte unschlüssig. Sie sagte nicht: „des Däufers“. So sprach es Aksinja aus.

Im nächsten Augenblick wurde Shenja von Verwunderung über sich selbst ergriffen. Was war das nur? Wer veranlaßte sie dazu? Woher kam es? Hatte sie, Shenja, danach gefragt? Oder mußte sie annehmen, daß Mama?.. Wie unwahrscheinlich und märchenhaft! Wer hatte sich das ausgedacht?

Doch die Mutter stand immer noch da. Sie traute ihren Ohren nicht. Sie starrte sie mit weit geöffneten Augen an. Diese Entgleisung machte sie ganz verlegen. Es war wie eine Verhöhnung; in dessen standen der Tochter Tränen in den Augen.

Ihre undeutlichen Vorahnungen erfüllten sich. Auf der Spazierfahrt hatte sie wahrgenommen, daß die Luft milder wurde, daß die Wolken mürbe zu werden begannen und daß sich das Klappern der Hufeisen sanfter anhörte. Das Licht war noch nicht angezündet, als trockene, unscheinbare Schneeflöckchen umherzuirren begannen. Sie hatten aber die Brücke noch nicht hinter sich gelassen, als die einzelnen Flocken verschwanden und sich eine dichte, ineinanderfließende Schneemasse heranwälzte. Dawletscha stieg vom Kutschbock und zog das lederne Verdeck über den Wagen. Für Shenja und Serjoscha wurde es eng und finster. Am liebsten hätte sie in der Art des ringsum wütenden Unwetters getobt. Daß sie von Dawletscha nach Hause gefahren wurden, merkten sie nur daran, daß sie wieder die Brücke unter Wykormysch erdröhnen hörten. Die Straßen waren nicht wiederzuerkennen; die Straßen waren einfach verschwunden. Unvermittelt brach die Nacht herein, und die Stadt bewegte wie von Sinnen viele, viele tausend dicker, bleich gewordener Lippen. Serjoscha beugte sich hinaus, auf die Knie gehockt befahl er, zur Gewerbeschule zu fahren. Shenja war außer sich vor Entzücken, denn sie erkannte alle Geheimnisse und allen Zauber des Winters daran, wie Serjoschas Worte in der Luft klangen. Dawletscha antwortete schreiend, sie mußten nach Haus fahren, um die Pferde zu schonen, die Herrschaften wollten ins Theater, er mußte sie noch vor den Schlitten spannen. Shenja erinnerte sich, daß die Eltern wegfahren wollten und daß sie allein bleiben würden. Sie nahm sich vor, bis spät in die Nacht gemütlich bei Lampenlicht über dem Band mit den „Märchen des Katers Schnurr“ zu sitzen, der noch nichts für Kinder war. Sie würde ihn aus Mamas Schlafzimmer holen müssen. Und auch die Schokolade. Beim Lesen würde sie lutschen und darauf hören, wie es die Straßen zuwehte.

Aber auch jetzt schon stürmte es so, daß einem das Lachen verging. Der Himmel schüttelte sich, und es fielen weiße König-

reiche und Lande von ihm herab, sie schienen ohne Zahl zu sein, und sie waren furchtbar und geheimnisvoll. Und es verstand sich, daß diese wer weiß woher fallenden Länder niemals vom Leben und von der Erde gehört hatten und daß sie, die miternächtigen, sie zuschneiten, ohne sie zu sehen oder von ihr zu wissen.

Betörend furchtbar waren sie, diese Königreiche; vollkommen satanisch begeistert. Shenja war außer sich vor Freude, als sie nach ihnen sah. Die Luft schwankte und griff nach dem ersten besten, das ihr unter die Finger kam, und weit dahinten flehten schmerzlich die Fluren, ach, so schmerzlich, als seien sie mit Peitschen geschlagen worden. Alles kam durcheinander. Die Nacht stürzte sich auf sie, schäumend vor Wut über das graue Haar, das sich da unten verwirrt hatte und das sie peitschte und blendete. Alles jagte für sich allein dahin, winselnd, ohne den Weg zu erkennen. Zuruf und Widerhall erstarben; ohne einander zu begegnen, gingen sie zugrunde, vom Wirbelwind auf verschiedene Dächer verweht. Es stürmte.

Sie stampften im Vorsaal herum und klopfen sich den Schnee von den weißen, aufgedunsenen Pelzjacken. Doch wieviel Wasser rann von den Überschuhen auf das gewürfelte Linoleum! Auf dem Tisch lagen zahlreiche Eierschalen verstreut, der aus der Menage genommene Pfefferstreuer war nicht an seinen Platz zurückgestellt worden, und viel Pfeffer war auf das Tischtuch verschüttet und auch auf das ausgelaufene Eigelb und die Blechdose mit den nicht gegessenen Ölsardinen. Die Eltern hatten ihr Abendbrot schon eingenommen, saßen aber noch im Eßzimmer, um die verspäteten Kinder zur Eile zu veranlassen. Vorwürfe machten sie ihnen nicht, denn sie hatten vorzeitig gegessen, weil sie ins Theater wollten. Die Mutter schwankte, sie war unschlüssig, ob sie fahren sollte oder nicht, und saß sehr trübsinnig da. Bei ihrem Anblick kam es Shenja zu Bewußtsein, daß auch ihr selbst gar nicht froh zumute war — endlich gelang es ihr, diesen abscheulichen Haken zu öffnen —, sondern eher traurig, und als sie ins Eßzimmer trat, fragte sie, wohin die Nußtorte geschafft worden sei. Und der Vater sah die Mutter an und sagte, niemand zwänge sie dazu, und dann sei es schon besser, zu Hause zu bleiben.

„Nein, warum denn, wir fahren“, sagte die Mutter, „ich muß mich zerstreuen; der Doktor hat es ja erlaubt.“

„Wir müssen uns entscheiden.“

„Wo ist denn nun die Torte?“ Wieder mischte sich Shenja ein und bekam zur Antwort, die Torte laufe ihr nicht davon, man könne vor der Torte auch etwas anderes essen, man finge nicht mit Torte an, sie stehe im Schrank; sie tue so, als ob sie zum ersten Mal hier sei und die Ordnung im Haus nicht kenne.

So sprach der Vater, und er wandte sich wieder der Mutter zu und wiederholte: „Wir müssen uns entscheiden.“

„Es ist schon entschieden, wir fahren.“ Die Mutter lächelte Shenja traurig zu und ging sich ankleiden.

Doch Serjoscha, der mit dem Löffel auf das Ei klopfte und aufpaßte, daß er es nicht verfehlte, machte den Vater – wie jemand, der sehr beschäftigt ist – sachlich darauf aufmerksam, daß das Wetter umgeschlagen sei – ein Schneesturm –, damit sich der Vater darauf einstellen konnte, und auf einmal lachte er; mit seiner Nase, die am Auftauen war, ging etwas Garstiges vor: Er begann auf dem Stuhl herumzurutschen und zog dabei das Taschentuch aus der engen Uniformhose; er schneuzte sich, wie es ihm der Vater beigebracht hatte, „damit das Trommelfell nicht beschädigt wird“, griff nach dem Löffel und sagte mit einem direkten Blick nach dem Vater, rotwangig und frischgewaschen von der Spazierfahrt: „Auf der Fahrt haben wir Négarates Bekannten gesehen. Weißt du?“

„Evans?“ warf der Vater zerstreut hin.

„Wir kennen den Mann doch gar nicht“, platzte Shenja erregt heraus.

„Vika!“ tönte es aus dem Schlafzimmer.

Der Vater stand auf und leistete dem Ruf Folge. Auf der Türschwelle stieß Shenja mit Uljascha zusammen, die eine brennende Lampe trug. Kurz darauf wurde die Tür nebenan zugeschlagen. Es war Serjoscha, der in sein Zimmer ging. Heute war er großartig gewesen; die Schwester liebte es, wenn aus dem Freund der Achmedjanows wieder ein kleiner Junge wurde, von dem man sagen konnte, daß er eine schmucke *Gymnasiastentracht* trug.

Türen klappten. Es wurde in Überschuhen herumgestapft. Schließlich fuhr die *Herrschaft* ab.

Der Brief gab zu verstehen, sie sei „bis heute nie eine Zimmerliese gewesen und ihr könnt wie auch bisher um alles bitten, was sein muß“; und als die liebe Schwester, mit Grüßen und Versicherungen des Angedenkens überreich geschmückt, darangegangen war, diese auf die einzelnen Verwandten zu verteilen, dankte Uljascha, die diesmal eine Uljana war, dem Fräulein, schraubte die Lampe herunter, griff nach dem Tintenfläschchen und dem Rest des ölbeschmierten Achtelbogens und ging hinaus.

Dann nahm sie sich wieder der Hausaufgabe an. Sie setzte Periode nicht in Klammern. Sie fuhr fort mit der Division und schrieb eine Periode nach der andern heraus. Es war kein Ende abzusehen. Der Bruch im Quotienten wuchs und wuchs. 'Und wenn ich ein zweites Mal Masern bekomme?' fuhr es ihr durch den Kopf. 'Dikich hat heute irgendwas von der Unendlichkeit gesagt.' Sie begriff nicht mehr, was sie tat. Sie fühlte, daß ihr das heute schon einmal passiert war, und auch in jenem Moment hätte sie schlafen oder weinen mögen, aber sie konnte sich nicht zusammenreimen, wann und was es eigentlich gewesen war, weil sie nicht in der Lage war, es sich zusammenzureimen. Das Rauschen vor dem Fenster ließ nach. Der Schneesturm beruhigte sich allmählich. Dezimalbrüche waren ein völlig neues Gebiet für sie. Rechts reichte der Platz nicht aus. Sie entschloß sich, von vorn anzufangen, kleiner zu schreiben und

jedes einzelne Glied nachzuprüfen. Auf der Straße wurde es ganz ruhig. Sie fürchtete, daß sie sich das bei der Nachbarziffer Geliehene nicht merken und das Produkt nicht im Kopf behalten könnte. 'Das Fenster läuft mir nicht weg', dachte sie und fuhr fort, Dreier und Siebener in den bodenlosen Quotienten zu schütten, 'ich werde sie schon rechtzeitig hören: Ringsum ist es still, und so schnell kommen sie nicht herauf: in ihren Pelzen, und Mama ist außerdem schwanger; also das jst es; die 3773 wiederholt sich, kann man sie einfach übertragen oder damit aufhören?' Plötzlich fiel ihr ein, daß ihr Dikich heute gesagt hatte, man brauche es nicht zu tun, sondern könne sie einfach weglassen. Sie stand auf und trat ans Fenster.

Draußen klarte es auf. Einzelne Flocken schwebten aus der schwarzen Nacht herab. Sie schwebten auf die Straßenlampe zu, umschwebten sie und entschwanden, sich drehend und wendend, den Blicken. An ihrer Statt schwebten neue heran. Die Straße glitzerte, bedeckt mit einem Schlittenteppich von Schnee. Weiß war er, süß und erlesen wie die Lebkuchen im Märchen. Shenja stand am Fenster, in den Anblick der Figuren und Kringel versunken, die Andersens silberne Schneeflöckchen an der Laterne bildeten. Sie stand und stand und ging schließlich in Mamas Zimmer, um den „Kater“ zu holen. Sie ging ohne Licht hinein. Man konnte es auch so erkennen. Das Schuppendach übergoß das Zimmer mit unruhigem Funkeln. Die Betten vereisten unter dem Seufzer dieses riesigen Daches und erglänzten. Achtlos hingeworfen lag hier rauchfarbene Seide. Die winzigen kleinen Blusen verströmten einen drückenden Dunst nach Schweißblättern und Kaliko. Es roch nach Veilchen, und der Schrank war bläulich und schwarz wie da draußen die Nacht und jenes trockene, warme Dunkel, in dem sich das zu Eis werdende Glitzern regte. Wie eine einsame Glasperle funkelte eine Metallkugel am Bett. Die zweite war von einem darübergeworfenen Hemd ausgelöscht. Shenja kniff die Augen zusammen, die Glasperle löste sich von ihrer Grundfläche und schwebte zur Garderobe. Shenja entsann sich, weshalb sie gekommen war. Das Buch in der Hand, ging sie zu einem der Schlafzimmerfenster. Die Nacht war sternenklar. In Jekaterinburg war der Winter eingezogen. Sie sah auf den Hof hinaus und mußte an Puschkin denken. Sie entschloß sich, den Repetitor zu bitten, daß er sie einen Aufsatz über den Oregin schreiben ließ.

Serjosha hatte Lust, ein wenig zu schwatzen. Er fragte: „Hast du dich parfümiert? Gib mir auch etwas davon.“

Er war den ganzen Tag über sehr lieb gewesen. Sehr rotwangig. Sie dachte, daß sie einen zweiten Abend wie diesen vielleicht nicht erleben würde. Sie wollte allein sein.

Shenja ging zurück in ihr Zimmer und nahm sich die „Märchen“ vor. Sie las eine Geschichte und begann mit angehaltenem Atem die zweite. Sie war so hingerissen, daß sie nicht hörte, wie sich ihr Bruder auf der anderen Seite der Wand schlafen legte. Ein seltsames Spiel bemächtigte sich ihres Gesichts. Sie merkte

nichts davon. Bald verzerrten sich ihre Züge fischartig; sie ließ die Lippe herabhängen, und die starren Pupillen, die vom Entsetzen an die Buchseite gekettet waren, weigerten sich aufzublicken aus Furcht, genau dasselbe hinter der Kommode zu entdecken. Bald begann sie dem Gedruckten zuzunicken, wohlwollend, wie man eine Handlung billigt und sich über die Wendung der Dinge freut. Sie verzögerte die Lektüre bei der Beschreibung der Seen, und sie stürzte sich Hals über Kopf in das Gewühl der nächtlichen Szenen mit dem Stückchen abbrennenden bengalischen Feuers, auf dessen Licht sie angewiesen war. An einer Stelle rief der Verirrte immer wieder und lauschte, ob nicht eine Antwort ertönte, und er vernahm die Antwort — das Echo. Shenja konnte die Anspannung des Kehlkopfs nur durch ein Husten lockern. Der nichtrussische Name „Myrrha“ riß sie aus der Erstarrung. Sie legte das Buch beiseite und begann nachzusinnen. ‘Was für ein Winter das ist, in Asien! Was die Chinesen wohl tun in so einer finsternen Nacht?’ Shenjas Blick fiel auf die Uhr. ‘Wie gruselig muß es bei den Chinesen sein, wenn es so finster ist.’ Von neuem glitt Shenjas Blick zur Uhr, und sie erschrak. Jeden Moment konnten die Eltern hiersein. Es war schon die zwölfte Stunde. Sie löste ihre Schuhriemen und dachte daran, daß sie das Buch an seinen Platz zurückbringen müßte.

Shenja fuhr plötzlich hoch: Mit weit aufgerissenen Augen setzte sie sich im Bett auf. Das war kein Einbrecher. Es waren viele, und sie stampften und sprachen laut wie am Tag. Auf einmal schrie jemand gellend auf, als würde er abgestochen, und es wurde etwas getragen und Stühle umgeworfen. Eine Frau hatte geschrien. Nach und nach erkannte Shenja alle wieder: alle außer der Frau. Ein unglaubliches Hinundherrennen begann. Türen klappten. Als eine weiter entfernte ins Schloß fiel, war es, als werde der Frau der Mund zugehalten. Aber die Tür ging wieder auf, und das Haus wurde von einem glühenden, zerfetzenden Kreischen versengt. Shenja sträubte sich die Haare: Jene Frau war ihre Mutter; sie *erriet* es. Uljascha jammerte laut, und einmal konnte sie die Stimme des Vaters erhaschen, doch dann hörte sie ihn nicht mehr. Serjoscha wurde in ein anderes Zimmer geschubst, er brüllte: „Aber schließt mich ja nicht ein!“ — „Es sind ja die Unseren“, rief Shenja, und sie stürzte, wie sie war, barfuß und nur im Hemd, hinaus auf den Flur. Der Vater hätte sie fast umgerannt. Er war noch im Mantel, und im Vorüberlaufen schrie er Uljascha etwas zu.

„Papa.“

Sie sah, wie er mit einem marmornen Krug aus dem Badezimmer zurückgerannt kam.

„Papa!“

„Wo ist Lipa?“ rief er im Laufen, mit veränderter Stimme.

Wasserspritzer auf dem Boden hinterlassend, verschwand er hinter einer Tür, und als er einen Moment später, in Hemdsärmeln, ohne Jackett, auf den Flur hinaussah, lag Shenja in Uljaschas Armen, ohne ihr verzweifelt inbrünstiges, heulendes Geflüster zu hören.

„Was ist mit Mama?“

Statt zu antworten, wiederholte Uljascha immer nur das eine: „Du darfst doch nicht, Shenetschka, nicht, du darfst nicht, schlaf, Liebling, schlaf ein, deck dich zu, leg dich auf die Seite. Aach, mein Herrgott!.. Liebes! Du darfst doch nicht“, sprach sie vor sich hin, während sie Shenja zudeckte wie in kleines Kind und sich zu gehen ansickte.

„Du darfst nicht, du darfst nicht“, aber sie sagte nicht, was sie nicht durfte, ihr Gesicht war naß, und die Haare waren zerzaust. An der dritten Tür wurde hinter ihr der Schlüssel umgedreht.

Shenja zündete ein Streichholz an, um zu sehen, ob es nicht bald dämmerte. Aber es war erst kurz nach zwölf. Das wunderte sie sehr. Hatte sie tatsächlich nicht eine einzige Stunde geschlafen? Aber drüben, in den elterlichen Räumen, ebte der Lärm nicht ab. Die Jammerschreie zerplatzten in der Luft, sie sprangen aus der Hülse und bellten los. Dann trat für einen Augenblick ausgedehnte, ewige Stille ein. In sie fielen überstürzte Schritte und ein behutsames, rascher werdendes Gemurmel. Dann schellte die Glocke, dann noch einmal. Dann gab es so viele Worte, Widerworte und Befehle, daß man den Eindruck gewann, die Zimmer versänken dort, in den Stimmen, wie Tische unter tausend erloschenen Kandelabern.

Shenja schlief ein. Sie schlief ein unter Tränen. Es träumte ihr, daß sie Gäste hätten. Sie zählte sie und verzählte sich dauernd. Jedesmal stellte sich heraus, daß es einer mehr war. Und jedesmal wurde sie bei diesem Irrtum vom gleichen Grauen gepackt wie in dem Moment, als sie begriffen hatte, daß dies nicht jemand anders war, sondern Mama.

Wie hätte man sich nicht über den reinen, klaren Morgen freuen sollen! Serjoscha schwebten Spiele auf dem Hof, Schneebälle, Schlachten mit den Nachbarskindern vor. Der Tee wurde ihnen im Schulzimmer serviert. Man sagte, im Eßzimmer seien die Parkettbohner am Werk. Der Vater kam herein. Sofort zeigte sich, daß er nichts von den Bohnern wußte. Er wußte tatsächlich nichts davon. Er teilte ihnen den wirklichen Grund der Umquartierung mit. Die Mutter war erkrankt. Sie brauchte Ruhe.

Über der weißen Straßendecke flogen mit ungehindertem, sich weit ausbreitendem Gekrächz die Krähen dahin. Ein kleiner Schlitten sauste vorbei und stieß das Pferdchen. Es hatte sich noch nicht an das neue Gespann gewöhnt und kam immer wieder aus dem Tritt.

„Du fährst zu den Defendows, ich habe schon alles veranlaßt. Und du...“

„Warum?“ fiel ihm Shenja ins Wort.

Doch Serjoscha hatte erraten, weshalb, und kam dem Vater zuvor.

„Damit du dich nicht ansteckst...“, belehrte er die Schwester.

Doch etwas auf der Straße hinderte ihn fertigzusprechen. Er lief zum Fenster, als winkte jemand von dort. Der Tatar, der im neuen Aufputz aus dem Haus trat, war schmuck und stattlich wie ein Fasan. Er trug eine Schaffellmütze. Die nicht überzogene Rückseite des Fells brannte glühender als Saffianleder. Er ging watschelnd und etwas schwankend, deshalb wohl, weil die himbeerrote Bemalung seiner weißen Filzstiefel nichts von dem Bau der menschlichen Fußsohle wußte: So willkürlich war die Linienführung dieser Ornamente, die sich wenig darum kümmerte, ob es sich um Füße oder Teetassen oder Vordächer handelte. Das Merkwürdigste aber – in diesem Augenblick wurde das Stöhnen, das schwach aus dem Schlafzimmer herüberdrang, stärker, der Vater ging auf den Flur und verbot ihnen hinterherzukommen –, das Merkwürdigste waren die Spuren, die er eng und reinlich aufgefädelt auf dem geglätteten Grasplatz hinterließ. Angesichts ihrer, die modelliert und adrett waren, schien der Schnee noch weißer und seidenartiger zu sein.

„Hier ist ein Brief. Den gibst du Herrn Defendow. Ihm persönlich. Verstehst du? Nun zieht euch an. Man wird euch sofort hinbringen. Geht über die Hintertreppe hinaus. Und dich erwarten Achmedjanows.“

„Sie erwarten mich schon?“ fragte der Sohn spöttisch.

„Ja. Zieht euch in der Küche an.“

Er sprach unkonzentriert, und ohne Eile ging er mit ihnen in die Küche, wo ihre Pelzjacken, Mützen und Fausthandschuhe auf einem Hocker aufgetürmt waren. Von der Treppe her wehte sie winterliche Luft an. «Ejioch!» Der eisige Schrei eines vorüberjagenden Schlittens blieb in der Luft zurück. Sie beeilten sich und fanden nicht gleich die Ärmel. Die Sachen rochen nach Truhe und schlaftrunkenem Pelz.

„Was trödelst du?“

„Stell es nicht an den Rand. Es fällt runter. Na, was ist?“

„Sie stöhnt andauernd.“ Das Zimmermädchen raffte ihre Schürze, bückte sich und warf ein paar Holzscheite unter die vom Feuer ätzende Herdplatte. „Geht mich ja nichts an“, sagte sie entrüstet und lief wieder in die Wohnräume zurück.

In einem abgewetzten, schwarzen Eimer lag zerbrochenes Glas, und gelb schimmerten Rezepte. Handtücher waren mit wirrem, geklumptem Blut getränkt. Sie loderten. Man hätte sie zerstampfen mögen wie glühende, fauchende Asche. In den Töpfen siedete nutzloses Wasser. Ringsumher standen weiße Schalen und Mörser von seltsamer Form wie in der Apotheke.

Auf dem Flur hackte der kleine Galim Eis in Stücke.

„Ist noch viel vom Sommer übrig?“ fragte Serjoscha.

„Bald gibt es neues.“

„Laß mich mal. Du schlägst es ja sinnlos kaputt.“

„Wieso denn sinnlos? Es muß ganz klein gehackt werden. Ganz klein für die Flaschen.“

„Na! Bist du soweit?“

Doch Shenja lief noch einmal in die Wohnung zurück. Serjosa trat hinaus auf die Treppe, und während er auf die Schwester wartete, trommelte er mit einem Holzscheit auf das eiserne Geländer.

8

Bei den Defendows setzte man sich eben zum Abendessen. Die Großmutter wiegte sich leicht im Sessel, als sie das Kreuz schlug. Die Lampe brannte trübe und schmokte; bald wurde sie zu fest geschraubt, bald allzu locker gelassen. Defendows hagere Hand streckte sich oft nach der Schraube aus, und wenn er sie langsam von der Lampe zurückzog und sich langsam auf seinen Platz sinken ließ, bebte die Hand ganz leicht, aber gar nicht greisenhaft, sondern so, als nähme er ein bis an den Rand gefülltes Schnapsglas. Seine Fingerspitzen bebten unter den Nägeln.

Er sprach mit bedächtiger, sicherer Stimme, als setze er seine Rede nicht aus Lauten zusammen, sondern forme sie aus den Buchstaben, und er sprach alles aus, selbst das Härtezeichen.

Der leicht geschwellte Lampenhals, der von Geranien- und Heliotropenranken umgeben war, glühte. Scharenweise strömten die Küchenschaben der Hitze des Glases entgegen, und behutsam rückten die Uhrzeiger vor. Die Zeit kroch winterlich dahin. Hier trieb sie Schwären. Auf dem Hof erstarrte sie, die stinkende. Vor dem Fenster, auf der Straße, lief sie auf und ab, trippelte und verdoppelte und verdreifachte sich in den Lichtpünktchen.

Frau Defendowa trug die Leber auf. Das mit Zwiebeln zubereitete Gericht dampfte. Herr Defendow sagte etwas, dabei wiederholte er mehrmals das Wort „ich empfehle“, Lisa plapperte unaufhörlich, doch Shenja hörte sie beide nicht. Schon gestern hätte das Mädchen weinen mögen. Jetzt aber verspürte sie großes Verlangen danach. In diesem Jäckchen, das doch nach den Anweisungen ihrer Mutter genäht war.

Defendow begriff, was in ihr vorging. Er versuchte sie abzulenken. Doch bald sprach er mit ihr wie mit einem kleinen Kind, bald verfiel er ins andere Extrem. Seine scherzhaften Fragen schüchterten sie ein und verwirrten sie. Und dies, weil er die Seele der Tochterfreundin im Finstern abtastete, als fragte er ihr Herz, wie alt es sei. Er gedachte, sobald er einen Wesenszug von Shenja *unfehlbar* erhascht hätte, auf dem Abgelisteten zu spielen und dem Kind zu helfen, damit es nicht an zu Hause dächte, doch erinnerte er sie mit seinem Ausforschen daran, daß sie unter Fremden war.

Plötzlich ertrug sie es nicht mehr, sie erhob sich und murmelte kindlich verlegen: „Danke. Ich bin wirklich satt. Könnte ich mir vielleicht Bücher mit Bildern ansehen?“ Und sie setzte, angesichts

der allgemeinen Verwunderung jäh errötend, mit einer Kopfbewegung nach dem Nebenzimmer hinzu: „Walter Scott. Darf ich?“

„Geh nur, geh, mein Herz!“ brummelte die Großmutter, dabei bannte sie Lisa mit den Augenbrauen auf ihren Platz.

„Das Kind kann einem leid tun“, bemerkte sie zu ihrem Sohn, als sich die Hälften der bordeauxroten Portiere hinter Shenja geschlossen hatten.

Die düsteren Jahrgänge des „Nordens“ neigten das Bücherregal nach einer Seite, und unten schimmerte mattgolden der gesammelte Karamsin. Von der Decke senkte sich eine rosa Laterne herab, die ein Paar dürftiger kleiner Sessel unbeleuchtet ließ, und der bescheiden in völliges Dunkel getauchte Teppich war für den Fuß überraschend.

Shenja hatte gedacht, daß sie dort hineingehen, sich setzen und zu heulen anfangen würde. Aber die Tränen standen ihr in den Augen, und dennoch konnten sie die Traurigkeit nicht sprengen. Wie sollte sie diese seit gestern wie ein Balken auf ihr lastende Beklommenheit loswerden? Die Tränen vermochten ihrer nicht Herr zu werden, es fehlte ihnen an Kraft, die Schleusen zu öffnen. Um ihnen zu helfen, begann sie an die Mutter zu denken.

Zum ersten Mal in ihrem Leben, während sie sich anschickte, bei fremden Menschen zu übernachten, ermaß sie die Tiefe ihrer Anhänglichkeit an dieses teure, das kostbarste Wesen auf Erden.

Unvermittelt hörte sie Lisas Lachen hinter der Portiere.

„Ach, du Wildfang, du Schlingel!..“ Die Großmutter wurde von einem Hustenanfall geschüttelt.

Shenja wunderte sich, daß sie das Mädchen früher zu lieben geglaubt hatte, dessen Lachen nebenan und dennoch so weit entfernt, so überflüssig für sie ertönte. Und es kehrte sich etwas in ihr um und ließ den Tränen genau in dem Augenblick freien Lauf, als die Mutter in ihrer Erinnerung auftauchte: als die Leidende, die in der Reihe der gestrigen Tatsachen stehengeblieben war wie in einer Gruppe Geleitender, und die dort, weit hinter ihr, herumgewirbelt wurde vom Zug der Zeit, der Shenja mit sich forttrug.

Doch ganz und gar nicht zu ertragen war der durchdringende Blick, den Frau Lüvers gestern abend im Schulzimmer auf sie geheftet hatte. Er grub sich in das Gedächtnis ein und verließ es nicht mehr. Zu ihm trat alles, was Shenja jetzt erlitt, in Beziehung. Als ob dies etwas sei, das man annehmen mußte, wenn man es schätzte, und das man vergaß, wenn man es geringachtete.

Man konnte den Kopf verlieren bei diesem Gefühl, so sehr machte einen seine tolle, trunkene Bitternis und Ausweglosigkeit schwindeln. Shenja stand am Fenster und weinte lautlos; die Tränen rannen ihr herab, und sie wischte sie nicht ab: Ihre Hände waren beschäftigt, obwohl sie nichts darin hielt. Sie waren energisch, jäh und eigensinnig gestreckt.

Ein überraschender Gedanke durchzuckte sie. Sie spürte auf einmal, daß sie Mama *schrecklich* ähnlich war. Dieses Gefühl ver-

band sich mit der Empfindung einer lebhaften Untrüglichkeit, fähig, die Vermutung zur Tatsache zu machen, wenn es diese auch noch nicht gab, und sie allein durch die Kraft dieses erschütternd-süßen Zustandes der Mutter ähnlich werden zu lassen. Das Gefühl war so durchdringend und schneidend, daß sie aufstöhnte. *Es war die Empfindung einer Frau, die aus dem Innern oder im Innern selbst ihre äußere Gestalt und Anmut erblickt.* Shenja konnte sich nicht klar darüber werden. Sie erlebte dies zum ersten Mal. Doch in einem täuschte sie sich nicht. So hatte Frau Lüvers einst, in innerem Aufbruch, von der Tochter und der Gouvernante abgewandt, sich auf die Lippen beißend, am Fenster gestanden und mit dem Lorgnon auf ihre Glacéhandschuhe geklopft.

Sie ging hinüber zu den Defendows, von Tränen berauscht und aufgehellt, und sie kam nicht mit ihrem eigenen, sie kam mit verändertem Schritt, der weit ausholend, träumerisch zerstreut und neu war. Beim Anblick der Eintretenden spürte Herr Defendow, daß jene Vorstellung von dem kleinen Mädchen, die sich während ihrer Abwesenheit in ihm geformt hatte, untauglich war. Und er hätte sich damit beschäftigt, eine neue zu formen, wenn der Samowar nicht gewesen wäre.

Frau Defendowa ging in die Küche, um das Tablett zu holen, und ließ ihn auf dem Boden stehen, und aller Augen begegneten sich auf dem vor Hitze schnaufenden Kupfer, als sei es etwas Lebendiges, dessen kecke Unberechenbarkeit im gleichen Augenblick enden würde, da man es auf den Tisch stellte. Shenja setzte sich auf ihren Platz. Sie beschloß, mit allen das Gespräch aufzunehmen. Undeutlich spürte sie, daß die Wahl des Gesprächsstoffs jetzt bei ihr lag. Sonst würde man sie in ihrer vorherigen Einsamkeit bestärken, ohne zu sehen, daß ihre Mutter hier war, mit ihr und in ihr selbst. Doch diese Kurzsichtigkeit würde ihr – und vor allem Mama – Schmerz bereiten. Und als sei sie von letzterer ermuntert worden, wandte sie sich mit den Worten „Wassa Wassiljewna“ an Frau Defendowa, die den Samowar mühsam am Rand des Tablett niedersetzte...

„Kannst du gebären?“

Lisa antwortete Shenja nicht sofort.

„Pst, leise, schrei doch nicht so. Natürlich, wie alle Mädchen.“ – Sie sprach im Flüsterton, mit abgerissenen Silben.

Shenja sah nicht das Gesicht ihrer Freundin. Lisa ließ die Hand suchend über den Tisch gleiten, doch fand sie die Streichhölzer nicht.

Sie wußte auf diesem Gebiet viel mehr als Shenja; sie wußte *alles*, wie es die Kinder wissen, wenn sie es aus den Worten Fremder erfahren. In solchen Fällen pflegen sich Wesen, die dem Schöpfer ans Herz gewachsen sind, aufzulehnen, sie empören sich und werden menschen-scheu. Ohne Anormalität vermögen sie der Heimsuchung nicht zu widerstehen. Unnatürlich wäre das Gegenteil, und kindliches Irresein zu diesem Zeitpunkt ist nichts als das Siegel einer inneren Unversehrtheit.

Irgendwann einmal hatte man Lisa in einem Winkel tuschelnd allerhand von verschiedenen Leidenschaften und Scheußlichkeiten vorgeschwatzt. Doch verschlug ihr das Gehörte nicht die Sprache, sie trug alles in ihrem Kopf durch die Straßen und brachte es bis nach Hause. Sie verlor unterwegs nichts von dem Gesagten, und sie bewahrte den ganzen Plunder auf. Sie hatte alles in Erfahrung gebracht. Ihr Organismus flammte nicht auf, das Herz schlug nicht Alarm, und die Seele züchtigte das Hirn nicht deswegen, daß es sich erküht hatte, unabhängig von ihr, an ihr vorbei etwas in Erfahrung zu bringen, nicht aus ihrem eigenen Mund, und ohne sie, die Seele, um Erlaubnis zu fragen.

„Ich weiß.“ (‘Gar nichts weißt du’, dachte Lisa.) „Ich weiß“, wiederholte Shenja. „Danach frage ich nicht. Sondern danach, ob du fühlst, daß du einen Schritt machen wirst— und auf einmal gebierst du, nun ja...“

„Komm doch rein!“ sagte Lisa mit belegter Stimme und unterdrückte ihr Lachen. „Was brüllst du denn so von dort. Von der Tür können sie doch alles hören!“

Das Gespräch fand in Lisas Zimmer statt. Lisa sprach so leise, daß man es von dem kleinen Waschbecken tropfen hörte. Sie hatte die Streichhölzer schon gefunden, zögerte aber noch, Licht zu machen, weil sie außerstande war, ihren auseinanderstrebenden Wangen einen ernsthaften Ausdruck zu verleihen. Sie wollte die Freundin nicht kränken. Und sie schonte ihre Unwissenheit, weil es ihr gar nicht in den Sinn kam, daß man anders davon erzählen könnte als mit den Ausdrücken, die hier zu Hause, vor der Freundin, die nicht in die Schule ging, unaussprechlich waren. Sie zündete die Lampe an. Zum Glück stellte es sich heraus, daß der Eimer bis an den Rand voll war, und Lisa begann den Boden aufzuwischen, um einen neuerlichen Lachanfall in ihrer Schürze und im Klatschen des Scheuerlappens zu verhehlen, schließlich aber lachte sie offen heraus, es gab einen Anlaß: Der Kamm war in den Eimer gefallen.

All diese Tage über wußte sie nichts anderes, als daß sie an die Ihren dachte und die Stunde erwartete, da man sie abholen würde. Doch inzwischen zog sich Shenja vormittags, wenn Lisa ins Gymnasium gegangen war und nur die Großmutter im Haus zurückblieb, ebenfalls an und spazierte durch die Straßen.

Das Leben in der Vorstadt glich kaum dem Leben in der Gegend, wo Lüvers' wohnten. Fast den ganzen Tag über war es hier kahl und langweilig. Es gab nichts, worauf das Auge behaglich verweilen konnte. Was immer ihm begegnete, nichts taugte zu etwas Besserem als günstigstenfalls zu einer Rute oder einem Besenwisch. Kohle lag herum. Schwarzes Spülicht floß auf die Straße und wurde augenblicklich weiß, wenn es zu Eis gefror. Zu bestimmten Stunden war die Straße von einfachen Leuten erfüllt. Fabrikarbei-

ter krochen wie Küchenschaben über den Schnee. Die Türen der Teestuben glitten in ihren Blöcken hin und her, und Wogen von seifigem Dampf fluteten heraus wie aus einer Waschküche. Es war merkwürdig, so, als würde es auf der Straße wärmer, als wäre die Wende zum Frühling gekommen, wenn die frisch gedämpften Hemden gebückt ihres Weges gingen und die Filzstiefel über den fadenscheinigen Beinkleidern vorbeihuschten. Die Tauben hatten keine Furcht vor dieser Menge. Sie flogen zu dem Weg hinüber, auf dem ebenfalls Futter zu finden war. Ob im Schnee zu wenig Hirse, Hafer und Mist verstreut lagen? Die Bude der Piroggenverkäuferin glänzte vom Fett und von der Wärme. Dieser Glanz und diese Glut verschwanden in fuselgespülten Mündern. Das Fett heizte den Kehlen ein. Und dann schlüpfte es unterwegs aus den beschleunigt atmenden Brüsten. Wurde die Straße vielleicht davon warm?

Ebenso unerwartet verödete sie wieder. Die Dämmerung brach herein. Lastschlitten fuhren unbeladen vorbei, Bauernschlitten sausten mit bärtigen Männern vorüber, die tief in den Pelzen steckten, welche ihnen mutwillig auf den Rücken geplumpst waren und sie mit Bärenatzen umschlungen hielten. Büschel traurigen Heus und das langsame, sanfte Dahinschmelzen des sich entfernenden Glöckchens blieben von ihnen auf dem Weg zurück. Die Kaufleute verschwanden an der Wegbiegung, hinter den schwächtigen Birken, die von hier aus einem zerfetzten Staketenzaun ähnelten.

Hierher kam der Krähenschwarm geflogen, der unbekümmert krächzend über ihr Haus gejagt war. Hier aber krächzten sie nicht. Nachdem sie einen Schrei ausgestoßen und ihre Flügel gerefft hatten, ließen sie sich hüpfend auf den Zäunen nieder und brausten dann plötzlich, wie auf ein Zeichen, gleich einer Wolke davon, um die Bäume in Augenschein zu nehmen, und setzten sich mit großem Gedränge auf die entlaubten Äste. Ach, wie spürte man da, welch späte, späte Stunde es auf der weiten Welt geschlagen hatte! So, ach, so, wie keine Uhr es anzuzeigen vermag!

So verging eine Woche, und gegen Ende der zweiten, am Donnerstag, im Morgengrauen, sah sie ihn wieder. Lisas Bett war leer. Erwachend hörte Shenja, wie die Gartentür hinter ihr zuschlug. Sie stand auf und ging, ohne Licht zu machen, zum Fenster. Es war noch völlig dunkel. Aber man spürte, daß dem Himmel, den Zweigen der Bäume und den Bewegungen der Hunde die gleiche Schwere eigen war wie am Tag zuvor. Das düstere Wetter hielt schon drei Tage an, und die Kräfte fehlten, es von der mürbe gewordenen Straße zu ziehen, wie einen gußeisernen Topf vom knorrigem Dielenbrett.

In einem Fenster auf der anderen Straßenseite war eine Lampe angezündet. Zwei blendendhelle Streifen fielen auf den Erdboden, wo ein Pferd wartete, und legten sich um die zottigen Fesseln des

Tieres. Es bewegten sich die Schatten auf dem Schnee, es bewegten sich die Ärmel des Gespenstes, das seine Pelzschöße übereinanderschlug, es bewegte sich das Licht im verhängten Fenster. Doch das Pferd stand völlig still und dämmerte vor sich hin.

Dann sah sie ihn. Sie erkannte ihn auf der Stelle an seinem Umriß. Der Lahme hob die Lampe hoch und entfernte sich mit ihr. Hinter ihm kamen die beiden blendendhellen Streifen, sich krümmend und dehnend, in Bewegung und hinter den Streifen auch der Schlitten, der plötzlich aufflammte und noch plötzlicher ins Dunkel geschleudert wurde, als er langsam um das Haus zur Vortreppe fuhr.

Es war seltsam, daß sie Zwetkow auch hier, in der Vorstadt, wieder zu Gesicht bekam. Doch war Shenja nicht verwundert darüber. Er interessierte sie wenig. Bald wurde die Lampe von neuem sichtbar, und nachdem sie leicht über die Vorhänge hingeglitten war, begann sie sich wieder zurückzuziehen, als sie auf einmal direkt hinter dem Vorhang erschien, auf dem Fensterbrett, von dem sie genommen worden war.

Das war am Donnerstag. Und am Freitag ließ man sie endlich heimholen.

9

Als die Übungen am zehnten Tag nach ihrer Rückkehr, nach mehr als dreiwöchiger Unterbrechung, wiederaufgenommen wurden, erfuhr Shenja alles andere von dem Repetitor. Nach dem Mittagessen machte der Doktor sich reisefertig und brach auf, und sie bat ihn, das Haus, in dem er sie im Frühjahr untersucht hatte, und alle Straßen und die Kama zu grüßen. Er bekundete die Hoffnung, daß man ihn nun nicht mehr aus Perm kommen lassen müsse. Sie begleitete den Mann bis zum Tor, der sie am Morgen ihrer Übersiedlung von den Defendows, während Mama noch schlief und sie nicht zu ihr gelassen wurde, mit solchem Entsetzen erfüllt hatte, als er auf ihre Frage, woran jene leide, damit begonnen hatte, sie zu erinnern, daß die Eltern in jener Nacht im Theater waren. Und als sie nach Ende der Vorstellung hinaustraten, hatte der Hengst...

„Wykormysch?!“

„Ja, wenn er so genannt wird...“ Wykormysch also hatte auf einmal ausgeschlagen, sich aufgebäumt, jemanden, der gerade vorüberging, überrannt und niedergestampft und...

„Was? Zu Tode getreten?“

„Leider!“

„Und Mama?“

„Und Mama hat einen Nervenschock erlitten“, und er lächelte, da es ihm auf diese Weise gerade noch gelungen war, dem Mädchen sein lateinisches „partus praematurus“ verständlich zu machen.

„Und dann kam das tote Brüderchen zur Welt?“

„Wer hat Ihnen das gesagt?.. Ja.“

„Aber wann? Vor ihren Augen? Oder haben sie ihn schon leblos vorgefunden? Antworten Sie mir nicht. Wie schrecklich! Jetzt verstehe ich. Er war schon tot, sonst hätte ich ihn auch in ihrer Abwesenheit gehört. Ich habe doch gelesen. Bis tief in die Nacht. Da hätte ich es gehört. Aber wann hat er denn gelebt? Doktor, gibt es so etwas wirklich? Ich bin sogar einmal ins Schlafzimmer gegangen. Er war tot. Ganz bestimmt!“

Welch ein Glück, daß jene Beobachtung im Morgenrauen bei den Defendows erst von gestern stammte und das Furchtbare vor dem Theater mehr als zwei Wochen zurücklag! Welch ein Glück, daß sie ihn erkannt hatte! Undeutlich kam ihr zu Bewußtsein, daß sie, wenn er ihr die ganze Zeit über nicht vor Augen gekommen wäre, jetzt, nach den Worten des Doktors, unweigerlich zu der Schlußfolgerung gelangt wäre, am Theater sei der Lahme überfahren worden.

Und nun, nachdem der Doktor so lange Zeit bei ihnen zu Gast gewesen und schon völlig zu ihnen gehörte, reiste er ab. Doch am Abend kam der Repetitor. Tagsüber hatten sie gewaschen. In der Kirche wurde die Wäsche gemangelt. Der Rauhreif löste sich von den Fensterrahmen, und der Garten kam ganz nah an die Scheiben und rückte, sich in den Spitzengardinen verfangend, bis an den Tisch heran. In das Gespräch mischte sich brüsk das kurze Holpern der Rolle ein. Wie alle, fand auch Dikich, daß sie verändert war. Doch auch sie fand ihn anders als sonst.

„Weshalb sind Sie so traurig?“

„Tatsächlich? Das ist schon möglich. Ich habe einen Freund verloren.“

„Da haben Sie ebenfalls Kummer? Wieviel Todesfälle, und alle auf einmal!“ seufzte sie.

Doch als er ihr eben erzählen wollte, was mit ihm war, geschah etwas Unerklärliches. Das Mädchen wurde plötzlich anderen Sinnes hinsichtlich der Menge dieser Todesfälle, und da sie offenbar vergessen hatte, welchen Halt ihr die an jenem Morgen erblickte Lampe geboten, sagte sie mit großer Erregung: „Warten Sie. Sie waren doch einmal bei dem Tabakhändler, Négarate war im Begriff abzureisen; ich sah Sie, und es war noch jemand bei Ihnen. War es der?“ Sie wagte nicht „Zwetkow?“ zu sagen.

Dikich war bestürzt, als er hörte, wie diese Worte ausgesprochen wurden; er rief sich das Heraufbeschworene ins Gedächtnis und erinnerte sich, daß sie damals tatsächlich Papier einkaufen gegangen waren und auch nach dem gesammelten Turgenew für Frau Lüvers gefragt hatten; ja, richtig, sie waren zu zweit gewesen, er und der Tote. Sie erbebte, und Tränen traten ihr in die Augen. Doch das Wichtigste stand ihr noch bevor.

Als sich Dikich, der Shenja mit Unterbrechungen, in denen das Mangelbrettrumpeln der Rolle zu hören war, erzählt hatte,

was für ein prächtiger junger Mann jener gewesen war und welcher guten Familie er entstammte, eine Zigarette anzündete, begriff sie voll Entsetzen, daß nur der Zug aus der Zigarette den Repetitor von der Wiederholung dessen schied, was der Doktor berichtet hatte, und als er den Versuch machte und ein paar Worte hervorbrachte, unter denen auch das Wort „Theater“ war, schrie Shenja mit sonderbarer Stimme auf und stürzte aus dem Zimmer.

Dikich lauschte. Außer dem Geräusch der Wäschemangel war im Haus nicht das geringste zu vernehmen. Er erhob sich gleich einem Storch. Er reckte den Hals und hob den Fuß, bereit, dem Mädchen zu Hilfe zu eilen. Er machte sich daran, sie zu suchen, denn er war zu dem Schluß gekommen, daß niemand zu Hause sei und daß sie die Besinnung verloren habe. Und während er sich im Dunkeln an den rätselhaften Dingen aus Holz, Wolle und Metall stieß, saß Shenja in einem Winkel und vergoß Tränen. Er fuhr fort herumzustöbern und zu tasten und hob sie in Gedanken schon ohnmächtig vom Boden auf. Er fuhr zusammen, als hinter seinem Ellbogen die von Schluchzen unterbrochenen Worte ertönten: „Ich bin hier. Vorsicht, dort steht ein Glasschrank. Warten Sie im Schulzimmer auf mich. Ich komme gleich.“

Die Gardinen senkten sich bis zum Boden herab, und bis zum Boden ließ sich die winterliche Sternennacht vor dem Fenster herab, und unten, bis an den Gürtel in Schneewehen versunken, mit den glitzernden Ketten der Zweige den hohen Schnee schleifend, kamen die Bäume dichtgedrängt auf das helle, kleine Licht im Fenster zu. Und irgendwo hinter der Wand, eng von Bettüchern eingeschnürt, lief das unbeirrte Gerumpel des Rollholzes hin und her. 'Womit ist dieses Übermaß an Empfindlichkeit zu erklären?' dachte der Repetitor. Offenbar hatte das Mädchen ungewöhnliche Sympathie für den Verstorbenen gehabt. Sie hatte sich sehr verändert. Die periodischen Brüche hatte er noch einem Kinde erklärt, während jene, die ihn jetzt ins Schulzimmer beschied... Und das war in einem Monat geschehen! Offenbar hatte der Verstorbene irgendwann einen besonders tiefen, unauslöschlichen Eindruck bei der kleinen Frau hinterlassen. Eindrücke dieser Art waren nicht schwer zu benennen. Sonderbar! Er hatte ihr einen Tag um den anderen Unterricht erteilt und nichts davon bemerkt. Sie war *furchtbar nett*, und sie tat ihm schrecklich leid. Aber wann würde sie sich endlich ausgeheult haben und herkommen! Wahrscheinlich waren die andern alle auf Besuch gefahren. Sie tat ihm von Herzen leid. Eine denkwürdige Nacht!

Er irrte sich. Der Eindruck, an den er glaubte, traf den Sachverhalt nicht im entferntesten. Und er hatte sich nicht geirrt. Der Eindruck, der sich hinter all dem verbarg, war unauslöschlich. Er zeichnete sich durch größere Tiefe aus, als er glaubte... Er lag jenseits der Verfügbarkeit des Mädchens, weil er lebenswichtig und bedeutend war, und seine Bedeutung lag darin, daß zum ersten Mal ein *anderer* Mensch in ihr Leben trat, ein völlig gleichgültiger

Dritter ohne oder mit einem zufälligen Namen, der weder Haß hervorrief noch Liebe einflößte, *sondern das, was die Gebote meinen*, wenn sie, an unseren Namen und unser Bewußtsein gewandt, sagen: Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, und all das andere, „Du, ein Besonderer und Lebendiger“, sprechen sie, „*tue diesem Verschwommenen und Allgemeinen nicht an, was du dir, dem Besonderen und Lebendigen, selbst nicht wünschst.*“ Dem größten Irrtum fiel Dikich anheim, als er meinte, daß Eindrücke dieser Art nicht schwer zu benennen seien. Sie haben keinen Namen.

Shenja aber weinte deshalb, weil sie sich an allem schuldig glaubte. Hatte *sie* ihn doch in das Leben der Familie eingeführt, an jenem Tag, als sie ihm, den sie jenseits des fremden Gartens bemerkt und den sie ohne Notwendigkeit, ohne Nutzen und ohne Sinn bemerkt hatte, auf Schritt und Tritt, ständig, unmittelbar und indirekt zu begegnen begann, und, wie es beim letzten Mal geschah, sogar jeder Wahrscheinlichkeit zum Trotz.

Als sie sah, welches Buch Dikich aus dem Regal nahm, runzelte sie die Stirn und erklärte: „Nein. Darauf möchte ich heute keine Antwort geben. Stellen Sie es an den Platz zurück. Verzeihen Sie: bitte.“

Und ohne ein weiteres Wort wurde der Lermontow von der gleichen Hand wieder in die seitlich verrutschte Reihe der Klassiker gezwängt.

Der Anfang des Romans über Patrik

1. Ein Kreis im Hinterland

Ich erinnere mich eines Abends, er steht vor mir, als wäre es der heutige. Es war in der Mühle meines Schwiegervaters. Am Tag war ich in seinen Angelegenheiten zur Stadt geritten.

Ich war früh aufgebrochen. Tonja und Schura schliefen noch, als ich mich auf Zehenspitzen von ihnen in das Licht der scheidenden Nacht davonstahl. Bis ans Knie standen ringsum die Birken im Gras und im Mückengegrein und starrten auf irgendeinen Punkt, von dem der Herbst herannahte. Ich ging in der gleichen Richtung.

Dort, hinter der Schlucht, lag der Hof mit dem Haus, in dem wir früher gewohnt hatten und aus dem wir kurz zuvor in das Waldhüterhäuschen umgezogen waren, um einer Sommerfrischlerin Platz zu machen. Sie wurde in den nächsten Tagen erwartet. Zu den Beschäftigungen, die mir in der Stadt oblagen, gehörte auch ein Besuch bei ihr.

Ich hatte neue, noch nicht eingelaufene Stiefel an. Als ich mich bückte, um im rechten die Ferse zurechtzurücken, hörte ich hoch über mir etwas Schweres rauschen. Ich hob den Kopf. Zwei Eichhörnchen sausten wie Flintenkugeln hintereinander durchs Laub. Hier und da kam Leben in die Bäume, als sie die Tiere schwankend von einem Wipfel zum andern schleuderten.

Wenn diese Verfolgungsjagd auch immer wieder von Luftsprüngen unterbrochen wurde, ging sie doch so ungehindert vor sich, daß der Eindruck entstand, als ob jemand in aller Herrgottsfrühe über die Himmelsebene laufe. Und hinter der Schlucht klapperte der Knecht Demid mit dem Eimer, schloß das Tor zum Pferdestall auf und sattelte die Soroka.

Das letzte Mal war ich Mitte Juli in der Stadt gewesen. Seitdem waren drei Wochen vergangen, und in der Zwischenzeit hatte sich von neuem manches zum Schlimmeren gewendet.

Ehrlich gesagt, fiel es mir schwer, darüber zu urteilen. Seinen Wahnsinnskauf hatte Alexander Alexandrowitsch genau zu Beginn des Krieges getätigt. Bei unserem ersten, von Moskau aus unternommenen Besuch in der Mühle, wie man von alters her seinen Waldbesitz nannte, war das Uralgesicht Jurjatins schon verhüllt von Flüchtlingen, österreichischen Kriegsgefangenen und zahlreichen Militärpersonen und Zivilisten aus den beiden Hauptstädten, die von den immer komplizierteren Erfordernissen der Kriegszeit hierher verschlagen worden waren. Jurjatin selbst stellte nichts mehr dar, es gab lediglich wie ein Spiegel die Veränderungen wieder, die sich im Land und an der Front vollzogen.

Die Wogen der Evakuierung waren auch schon früher bis hierher gerollt. Doch als ich von dem Eisenbahnübergang hinter Skobjanniki sah, wie sich Berge von technischen Ausrüstungen aus dem Baltikum unter freiem Himmel entlang den Gleisen des Güterbahnhofs auftürmten, schoß mir der Gedanke durch den Kopf, daß vielleicht Jahre vergehen würden, bis sich jemand an diese Ätnas, Revaler Rohrwalzwerke und Perune erinnern würde, und daß nicht wir es waren, sondern ebendiese Haufen von Rost, die dereinst davon zeugen würden, wie all dies endete.

Ungeachtet der frühen Tageszeit war der Besucherverkehr beim Kommandanten in vollem Gange. Auf dem Hof erläuterte ein Anführer dem Haufen seiner Tataren und Wotjaken, die Landbevölkerung flechte Körbe für die Schwefelsäureballons, die für die Gemeinschaft der Malojaschwiner und Nishnewaryner bestimmt seien, welche in der Verteidigung arbeiteten. In solchen Fällen konnten die Bauern ganzer Amtsbezirke auf Grund einfacher Anträge ihrer Betriebe an Ort und Stelle verbleiben. Es war der Fehler dieses Trupps, daß sie von selbst ihr Dasein bekundet und sich bei jemand gemeldet hatten. Ihre Akten waren verlorengegangen, und nun jagte man sie, der langwierigen Nachforschungen müde, an die Front. Wenn man auch in dem warmen Büroraum ihre Argumente anerkannt hatte, auf dem Hof hörte ihnen niemand zu. Meine Papiere waren in Ordnung, und den Paragraphen über die Geschwülste und Brüche, auf Grund dessen Demid vom Dienst befreit war, hatte man bisher auch noch nicht angefochten.

Von der Kommandantur aus gleich um die Ecke, auf der Senna-ja, gegenüber der Kathedrale, war eine Herberge, in der ich Soroka zurückließ, da sie mir in der Stadt wegen der kurzen Entfernungen zur Last fiel. Es waren eben die Mariä Himmelfahrts-Fasten. Seit mehr als einem Jahr war in den staatlichen Geschäften kein Wein verkauft worden. Doch der Gasthof zeichnete sich selbst inmitten der allgemeinen Ernüchterung durch seine Ruhe und Düsternis aus. Unter seinem breiten Dach wurde insgeheim ein trübes berau-

schendes Getränk gebraut. Wenn man den Wirt nicht mitrechnete, bestand jetzt hier ein Weiberregiment. Das Pferd nahm eine seiner Schwiegertöchter entgegen.

„Sie haben sich wohl entschlossen zu verkaufen?“ fragte der Wirt von irgendwo über mir, er lehnte sich aus dem Fenster und stützte den Kopf auf die Hand.

Ich verstand nicht sofort, worauf seine Frage hinauslief.

„Nein, wir haben nicht die Absicht“, antwortete ich. Offenbar war das Gerücht über unsere Besetzung im Wald bis in die Stadt gedrungen und ging jetzt von Mund zu Mund.

Die Straße blendete mich nach der Dunkelheit in dem Hof. Als ich mich plötzlich, nachdem ich im Sattel gesessen, auf den Füßen wiederfand, meinte ich den Tagesanbruch noch einmal zu erleben. Später als sonst krochen die Fuhrwerke mit Kohl und Mohrrüben dem Markt entgegen. Sie kamen nicht weiter als bis zur Dworjanskaja. Wie ein Wunderwerk wurden sie alle paar Schritte angehalten und schon unterwegs leergekauft. Auf den Fahrzeugen stehend wie auf einem vom ganzen Volk gebildeten Podest, gelobten die Gemüsebäuerinnen, es jedem recht zu machen, doch dies vermochte die unprovinziell laute und zänkische Menge, die ringsum weiter anwuchs, nicht zur Vernunft zu bringen.

Auf der marmorähnlich wirkenden Treppe zum Stadtkontor der Ust-Krymschaer Werke holte ich einen graubärtigen Einwohner von Jurjatin in kurzem Kaftan ein, dessen Falten seiner Taille von hinten einen weibischen Ausdruck verliehen. Langsam stieg er vor mir hinauf, und als er ins Kontor trat, schneuzte er sich in ein rotes Taschentuch, setzte eine silberne Brille auf und begann die Bekanntmachungen zu entziffern, mit denen die linke, dem Eingang am nächsten gelegene Wand über und über bedeckt war. Außer den bunten und einfarbigen gedruckten Anzeigen und Werbesprüchen, die sich seit eh und je dort befanden, hoben sich ein paar Reihen weißer Zettel darauf ab, handgeschrieben oder mit Schreibmaschine getippt, die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen.

Da gab es Annoncen, den Ankauf von zu fallendem oder schon gefällttem Holz betreffend, Aushänge über die Vergabe von Aufträgen zu Transportleistungen aller Art, eine Mitteilung an die Arbeiter und Angestellten über die einmalige Zahlung eines Zuschusses in Höhe eines Dreimonatslohnes anlässlich der Preiserhöhung, Aufrufe an die Landwehrmänner der zweiten Klasse, sich in der Personalabteilung zu melden. Und da hing auch ein Beschluß über die Abgabe von Lebensmitteln in Werkläden, die nach einer bestimmten monatlichen Ration zu Preisen, die etwa dem Vorkriegsstand entsprachen, an Arbeiter und Angestellte erfolgen konnte.

„Roggenmehl fünfundvierzig Pfund, zum Preis von einem Rubel fünfunddreißig Kopeken das Pud; zwei Pfund Pflanzenöl...“, buchstabierte der jurjatinsche Bürger.

Später begegnete ich ihm wieder vor einem der Kontortische, als er sich erkundigte, ob die Verwaltung damit einverstanden sei,

wenn die in der Anzeige genannten Aufträge nicht mit Banknoten, sondern mit Kartensystemen – so drückte er sich aus – nach dem aushängenden Muster beglichen würden. Lange Zeit begriffen sie nicht, was er wollte, und als sie es verstanden, sagten sie, er sei hier nicht in der Mehlhandlung. Ich konnte nicht mehr hören, ob sich das Mißverständnis aufklärte. Ich wurde von Wjachrischtschew abgelenkt.

Er stand im Hauptsaal der Rechnungsabteilung, die von einem Gitter und Aktenständern in zwei Hälften geteilt war, zwang die jungen Männer mit den flatternden Jacketts, die mit Stößen von Papier aus der Tür zum Direktionsbüro stürzten, auszuweichen und erzählte dem ganzen Raum Histörchen und verschluckte sich dabei an dem heißen Tee, von dem er, ohne auszutrinken, ein Glas nach dem andern vom Tablett der Köchin nahm, die mehrmals damit durchs Kontor ging.

Wjachrischtschew war ein Militär aus Petersburg, der im Hauptmannsrang stand, glattrasiert und sarkastisch, tätig als Abnahmebeauftragter des Artillerieoberkommandos in den Fabriken.

Die Fabriken lagen fünfundzwanzig Werst südlich von Jurjatin, also auf der uns gegenüberliegenden Seite. Es war ein weiter Weg bis dorthin, und man mußte ihn zu Pferd zurücklegen. Wir ritten mitunter auf Besuch dorthin, wenn man uns einlud; das hatte jedoch nicht das geringste Wjachrischtschew zu tun. Es muß erzählt werden, woher sein unermüdlicher Scharfsinn die Nahrung bezog.

Seine Rolle war nicht so einfach. Er hielt sich als Amtsperson in den Fabriken auf und wohnte dort als Gast in dem Haus für Durchreisende, das man die Durchreise nannte. Ringsum befanden sich die auf Grund der neuen militärischen Erfordernisse an die erste Stelle gerückten Spezialisten; angesichts ihrer Autorität trat die Bedeutung der Behörden und der Besitzer in den Hintergrund. Es waren zum größten Teil Akademiker, die, auf unterschiedliche Weise, aber alle ohne Ausnahme, durch die Schule des Jahres 1905 gegangen waren. Ich nenne als Beispiel den Generaldirektor Lew Nikolajewitsch Golomennikow, der inzwischen verstorben ist und an dessen Namen mehrere nach ihm benannte Institute erinnern.

In seinen Studienjahren gehörte er jener Gruppe der russischen Sozialdemokratie an, die dazu ausersehen war, der Welt soviel Neues zu sagen. Doch wäre es ein Anachronismus, wenn man diese Bemerkung in ihrer heutigen Bedeutung auf die winterlichen Abendunterhaltungen beziehen wollte, zu denen dieser hochaufgeschossene, frühzeitig ergraute und etwas spottsüchtige Mann einlud oder andere aufsuchte...

Die Durchreise lag an der Ausfahrt, in unmittelbarer Nähe des Öltanks, den man vor dem Betriebsgelände, auf dem unbebauten Platz in Richtung auf den Fluß zu errichtet hatte, und Wjachrischtschew versicherte, dort werde auch der Laboratoriumssprit aufbewahrt, dessen Verdünnung diese abendlichen Zusammenkünfte

so belebte. Selbstverständlich nahm auch er an allen Vergnügungen teil, und wenn die Gespräche in seiner Gegenwart – nicht aus Angst vor ihm, sondern aus der Besorgnis, man könne ihm irgendwie zu nahe treten – etwas gemäßigt wurden, dann fühlte er sich natürlich gekränkt und förderte auf diese Weise, ohne es zu wollen, selbst ihren revolutionären Schwung.

Dieses Widersinnes war er sich völlig bewußt, und er verlieh ihm gelegentlich recht boshaften Ausdruck. „Russischer Militärat-taché zu Krymsha“, stellte er sich vor und gab damit zu verstehen, daß er die Fabriken als selbständige Macht betrachtete. Oder er begann die Verbündeten herzuzählen und fuhr, wenn er bei Rumänien angekommen war (das war schon später), wie folgt fort: „und der chlorreiche, chromgewaltige Lew Nikolajewitsch Golomennikow“. Und alle lachten los.

Als er mich bemerkte, tat er so, als ob er vor Überraschung einen zu großen Schluck von dem kochendheißen Getränk genommen hätte, riß erschrocken die Augen auf, bekreuzigte sich und hob; nachdem er das Tellerchen mit dem Teeglas auf dem Rand der Trennwand abgestellt hatte, die Hände, als wollte er ein Gespenst abwehren.

„Sie sind noch am Leben?“ plapperte er, als er die Vorstellung beendet hatte. „Wo hat es Sie denn hin verschlagen? Was gibt es Neues in euren Wäldern? Habt ihr noch keinen Separatfrieden geschlossen?“

„Hier ist ein Paket für Herrn Gromeko. Wollen Sie es mitnehmen?“ fragte mich ein Kontorangestellter, der hinter dem Gitter hervorkam.

„Warum denn nicht, selbstverständlich. Deshalb komme ich ja. Aber, ist es nicht zu schwer? Bekomme ich es allein fort?“

„Für Ihre Schulterriemen ist es sicher etwas schwer. Das Säckchen hat sein Gewicht.“

„Dann komme ich in zwei Stunden wieder, ich bin momentan ohne Pferd. Verzeihen Sie“, wandte ich mich an Wjachschtschew, „ich war beschäftigt. Jetzt stehe ich Ihnen zu Diensten.“

Er begann mich von einem Raum in den anderen zu schleppen; dabei überschüttete er mich mit unglaublichem Blödsinn und wollte mich überreden, mit ihm nach Krymsha zu einer Familienfeier zu reiten. Glücklicherweise kam ein Arzt dazwischen, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von Jurjatin, der eben in diesem Moment aus dem Direktionszimmer trat.

„Sind Sie es, mein lieber Doktor?“ rief Wjachschtschew.

Die Farce nahm ihren Anfang. Von der Entpflichtung profitierend, eilte ich in unsere Filiale des Städte- und Gemeindebundes, die in eine vom Jermakschen Garten aus erreichbare Wohnung desselben Hauses gepfercht war.

Obwohl der Bund in erster Linie mit Versorgungsaufgaben betraut war, von denen Alexander Alexandrowitsch überhaupt nichts verstand, war die Abteilung eigentlich seine Dienststel-

le. Bei der Aufteilung der Reserven war er freier Konsultant für Milchvieh und dessen Zuchtwahl – das Spezialgebiet, in dem er seinerzeit am Genfer Polytechnikum sogar mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. Er selbst sprach nicht häufig in Jurjatin vor und bediente sich zur Einreichung einer Konsultation der sich jeweils bietenden Gelegenheit, oder er schickte Demid mit seinen Papieren zur Abteilung. Er hatte dort selbst nicht das geringste zu tun, und so rief er sich, damit es nicht zu einem Skandal kam, mitunter bei dem einen oder anderen Kollegen in Erinnerung, wobei er die Anlässe der Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit halber wechseln ließ.

Jetzt hatte ich – unter dem lächerlichsten Vorwand – einen der Begründer dieser Abteilung aufzusuchen, den Redakteur einer fortschrittlichen Zeitung des Gebiets, der aus irgendeinem Grund lieber im Städte- und Gemeindebund empfing als in seiner Redaktion. Es stellte sich indessen heraus, daß er tags zuvor nach Moskau gereist war. Ich begab mich zur Istomina.

Von dieser Frau erzählte man sich das eine oder andere. Sie war aus dieser Gegend gebürtig, allem Anschein nach aus Perm, und es war ihr ein schwieriges, unglückliches Los zuteil geworden. Ihr Vater, ein Rechtsanwalt, der den nichtrussischen Namen Lüvers trug, war von einem Aktiensturz ruiniert worden und hatte sich, als sie noch im Kindesalter stand, erschossen. Andere führten den Selbstmord auf eine unheilbare Krankheit zurück. Die Kinder übersiedelten mit ihrer Mutter nach Moskau. Später verschlug es die Tochter, nachdem sie geheiratet hatte, wieder in die Heimat. Die über sie in Umlauf befindlichen Geschichten bezogen sich auf die allerletzte Zeit, und sie werden uns erst später beschäftigen.

Obwohl die Lehrkräfte der staatlichen Einrichtungen nicht der Mobilisierung unterlagen, ging ihr Mann, Wladimir Wassiljewitsch Istomin, der als Physiker und Mathematiker am Gymnasium von Jurjatin tätig war, als Freiwilliger an die Front. Schon seit zwei Jahren etwa war jede Spur von ihm verlorengegangen. Man glaubte, daß er gefallen sei, und seine Gattin war manchmal jäh von ihrer unerwiesenen Witwenschaft überzeugt, manchmal zweifelte sie daran.

Ich sprang über die Hintertreppe des neuen Schulgebäudes mit ihren etwas verlängerten Läufen durch einen ziemlich engen und daher gekrümmt wirkenden Treppenschacht zu ihr hinauf. Die Treppe erinnerte mich an etwas.

Ebendieses Gefühl, als ob mir alles bekannt sei, verspürte ich auf der Schwelle zu der Lehrerswohnung. Die Tür stand offen. Im Vorzimmer befanden sich ein paar Stücke des Reisegepäcks, die darauf warteten, daß sie eingenäht wurden. Von hier aus sah man das äußerste Ende eines düsteren Salons mit einem ausgeräumten, vom Platz gerückten Bücherschrank und einem Spiegel, der vom Spiegeltisch abgenommen war. In den Fenstern, die vermutlich

nach Norden gingen, flammte das Grün des Gymnasialgartens, der von hinten mit Licht erfüllt wurde. Ungewohnt für die Jahreszeit roch es nach Naphthalin.

Auf dem Fußboden des Salons packte ein niedliches Mädchen von etwa sechs Jahren seinen Puppenhausrat zusammen und verschürte ihn mit einem schmutzigen Mullstreifen. Ich räusperte mich. Das Mädchen blickte auf. Von einem weiteren Zimmer sah die Istomina zum Salon herein, während sie ein großes Bündel bunter Tücher hielt, deren untere Enden am Fußboden schleiften und deren obere unter ihr Kinn gepreßt waren. Sie war provozierend, ja fast verletzend schön. Die Zurückhaltung ihrer Bewegungen nahm sich sehr vorteilhaft aus und war vielleicht wohlberechnet.

„So, nun habe ich mich endlich entschlossen“, sagte sie, ohne das Bündel abzulegen. „Ich habe Sie lange genug an der Nase herumgeführt.“

Mitten im Salon stand ein offener Reisekorb. Sie warf die Tücher hinein, zupfte ihr Kleid zurecht, strich sich glättend über das Haar und kam zu mir. Wir begrüßten uns.

„Die Datscha ist mit allem versehen“, erinnerte ich sie.

„Wozu wollen Sie die Möbel mitnehmen?“ Die Ausführlichkeit ihrer Vorbereitungen setzte mich in Erstaunen.

„Ach, richtig!“ rief sie in plötzlicher Erregung. „Was soll ich denn jetzt machen? Die Fuhrwerke sind für drei Uhr bestellt. Dunja, wie spät ist es bei Ihnen auf der Küchenuhr? Ach, ich hab sie ja eben in die Hausmeisterswohnung geschickt. Katja, steh hier um Gottes willen nicht im Weg herum!“

„Es ist zwölf“, sagte ich. „Am besten, man sagt den überzähligen Lastfuhrleuten ab und behält nur einen zurück. Sie haben noch viel Zeit.“

„Ach, als ob es nur darum ginge!“

Das klang nahezu verzweifelt. Ich konnte nicht begreifen, worauf sie sich bezog. Doch auf einmal dämmerte es mir. Wahrscheinlich hatte man ihr die staatliche Wohnung gekündigt, und sie hoffte bei uns eine dauernde Bleibe zu finden. Daraus erklärte sich auch ihr später Umzug. Ich mußte sie von vornherein darauf aufmerksam machen, daß wir den Winter in Moskau zu verbringen und das Haus zu vernageln pflegten.

In diesem Augenblick war von der Treppe her Stimmengewirr zu vernehmen. Unmittelbar danach war auch der Vorraum davon erfüllt. In der Tür des Salons zeigten sich das Dienstmädchen, das ein paar Rollen geflochtenen Basts trug, und der Hausmeister, der mit Gepolter zwei Kisten auf dem Boden absetzte. Da ich weiteren Zeitverzug fürchtete, verabschiedete ich mich.

„Na dann gute Reise, Jewgenija Wikentjewna“, sagte ich.

„Auf baldiges Wiedersehen. Die Wege sind trocken. Jetzt ist es das reinste Vergnügen zu fahren.“

Als ich schon auf der Straße stand, fiel mir ein, daß ich von der Herberge nicht gleich nach Hause reiten konnte, da ich noch zum Kontor mußte, um das für Alexander Alexandrowitsch bereitliegende Bündel abzuholen. Aber noch vor der Sennaja entschloß ich mich, rasch auf dem Bahnhof Mittag zu essen, dessen Büfett seiner Preisgünstigkeit und seiner guten Küche halber gerühmt wurde.

Auf dem Weg dorthin mußte ich wieder an die Istomina denken.

Vor diesem Gespräch hatte ich sie zwei-, dreimal gesehen, und bei jeder Begegnung war ich von dem Gefühl nicht losgekommen, daß ich ihr früher schon einmal begegnet war. Lange hielt ich dieses Empfinden für trügerisch und suchte es nicht zu erklären. Es wurde von der Istomina selbst gefördert. Sie mußte einen jeden an irgend etwas erinnern, weil sie durch eine gewisse Unbestimmtheit ihres Auftretens oft selbst einer Erinnerung glich.

Auf dem Bahnhof herrschte ein förmliches Tohuwabohu. Ich begriff auf der Stelle, daß ich unverrichteterdinge abziehen mußte. Von den Bonkassen strömte die Menge, sich in zahlreiche Einzelarme verzweigend, auseinander und überflutete alle Säle des Bahnhofs, ohne ein Plätzchen frei zu lassen. Das Publikum im Büfett war vorwiegend aus Militärpersonen zusammengesetzt. Kaum für die Hälfte von ihnen reichten die Plätze an den Tischen, und die übrigen drängten sich um die Speisenden, schlenderten durch die Gänge, rauchten trotz der ausgehängten Verbotsschilder und saßen auf den Fensterbrettern. An dem einen Ende des großen Tisches versuchte einer der Soldaten immer wieder blitzschnell aufzuspringen. Doch seine Kameraden hielten ihn zurück. Bei dem allgemeinen Getöse war nichts zu verstehen, aber aus den Gesten eines offenbar seine Unschuld betuernden Kellners war zu entnehmen, daß er angeschrien wurde. Dorthin gewandt, kam der Inhaber des Büfetts durch den Saal, ein Dickwanst, der vom Getöse des Geschirrs im Büfett und von der Nähe des Bahnsteigs zu seinen übernatürlichen Ausmaßen aufgebläht schien.

Ich drängte mich auf den Bahnsteig, um dem Gewühl zu entkommen und auf dem Weg über die Gleise in die Stadt zu gelangen, aber der Kontrollbeamte ließ mich nicht hinaus. Durch die Glasscheiben der Ausgangstür sprang mich die ungewöhnliche Leere an. Die dort stehenden wenigen Artelmitglieder sahen nach der offenen, weit zwischen die Schienenstränge vorgeschobenen Plattform, die dem überdachten Perron als Fortsetzung diente. Dahin ging der Stationsvorsteher mit zwei Gendarmen. Man sprach davon, daß dort soeben bei der Abfertigung einer Marschkompanie Tumult entstanden sei, über den man aber nichts Näheres wußte.

An alle diese Dinge dachte ich am Ende meines Heimwegs, als ich mich auf der Waldstraße durch das staatliche Rynwa-Revier befand und Soroka, als sei sie von meiner Müdigkeit angesteckt,

den Kopf schüttelnd und mit zuckenden Flanken, von selbst im Schritt ging.

An dieser Stelle widerfuhr dem Wald das gleiche wie mir und dem Pferd. Die selten befahrene Straße führte über eine durch den Holzschlag entstandene Lichtung. Sie war von Gras überwuchert. Es schien, als sei sie nicht vom Menschen, sondern vom Wald selbst angelegt, damit er in aller Muße nachgrübeln könnte. Diese Schneise schien seine Seele zu sein.

An ihrem Ende stieß ein weißes Rechteck wie eine Vorstülpung im Stangenzaun keilförmig nach vorn. Das war das Jassyrsche Sommergetreide. Ein Stück weiter hinten wurde ein armseiliger Weiler sichtbar. Der ihn am Horizont einrahmende Wald schloß sich zu einer neuen Wand. Die Jassyrer blieben mit ihrem Hafer wie ein unbedeutendes Eiland zurück. Sicher hatten die Bauern, wie es auch im benachbarten Pjatibratskoje der Fall war, einen Teil des Bodens bei dem Apanagenamt gepachtet.

Ich rückte im Schrittempo voran, und während ich mit der Hand die Mücken auf den Armen, der Stirn und dem Hals zu treffen suchte, dachte ich an meine Leute, die Frau und den Sohn, zu denen ich heimkehrte.

Ich dachte an sie und ertappte mich plötzlich bei dem Gedanken, daß ich gleich ankommen würde und daß sie wieder nie erfahren könnten, wie sehr ich auf dem Weg an sie gedacht hatte, und daß es so scheinen würde, als ob ich, wie sie es wollten, etwas anderes, Fernes liebte, etwas, das der Einsamkeit und dem gemessenen Schritt des Pferdes ähnelte, etwas, das einem Buch ähnelte. Aber, ihnen verständlich zu machen, daß all diese Dinge ebenfalls sie waren, dazu würde es mir an Kraft fehlen, und ihre Unzufriedenheit würde mich peinigen.

Erstaunlich war es, wieviel Wahrheit sie auf ihrer Seite hatten. All dies waren Zeichen der Zeit. Sie wurden von der arglosen Witterung der mir Nahestehenden aufgenommen. Etwas, das geheimnisvoller war und ferner als all diese Voreingenommenheiten, harrte jenseits des Waldes und würde wie ein Wirbelsturm über die menschlichen Schicksale dahinbrausen. Und sie errieten das Heranwehen künftiger Umschwünge und Trennungen.

Es lag etwas Seltsames in diesem Herbst. Als wäre die Natur, bevor sie das Meer ausschlürfte und danach den Himmel verschlang, auf den Gedanken gekommen, einmal tief Atem zu holen, und hätte es plötzlich nicht mehr vermocht. Anders als sonst rief der Kuckuck, etwas weniger weißschimmernd und strömend war die reife nachmittägliche Luft, anders als sonst wuchs und rötete sich das Feuerkraut. Und anders als sonst kehrte der Mensch in seine Familie zurück, die ihm das Teuerste war, was er kannte.

Nach einiger Zeit lichtete sich der Wald. Jenseits einer flachen Mulde, seiner Vermessungsgrenze, in die der Weg hinabglitt und

aus der er sich wieder erhob, wurde eine Anhöhe mit einigen Gebäuden sichtbar.

Das Gehölz, von dem das Anwesen umgeben war, ersetzte ihm die Umzäunung. Es war derart verwildert, daß es die Winterzäune der Forstaufseher beneiden konnte, die an verschiedenen Stellen des benachbarten Waldes anzutreffen waren. Von allen Torheiten, die Alexander Alexandrowitsch begangen hatte, war diese die unverzeihlichste. Irgendein Schulkamerad, der in der hiesigen Industrie tätig war, hatte diesen Hexenwinkel für ihn ausfindig gemacht. Ohne überhaupt hinzusehen, gab Alexander Alexandrowitsch seine schriftliche Einwilligung zu dem Geschäftsabschluß, statt irgendwo in Mittelrußland, wo ihm seine Kenntnisse in der Viehzucht zustatten gekommen wären, Weideland zu erwerben. An den Vorteil hatte dieser gebildete und damals noch in den besten Jahren stehende Mann am wenigsten gedacht. Auch seine Gedanken waren auf das Ferne und Abstrakte gerichtet. Und so war es erklärlich, daß ich in seinem Haus eine ebensolche Erziehung erhalten hatte wie Tonja, seine Tochter. Wie man darüber auch denken mochte, jetzt blieb keine Zeit mehr zum Scherzen. Man mußte diesen Schatz so schnell wie möglich verkaufen, als Brennholz, um so mehr, als unerhörte Nachfrage herrschte. Die Fabriken stellten sich von mineralischem Kraftstoff auf Holz um; das war das Hauptgesprächsthema der Stadt.

Als Soroka des Seitenflügels mit dem himbeerfarbenen Dach ansichtig wurde, ging sie zum Galopp über. Vom Berg her erkannte ich Tonja und Schura, die von der Schluchtseite lachend auf mich zugerannt kamen. Der Pferdestall stand tatsächlich seit dem frühen Morgen sperrangelweit offen. Kaum hatte ich den Fuß auf die Erde gesetzt, als das Pferd mir die Zügel entriß und hineinstürzte, dem Futter und der Rast entgegen, von denen sein Auge und seine Witterung allzusehr gereizt wurden. Schura begann herumzuhüpfen und in die Hände zu klatschen, als wäre dies eigens zu seiner Belustigung veranstaltet worden.

„Wir wollen Abendbrot essen“, sagte Tonja. „Was ist denn, du hinkst?“

„Ich kann nicht richtig auftreten, der Fuß ist mir eingeschlafen vom langen Sitzen. Es ist nicht so schlimm, sobald ich mich bewege, vergeht es.“

Demid kam um die Ecke der Scheune und ging, nachdem er mich höchst gelangweilt begrüßt hatte, daran, Soroka abzusatteln und zu versorgen.

„Ach ja, dort hinter dem Sattel ist ein Geschenk für Papa angebunden. Nehmt es bitte ab. Wo ist er denn eigentlich?“

„Papa ist bis Dienstag verreist. Tagsüber war jemand von den Fabriken hier. Wir haben heute den Neunten, und da feiert dort eine gewisse Marja ihren Namenstag. Und was ist das?“

„Eine Lebensmittelration. Desto besser, wenn er in Krymsha ist. Da bekommt sie der nächste.“

„Du bist wohl böse?“

„Urteile doch selbst, es wird nachgerade zum System. Wir sind keine Faulenzer, keine Narren, und dein Papa ist wirklich ein vortrefflicher Mensch. Indessen hab ich die ganze Kindheit über bei euch das Gnadenbrot gegessen, Papa aß es bei seinen Verwandten, diese wieder bei jemand anders und so weiter bis in die Unendlichkeit. Wir könnten doch leben, ohne zu schmarotzen. Wie oft habe ich schon vorgeschlagen, unsere Kenntnisse und Fähigkeiten in Rechnung zu stellen...“

„Und was weiter?“

„Das ist es ja eben, jetzt ist es bereits zu spät. Es hat sich fortgepflanzt und ist zu einem allgemeinen Übel geworden. In der Stadt träumen sie nur noch davon, wie man es schaffen kann, sich für eine etwas fettere Mittagschüssel einschreiben zu lassen. Es ist die Rückkehr der Possessionszeiten, weißt du, was das bedeutet? Wen du auch ansiehst, jeder ist irgendwo angeschlossen, und er weiß nicht einmal selbst, aus welchen Händen in welche anderen er vererbt und überantwortet wird. Die Quellen des selbständigen Daseins sind versiegt. Du mußt zugeben, daß das nicht zum Lachen ist.“

„Ach, wie abgedroschen das alles ist, und wie es mir zum Hals heraushängt! Sieh nur, was du angerichtet hast. Das ist die Wirkung deiner Predigten.“

Der Junge heulte.

Nach dem Abendessen, als wir uns ausgesöhnt hatten, ging ich hinaus auf den steilen Hang, der im hinteren Teil des Wäldchens zum Fluß hin abfällt. Seltsam, daß ich bisher nichts von diesem Dämon des Ortes gesagt habe, der in den Liedern erwähnt wird und in die Landkarten jedes beliebigen Maßstabes eingetragen ist.

Es war die Rynwa in ihrem Oberlauf. Sie kam vom Norden her mit großem Schwung, als wäre sie sich ihres Flußnamens bewußt, und eben hier, wo sie eine halbe Werst oberhalb unserer Schlucht hervorkam, hielt sie unschlüssig inne, als ließe sie die Orte, die ihrer Tätigkeit ausgesetzt waren, an ihrem Auge vorübergleiten. Jedes Schwanken von ihr entwickelte sich zu einer Krümmung. Ihre Kontemplation ließ kleine Buchten entstehen. Die breiteste war unmittelbar bei uns. Hier konnte man sie ohne weiteres für einen Waldsee ansehen. Am jenseitigen Ufer war schon ein anderer Landkreis.

Ich legte mich ins Gras. Lange lag ich ausgestreckt da, aber statt auf den Fluß zu sehen, bewegte ich sinnlos die Spitzen meiner engen Stiefel hin und her und betrachtete sie von der Höhe meines aufgestützten Ellbogens. Um den Fluß zu sehen, mußte ich den Blick um ein geringes heben. Ich nahm mir andauernd vor, dies zu tun, doch schob ich es immer wieder auf.

Es ging nicht alles nach meinem Wunsch, aber auch nicht gegen meinen Willen und folglich nach niemandes Willen. Es mangelte meinen Wünschen an Beharrlichkeit. Meine Nachgiebigkeit

war nicht von guter Art. Es war gar nicht auszudenken, auf was ich alles zu verzichten bereit war. Ohne mich ginge es meinen Angehörigen weitaus besser, ich richtete sie zugrunde.

Allmählich bemächtigte sich meiner die Spirale der Gedanken, die in jenen Jahren allen Menschen auf der Erde vertraut waren und die sich nur durch das Schicksal und die persönliche Veranlagung und auch durch den Unterschied der Zeiten, in denen sie sich einstellten, verschieden äußerten: beunruhigend im Jahr vierzehn, noch düsterer im Jahr fünfzehn und völlig lichtlos im Jahr sechzehn, in dessen Herbst sich diese Dinge zutrugen.

Von neuem ging mir der Gedanke im Kopf herum, daß es vielleicht besser sei, wenn ich ungeachtet der wiederholten Ausmusterung dennoch Schießpulver röche. Ich wußte aber, daß mein Bedauern keinen Pfifferling wert war, wenn ich nicht irgend etwas in der Sache tat.

Doch früher hatte ich aus Liebe zum Leben darüber geklagt. Ich hatte geklagt, daß ein leerer Fleck bleiben würde, wenn ich die Kriegshandlungen meiner Altersgefährten in einer für das Vaterland so denkwürdigen Stunde nicht teilte. Jetzt bedauerte ich es aus Abscheu. Es tat mir leid, daß mir die Nichtteilnahme am Krieg ein Leben bewahrte, welches so wenig mehr einem Leben glich, daß man sich gern von ihm getrennt hätte, noch bevor es einen verließ. Doch am würdigsten und mit dem größten Nutzen konnte man sich an der Front davon trennen.

Unterdessen bedeckte sich unser Ufer mit Schatten. Am jenseitigen lag das Wasser wie die Scherbe eines zerbrochenen Spiegels da. Das Ufer kehrte darin wieder auf einem Firnis von unheilverkündender Grelle, im Geist jenes bösen Omens. Der Uferhang war niedrig. Die Spiegelbilder wurden unter die Graskante gesogen. Sie rückten eng zusammen und schrumpften ein.

Schnell ging die Sonne unter. Sie versank hinter meinem Rücken. Der Fluß wurde staubig, bedeckte sich mit Borsten, bekam Fettaguen. Auf einmal begann seine warzenreiche Oberfläche an mehreren Punkten zugleich zu rauchen, als sei sie von oben und unten angezündet worden.

Kaum hörbar, doch keineswegs grundlos schlugen in Pjatribratskoje die Hunde an. In ihr Gebell stimmten die vom unweit gelegenen Kordon vernehmlich, doch grundlos ein. Das Gras unter mir wurde merklich feucht. Die ersten Sterne flammten darin wie Beeren von phantastischer Klarheit auf.

Bald ertönte neuerliches Gebell in der Ferne, doch wurden in der räumlichen Ausdehnung die Rollen getauscht: Aus offensichtlichem Anlaß bellten jetzt die nahen Hunde, während die fernen lediglich mitheulten. Vom Waldweg vernahm man Räderknarren. Die unruhigen Töne eines ruhigen Reisegesprächs drangen herüber. Die Sprechenden wurden im Tarantas durchgeschüttelt. Ich erhob mich aus dem taunassen Gras und ging der Mieterin unserer Datscha entgegen.

2. Vor der Trennung

Die Istomina war noch nicht ganz mit dem Umzug fertig, als der Herbst wie im Fluge vergangen war und wir uns auf die Reise nach Moskau vorbereiteten. Und während in jedem von uns der Hauptstädter erwachte, umzingelte die Natur selbst uns wie eine Stadt von allen Seiten.

An einem düsteren Morgen der letzten Septembertage bat mich Tonja, Schura spazierenzuführen. Sie selbst fühlte sich nicht wohl. Das Wetter schien mir dazu nicht günstig. Auch Katja, die jeden Morgen im Freien mit Schura spielte, ging nicht hinaus. Aber Tonja bestand auf ihrem Wunsch, sie war schon dabei, ihn anzukleiden und einzuzummen. Ich faßte ihn an der Hand und ging mit ihm in den Wald.

Im Nu hallten die Düsternis und die Nässe wider von seinem Geschwätz. Es war das Geplapper seines Lebensalters, das Geplapper der ihm entsprechenden Art. Wie er redete alle irdische Kreatur, an deren Gesellschaft er, der nur einen Arschin über den Boden auftrug, sich erfreute.

Plötzlich rannte er fort und begann nach mir zu rufen. Eine junge Dohle mit schleifendem Flügel hüpfte durchs Gras und fiel bei jedem Aufflattern zurück. Sie ließ sich nicht gleich in die Hand nehmen. Schließlich, nachdem ich ihr die Flügel zusammengelegt und das wie eine kleine Kappe aufgestülpte Köpfchen aus der geschlossenen Hand hervorsehen lassen hatte, stand ich mit ihr wieder auf. Lange blieb ich in gebückter Haltung stehen, denn bald zeigte ich sie meinem Sohn, bald drückte ich sie an die Brust. Meine Augen waren gebannt von den Händen und die Hände erfüllt von dem durch Flaum und Federn pochenden Herzen. Als ich mich aufrichtete und in die Runde blickte, vermochte mein Auge dem raschen Positionswechsel kaum nachzukommen. Da sprang mir, vielleicht zum ersten Mal, die einträchtige Absonderung des Laubwaldes vom Nadelwald, das eigentliche Wunder des Herbstes, in die Augen.

Als bemalte und vergoldete Stadt stand der erstere im letzteren, und seine Straßen, Dächer, und Glockentürme wurden von den schwarzen, wie Rauch aufsteigenden Nadelbaumzweigen verhüllt wie von einem Regenhimmel. In dieser Stadt spielte sich alles ab.

Seit damals sind zwanzig Jahre vergangen. Es ist die Zeit der Revolution, des wichtigsten Ereignisses, das alle übrigen verdeckt. Ein neuer Staat entstand, von niemandem beschrieben, noch nie dagewesen. Rußland brachte ihn hervor, jenes Rußland, das von meinen Erinnerungen angetroffen und danach verlassen wird.

Mein Sohn, ein vielversprechender Physiker, wurde in unmittelbarerem Sinn ein Mensch, als er es vielleicht bei mir geworden wäre. Mit mehr Bravour überstand die Mutter, die mich ihm so lange Zeit ersetzte, alle Heimsuchungen. Gesund und munter ist

Alexander Alexandrowitsch, ein unermüdlicher Genetikspezialist von sechzig Jahren. Es scheint, als könnte ich mich hinsichtlich ihrer endlich beruhigen. Und doch überkommt mich jedesmal, wenn ich mir die Vorfälle jenes Herbstes ins Gedächtnis zurückerufe, wieder für lange Zeit Schlaflosigkeit, wie vor zwei Jahren, als ich – noch zu Lebzeiten der Hauptanstitfterin – erstmals daran ging, diese Begebenheiten niederzuschreiben.

Es war für ihren Verlauf nicht wesentlich, in welcher Reihenfolge sie sich zutrugen. Das Äußere der Istomina hatte mich um meine Ruhe gebracht. Das war nicht weiter verwunderlich. Jedem hätte sie auf den ersten Blick gefallen. Aber die Raserei, die sogenannte Leidenschaft, bemächtigte sich meiner erst später. Zunächst spürte ich die Wirkung anderer Kräfte.

An der Schwelle des dritten Kriegswinters, der uns unweigerlich in die nationale Katastrophe des völligen Zusammenbruchs führte, war die Istomina der einzige Mensch von uns, dessen Leben sichtbar zerstört war. Sie entsprach am vollkommensten meinem Gefühl, daß das Ende kam. Obwohl ich in die Einzelheiten ihrer Geschichte nicht eingeweiht war, erriet ich, daß sie ein Beweisstück für die Zeit, für den Menschen in der Unfreiheit war, der mit der ganzen Unsterblichkeit seiner Wesenskräfte in den schmutzigen Käfig verklavender Umstände gesperrt ist. Und mehr noch, als es mich zu ihr selbst zog, fühlte ich mich zu ihr in ebendiesen Käfig getrieben.

Der Tag unserer Abreise rückte heran, die Fahrkarten waren bestellt. Im Unterschied zu früheren Wintern bat Demid diesmal darum, zu seinen Angehörigen in Pjatibratskoje fahren zu dürfen. Die Lehrerwohnung in Jurjatin wurde an einen neuen Mieter vergeben. Doch bemerkte man nicht, daß diese Vorbereitungen die Istomina im geringsten beunruhigt hätten.

„Sprich du mit ihr“, bat mich Alexander Alexandrowitsch.

„Wir können sie doch wirklich nicht mit nach Moskau nehmen.“

Ich kann mich nicht an ihre Antwort erinnern, indessen ist mir deutlich im Gedächtnis haften geblieben, daß ich unter diesen Umständen ohnehin keine erhielt. Vielleicht sagte sie, daß sie die Datscha bewachen wolle, wenn wir sie nicht hinauswürfen. Doch was für eine Antwort ist die Bereitwilligkeit, in dem vom Geheul der Wölfe erfüllten und von Schneestürmen zugewehten Wald allein mit dem Kind zu überwintern? Leider fügte sie nicht hinzu, daß sie nicht allein bleiben und daß sich Beschützer bei ihr einfänden würden.

Ich berichtete Alexander Alexandrowitsch von dem Gespräch und sagte, sie sollten abfahren, ich aber wolle noch ein wenig in der Mühle bleiben, um einen Aufsatz über die historischen Quellen der Pugatschowüberlieferung fertigzustellen, den ich auf seine Veranlassung in jenem Sommer begonnen hatte; sobald ich Jewgenija Wikentjewna geholfen hätte, in Jurjatin einen Winkel zum

Wohnen ausfindig zu machen, würde ich mit dem abgeschlossenen Aufsatz nach Hause kommen – meiner Schätzung nach im November oder doch spätestens am Ende des Monats.

Es war kein Hintergedanke dabei. Dies war meine wahre Absicht. Und niemand zweifelte daran. Aber meine Verwandten erwiesen sich als weitblickender. Sie nahmen meinen Entschluß mit großer Unruhe auf, als wüßten sie im voraus, was geschehen würde, und begannen mir abzuraten. Die Gespräche zogen sich über die halbe Nacht hin, sie zerstörten die Ordnung des Tages, und am Ende kam es zu allgemeinen Tränen. Aber ich gab nicht nach. Es war nötig, die Reise um einige Tage zu verschieben, danach konnte sie nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Nach einem dieser Gespräche mit Alexander Alexandrowitsch konnte ich lange nicht einschlafen; ich lag auf dem Fußboden des Wärterhäuschens, auf den ich übergesiedelt war, um die ruhig im Bett schlafende Tonja nicht durch die Intensität meines Wachens zu stören.

Den ganzen Tag über hing ein Regen in der Luft, an der Grenze zu einem Sprühregen, ohne in Tropfen herabzutropfen. Hin und wieder klarte es auf. Wenn der Himmel mit den Kiemen seiner Wolken so viel Licht und Frische aufgenommen hatte, wie darin Platz fanden, schien er heranzuschwimmen und dann tief über dem Hof dahinzujagen. Er zerriß den dichten Nebel in Höhe der Ohren. Doch nur für einen Augenblick. Dann schoben sich die Nebelschwaden wieder zusammen. Es wurde finster, als wäre es Nacht.

Wir hatten uns bei ihm unterhalten, im Stockwerk über dem Istominschen Erdgeschoß. Seit einiger Zeit kränkte es mich, wenn in ihrer Abwesenheit von ihr gesprochen wurde; es haftete dem die Empfindung eines Verlustes an. Ich wollte dieser Schwäche enttrinnen. Wir erwähnten sie nicht.

An diesem Tag machte sie zum ersten Mal Feuer. Bei Alexander Alexandrowitsch war es heiß und qualmig. Die ganze Zeit über zündete er das Licht an und löschte es wieder aus, je nach dem Wetter, und immer, wenn er das Lampenglas auf die gitterförmige runde Fläche des Brenners setzen wollte, spielte er damit, wobei er es in der Hand hin- und herrollte und es mit dem Atem anwärmte. Aber dies erleichterte die Verständigung in keiner Weise. Für ihn stand fest, daß ich Tonja gegenüber erkaltet war und Schura nicht richtig lieb hatte, und man hätte eher einen Berg versetzen können, als ihn von seiner Meinung abzubringen.

„Ich halte es nicht mehr aus“, sagte ich. „Die Teutonen und die Meerengen stehen mir bis hier. Ich fühle, wie ich versumpfe und vertrottele. Tonja und Schura sehen das Leben nicht, wie es ist. In der Erwartung des Friedens verliert es für mich seine Substanz. Denken Sie an den Protassow im „Lebenden Leichnam“. Ich muß mich zurückziehen. Als Schura zur Welt kam, machte ich mir keine Sorgen über seine Zukunft. Wie gut war mir alles

gelingen, was für ein weites Wirkungsfeld zeichnete sich vor mir ab! Ich hatte begründete Hoffnungen, daß er später auf jemand zurückblicken könnte wie ich auf Sie, wenn Sie auch nicht mein Vater sind. Was für eine Kindheit haben Sie mir zuteil werden lassen, mit welchen Bildern haben Sie mich umgeben! Es ist freilich bedauerlich, daß ich nicht irgendein Handwerk erlernt habe, doch derartige Klagen wird man in Rußland häufig hören. Eine auf Täuschung abzielende Bildung wird für lange Zeit unser Fluch sein. Doch daran tragen Sie keine Schuld. Aber für die Erziehung werde ich Ihnen immer dankbar sein. Ich wollte meinem Kind etwas Ähnliches hinterlassen. Wer hätte angenommen, daß uns etwas so Unerhörtes zustoßen würde. Haben Sie sich Schura einmal ordentlich angesehen? Im Gesichtsausdruck ähnelt er Tonja, aber in der Lebhaftigkeit und dem Spiel der Züge geht er nach mir. Die Augen hat er nicht von uns, sie gehören nur ihm allein; doch es wäre besser, wenn sie anders blickten. Es liegt etwas Flehentliches und ein nicht kindlicher Schrecken darin. Als seien es nicht Augen, sondern Hände, die ausgestreckt würden, kommendes Unglück abzuwehren.“ Ich konnte es nicht mehr aushalten und begann zu weinen. „Betrogene blicken so. Und betrogen habe ich ihn, als ich ihn mit unerfüllbaren Hoffnungen ins Leben lockte.“ Ich brach in untröstliches Schluchzen aus und hielt die Hände vors Gesicht. Alexander Alexandrowitsch blies die Lampe aus. Vom trüben Regenwetter bis zur Unkenntlichkeit entstellt, drang der bleiche Tag ins Zimmer ein. Alexander Alexandrowitsch schritt durch den Raum und nahm mich nach allen Regeln der Kunst auseinander. Unten buk man Kartoffeln in der Asche und rasselte mit der Ofenklappe.

Ein jäher Schlag an die Fensterscheibe ließ uns die Köpfe wenden. Vom Wind plattgedrückt wie Silber und Quecksilber, strömte das Wasser darüber hin. Zwei Ahornblätter klebten daran, als wären sie angewachsen. Sehnlichst wünschte ich, daß sie sich ablösen könnten, als wären es nicht die Blätter, sondern mein Entschluß, in der Mühle zu überwintern, der mich nicht weniger bedrückte als meine Angehörigen. Aber obwohl das Wasser in Strömen über die Scheibe lief, rührten die Blätter sich nicht von der Stelle, und das deprimierte mich.

„Warum sprechen Sie denn nicht weiter?“ fragte ich Alexander Alexandrowitsch. „Sie wollten etwas über meine Eltern sagen. Nun ja – ein verbannter Pole und die Tochter eines Kantonisten... Und ich habe sie drei Jahre nach meiner Geburt verloren und sie viel zu spät aus den Erzählungen anderer kennengelernt. Und was weiter? Weshalb haben Sie in die Sache hineingezogen?“

„Daß du dich gar nicht schämst! Nach wem bist du nur geraten? Wenn sich schon einer Sorgen um das Vaterland machen muß, dann bin ich von Gott dazu ausersehen. Ich, Alexander Gromeko, bin hier alteingewurzelt, Mitglied des Kriegsindustrie-Komitees, nein, nicht Mitglied, verdammt noch mal, sondern Kon-

sultant, und auch nicht des Komitees – bei dir verheddert man sich ja ganz und gar, doch darum geht es gar nicht. Ich sehe voll Vertrauen in die Zukunft, aber dich schreckt das Herannahen der Revolution.“

„Mein Gott, was für eine Niedertracht! Das ist ja wirklich nicht anzuhören! Wenn Sie sich schon über mich lustig machen, dann übertrieben Sie wenigstens nicht.“

„Was heißt hier lustig machen? Ich bin keineswegs zum Scherz aufgelegt. Es würde mich interessieren, was du sagtest, wenn ich es nicht im Scherz gesagt hätte.“

„Ich würde Sie an ihre eigenen Worte damals nach der Rückkehr von Golomennikow erinnern. Wissen Sie noch – Sie sind anlässlich des Namenstages von Marja dorthin gefahren? Erinnern Sie sich, wie er Sie damals niedergeschmettert hat? Der Zerfall einer Armee, die ihre Niederlage begriffen hat, ist noch längst keine Revolution – so haben Sie es mindestens wiedergegeben. Die Wogen des gesellschaftlichen Unmuts schlagen höher als neunzehnhundertfünf, doch die Lage ist eine andere. Die Tage der Arbeitsgruppe im Kriegsindustrie-Komitee sind gezählt, und man wird sie über kurz oder lang allesamt hinter Schloß und Riegel bringen. Wenn die zersplitterten Kräfte nicht gesammelt werden, bevor der Orkan losbricht, dann kann uns die Anarchie überwältigen. So Golomennikow, nicht Sie oder ich, sondern ein Mensch, der die Revolution kennt wie seine Westentasche, mit Verbindungen nach Finnland und zum Untergrund in Petersburg... Aber, warum sehen Sie mich so verständnislos an? Ich wiederhole doch nur, was ich von Ihnen selbst gehört habe, falls Sie es nicht erfunden haben. Von was für einer Revolution sprechen Sie denn? Und handelt es sich überhaupt darum?“

Das Gespräch zog sich in die Länge und kehrte zum vorigen Thema zurück. Ich erinnerte Alexander Alexandrowitsch an Erlebnisse aus der Kindheit, die ich in seinem Haus verbracht hatte. Diese Erlebnisse bedrängten mich auch des Nachts. Hinter dem Ofenschirm drang Schuras Gemurmel hervor. Er lachte im Schlaf. Von nebenan ertönte Tonjas gleichmäßiges Atmen.

Ich gab mich meinen Erinnerungen um so lieber hin, als ich mich durch sie viel enger mit den Schlafenden verbunden fühlte als durch meine damalige, mir wie zum Hohn geschenkte Freiheit. Das eine oder andere davon will ich erzählen.

3. Der hochmütige Bettler

Ein heißer Apriltag der Jahre 1902 oder 1903. Offenbar ist es in der Thomaswoche¹, vor der in Moskau gewohnten Abkühlung des Maimonats. Ringsum die Weite und Hörbarkeit von fernher,

¹ erste Woche nach Ostern.

die dem lang-tosenden Ausklang des Osterfests gefolgt sind. Der Himmel ist noch nicht trocken von dem ganztägigen Läuten, mit dem er die Karwoche über besprengt worden ist.

Ich bin neun, stehe im zehnten Lebensjahr. Seit einer halben Stunde schlendere ich müßig durch die Dritte Bogojawlenski-Gasse, schaue in die Höfe und starre selbstvergessen zu den Glockentürmen hinauf. Bald werde ich hierher, in das Haus der Gromekos, ziehen. Einstweilen bin ich in dieser Gasse, obwohl ich sie häufig besuche, ein Fremder und kenne die Örtlichkeiten noch nicht gut.

Ein Platz ist in der Ferne zu erkennen, dort hinter dem Holzhof, der am unteren Ende der Gasse steil abfällt. Ich weiß nicht, daß es die Bolschije Skotniki sind, von denen ich in zwei, drei Jahren so beeindruckt sein werde, und daß eines der beiden Gebäude auf dem Platz, jenes mit den vielen Fensterscheiben und den nackten Klinkern, die Schtschepichin-Werkstätten sind und das andere, mit ockergelbem Anstrich versehene, die Anilinfabrik einer Aktiengesellschaft. Und ich weiß auch nicht, daß die schöne Kirche mit den dreizehn Kuppeln im oberen Teil der Gasse – im Widerspruch zu ihrem heutigen Namen – nach der darin befindlichen wunder tätigen Ikone eigentlich „Die Auffindung der Verunglückten“ heißt.

Ich wohne noch bei Fjodor Stepanowitsch Ostromyslenski, einem Mann, der mit den Gromekos weitläufig verwandt ist und den ich wie alle andern Onkel Fedja nenne. Niemals habe ich darüber nachgedacht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis er zu mir steht. Matrjona Iwanowna Belestowa, die Tochter eines Psalmsängers, seine blutjunge Hausgenossin und ebendeshalb aus der eigenen Familie verstoßen, nennt ihn meinen Wohltäter, was soviel heißt wie den Menschen, der berufen ist, für mich zu sorgen. Soweit ich zurückdenken kann, war ich immer mit ihm zusammen, wenn ich auch nicht weiß, wie ich zu ihm gekommen bin.

Augenblicklich ist er bei Gromeko, doch mich hat er auf der Straße warten lassen, damit ich gleich bei der Hand bin, wenn er mich dort brauchen sollte. Ich stehe auf Wacht, ich lauere der Minute auf, obgleich ich nicht weiß, wie ich ihr erfahren soll.

Gestern hat man ihn durch eine offensichtlich unerfreuliche briefliche Mitteilung hierherbestellt. Sie wurde abends abgegeben, und bis dahin war der Tag wie am Schnürchen verlaufen. Nach dem Mittagessen hatte Onkel Fedja die kaputte Küchenuhr auseinandergenommen. Das war seine große Leidenschaft. Er hatte in seinem Leben unzählige Uhren in ihre Teile zerlegt, aber keine einzige wieder zusammengesetzt. Dann, als er mich wegen der falschen Tabaksorte gescholten und mich in die Sretenka geschickt hatte, um neuen zu besorgen, stopfte er sich Papirossy. Dann, als er sich an die wackligen Schemel erinnerte, ging er mit Stemmeisen und Hobel in die Küche, um neue Beine anzubringen, aber er brachte die Arbeit nicht zu Ende, sondern machte Motja nur

Scherereien: Er übersäte die Wäsche auf dem Plättbrett mit Hobelspänen und schüttete die Kanne mit dem heißen Tischlerleim auf dem Boden aus.

Dann setzte er sich ans Fenster mit Max Stirners „Der Einzige und sein Eigentum“, einem wirklich schädlichen und von groben Irrtümern strotzenden Buch, auf das er geschimpft hätte, selbst wenn es die Stimme der Wahrheit gewesen wäre. Bücher las er eigentlich nur, um sie in Anwesenheit von mir und Motja zu widerlegen. Er hatte die Angewohnheit, beim Lesen eine Melodie vor sich hin zu summen, obwohl er gar kein Gehör besaß. Den Stirner las er aus irgendeinem Grund nach der Weise von „Steht ein Eichbaum im tiefen Tal“, die er immer wieder unterbrach, um „Ach, du Halunke! Na warte, ich werds dir zeigen!“ und ähnliches auszurufen.

Unterdessen nahm das Leben auf dem Hof seinen Lauf. Er war an einer der Gassen zwischen der Sretenka und dem Zwetnoi-Boulevard gelegen. Leise Triller sandten die Kanarienvögel eines Hagestolzes aus, der sich sonntags auf der Truba¹ sein Brot damit verdiente. Für die Tataren, die Pferdefleisch zum Verkauf anboten, wurden ausgeweidete blaue Roßleiber mit klugen marmornen Köpfen herangeschafft und abgeladen. Der vor kurzem aus dem Knast entlassene Gockel unter den Pferdehändlern verprügelte seine Puppe, wie man hier sagte, sie gab aufreizendes Gekreisch von sich, entschlüpfte dann aber verführerisch zerzaust auf die Gasse, um dem erstbesten ihr Leid zu klagen. Völlig teilnahmslos und gleichsam versteinert vom Quartalssuff, stand eine alte Bettlerin mit gegrätschten Beinen neben der Müllgrube. Die Trödlerin, eine Alte mit Sägespänen in einem Sack, der wie ein knochiger Fortsatz von ihr aussah, beschenkte sie mit einer Selbstgedrehten. Die Augen zusammenkneifend, rauchten die beiden mit Lungenzügen, husteten sich mit Baßtönen frei und sahen, während sie ausspuckten und sich am Hintern kratzten, auf zum roten Himmel mit der runden Sonne, die genau über der Hoföffnung stand.

Der Brief wurde vor dem Abendessen abgegeben. Bei Gekrösuppe mit Gurken und Kalbsfußsülze beklagte sich Onkel Fedja über das Lügengeschwätz der Leute, von dem er seit seiner Jugend verfolgt wurde.

„Es wäre trotzdem besser, wenn Sie irgendwo eine Anstellung fänden“, bemerkte Motja schüchtern. „Es wäre für Sie selbst angenehmer, und es wäre leichter, den Leuten ins Gesicht zu sehen. Wäre nicht eine Anstellung in der Druckerei des Archivs etwas für Sie? Von der Stadtschule will ich nicht reden. Kinder zu unterrichten ist offensichtlich nicht nach Ihrem Geschmack, und es gibt in der Tat nichts Schlimmeres, als zu sehen, wie die Obrigkeit in den Fibeln nach aufrührerischen Gedanken sucht.“

¹ Name eines Marktes, auf dem vorwiegend Vögel feilgeboten wurden.

‘Wovon lebt Onkel Fedja?’ überlege ich meinerseits, während ich durch die Dritte Bogojawlenski bummele. Alexander Alexandrowitsch liest in der Petersakademie und schreibt naturwissenschaftliche Lehrbücher, sein Bruder Nikolai ist Professor für Römisches Recht, sein Schwager Kantschugin hat eine Arztpraxis. Im Geist lasse ich alle, die ich kenne, Revue passieren, bis zu den mir bekannten Tischlern, Schustern und Zimmermädchen, und komme zu der Schlußfolgerung, daß Onkel Fedja ein Geheimnis kennen muß, weil er weder erntet noch sät und sich dennoch ernährt wie die Vögel in den Lüften, und vielleicht sogar besser.

Im Unterschied zu unserer Gegend sind die angrenzenden Gebiete der vier Bogojawlenski-Gassen voller Reinlichkeit und poetischen Zaubers. Unermüdlich machen sich im Schatten die Sperlinge zu schaffen, die Kieselsteine duften nach dem Bratensatz der Sonnenglut. In einer dichten Dunstglocke, so scheint es, hängen die Triebe aus den betäubend, fast ätzend riechenden Lindenknospen herab. Und im Kirchgarten an der „Auffindung der Verunglückten“ stehen die Pappeln schon im jungen Grün, und es sieht aus, als wäre es das volle, der Hitze wegen eingewechselte Sommerlaub.

Aber unten ist es noch feucht. Auf dem Holzhof schwimmen die weiß-safrangelben Scheite haufenweise in der heißen Schokolade des Schlammes.

Wie das Ei im Tiegel hat sich der blaue, weißwolkige Mittag in den Pfützen niedergelassen. Die Karwoche über hatten hier die Gänse geschnattert, und ihr Weiß hatte mit den letzten Schneewehen gewetteifert.

Doch jetzt gibt es hier weder Gänse noch Schnee. Die großköpfigen Weiden vor dem Kontor sind ganz betäubt vom Geschrei der Krähen. Bänglich und besonnen spazieren die Hühner im Hof herum. Die ganze Nachbarschaft der Höfe antwortet dem Hahn, der hinter dem Holzstoß versteckt ist. Doch da erscheint er schon selbst, butterköpfig und seidenbärtig, der mönchskuttentragende, glasperlenglitzernde Vogel aus dem Gold der Samoware. Offenbar ist es wieder an der Zeit, daß er sein „Habt acht“ durch sämtliche Wachstuben rasseln läßt – so hoch reckt er sich empor, als ob er einen Zollstock verschluckt hätte, bevor er lostrompetet. Dann, als stäke ihm ein Knochen im Halse, erstickt er fast an seinem Gekräh, und während er an der Glut der Federn verkohlt und mit dem Schwanz Funken sprüht, entspannt er sich nach dem Solopart, als hätte er seinen Magen erleichtert. Still ist es ringsum. Glühend heiß.

Aber was ist das? Ein Signal für mich? Die Augen zusammenkniefend, als fürchte sie sich vor einem Schuß, macht Gromekos altes Hausmädchen Glafira Nikititschna das Fenster des Gästezimmers auf. Nachdem sie die Fensterflügel festgehakt und ihre Arme unter der Schürze verschränkt hat, läßt sie sich mit den Unterarmen und der Brust auf das Fensterbrett nieder. Vor ihr, jenseits der Straße, befindet sich ein zweistöckiges Steinhaus.

„Ihr habt wohl eine Neue“, ruft sie gedämpft, als sei es von einem Zimmer ins andere, irgend jemandem im Dachgeschoß zu. „Ihr müßt ihr sagen, sie soll vorher Kreide nehmen, sonst wird es wer weiß wie: Man wischt und wischt, und es gibt ein furchtbares Geschmier.“

Was ihr geantwortet wird, ist nicht zu hören. Aus dem Gromekoschen Kellergeschoß kommt der Tapezierer Muchrygin, eine Charaktergestalt, die durch ihre Lachlust und ihre Neigung zu Gewissensbissen vor der Zeit faltig geworden ist.

„Hören Sie auf ihren Rat, Madame“, sagt er in die gleiche Richtung, „Selbst wenn man das Kleid rafft, kann man das Dach nicht damit decken. Und um Fenster zu putzen, braucht man die versiertesten Maler. Da macht es die Seife nicht, man muß Kreide nehmen.“

Ich biege um die Ecke des Hauses, gehe durch den Hof und über die Hintertreppe hinein.

Hier gelange ich zunächst in einen weitläufigen Hausflur. Er wird durch ein breites, dreiflügliges Fenster erhellt. Eine Treppe führt hinauf ins Mittelgeschoß.

Draußen, vor dem Hausflur, erhebt sich eine alte, dreistämmige Pappel. Im Sommer, wenn sie sich belaubt, scheint das Fenster aus Flaschenglas gemacht zu sein, und dann spielen unaufhörlich die Bierreflexe der schwarzbraunen Sonnenglut darauf.

Ich spähe durch die offenstehende Tür und sehe am Fenster des Gästezimmers Tonja mit einer kindlichen Handarbeit beschäftigt. Ohne diese eines Blickes zu würdigen, lauscht sie gespannt einem Geräusch.

„Was machst du hier?“ frage ich und gehe auf sie zu.

Sie gibt mir keine Antwort und legt den Finger auf die Lippen, aber dann sagt sie plötzlich: „Du bist jetzt arm. Bettelarm. Sie sagen, er hat dich geplündert wie einen Beerenstrauch. Streite nicht, ich hab es selbst gehört. Sie sagen, er hat alles durchgebracht und verpraßt. Sie geben dich ins Gymnasium. Du sollst bei uns wohnen.“

Die Tür zu Anna Hubertownas Boudoir, zum sogenannten Großmutterstübchen, ist spaltbreit geöffnet. Onkel Fedja hält von innen die Klinke fest. Offensichtlich ist er eben dabei zu gehen. Doch dann drückt er sie wieder zu, es bleibt nur ein Spalt. Drinnen ist es verraucht, und viele Leute sind dort. Aber das kann eine Sinnestäuschung sein. Sie wird von der Einrichtung des Stübchens begünstigt.

Dort prasselt von der Zimmerdecke ein wahrer Regen tönender gläserner Anhänger hernieder, von den Blumenständern aus Bambus lassen sich Ranken wogender Pflanzen, vor den Fenstern transparente Glimmerbildchen an dünnen Ketten und an der Tür ein Vorhang aus Schilfrohr mit Glasperlen herab, in dessen gekrümmten Strömen Onkel Fedja steht.

„Und obendrein ist er noch beleidigt!“ drang es mit dem Gerüll einer Tigerin aus diesem Schilfgestrüpp. „Man denke nur mal, eine Waise aus Kasan!“

Das ist die Stimme der Schwägerin Gromekos, einer Kaffeetante, die für Pelzstolen schwärmt, einer Brünetten mit buschigen Augenbrauen. Onkel Fedja kann man nicht hören, er spricht halblaut. Vermutlich schlägt er vor, mich in Augenschein zu nehmen. Das ruft einen weiteren Sturm der Entrüstung hervor. Alle reden zu gleicher Zeit, es ist nicht zu unterscheiden, wer worüber spricht.

„Die Kinder mit hineinziehen? Sie sind wohl nicht ganz bei Trost!“ – „Sie Faulenzer!“ – „Vor kurzem hat man bei uns am Vormundschaftsgericht... Du kannst herumhacken, auf wem du willst, Bruder, aber die Kinder...“ – „Von Gottesfurcht halten Sie nicht sehr viel.“ – „Sagen Sie mal, was Sie mit dem Pfandbrief getan haben.“ – „Bravo, Aneta. Ja, ja, sag uns, was du mit dem Pfandbrief gemacht hast.“ – „Die Wissenschaft?“ – „Im Interesse der Wissenschaft?“ – „Nein, das ist ja zum Totlachen!“ – „Ein Sonntagsapotheker, wie er im Buche steht.“ – „Anisgeist ansetzen oder Johanniskrautaufguß... Ha, ha, ha!“ – „Unser Retter... Fjodor, hör sofort auf, sonst zeig ich dir vor allen Anwesenden eine Kirchentreppe, daß du mich heulend um Erbarmen bittest, als wären wir auf dem Räubermarkt.“ – „Beruhige dich doch, Sascha, ich bitte dich. Jede Aufregung ist schädlich für dich.“

Die Stimmen verebben. Nach dem allgemeinen Geschrei wirkt ihr ruhiges Dahinströmen wie Grabesstille. Im Familienrat wird jetzt etwas Praktisches erörtert. Man bittet Onkel Fedja ins Zimmer, an den runden Tisch. Durch rasch aufeinanderfolgende Zurufe schickt man Glascha bald nach Tee und Petits fours, bald nach Schreibzeug. Sie bringt es auf dem Tablett herein, dazu Siegellack und eine Kerze im Kerzenhalter. Ein Schriftstück wird aufgesetzt und unterzeichnet.

Tonja und ich wollen eben hinauf ins Kinderzimmer gehen, doch wir bleiben wie angewurzelt stehen. In der Türöffnung erscheint Onkel Fedja, eine lange Bohnenstange mit Brille, wirr herabhängendem Haar und grauen Hosen, die in weichen Filzstiefeln stecken – ein lebender Vorwurf gegen alles, was da krecht und fliegt.

Er sieht uns nicht. Als er in der Mitte des Vorsaals angelangt ist, hält er in vollem Lauf inne. Nach vorn gebeugt, mit der gestreckten Hand seinen Bart durchkämmend, versinkt er in Nachdenken. Dann, nachdem er sich entschlossen hat, ihnen ein letztes Wort zu hinterlassen, wendet er sich wieder dem Boudoir zu.

„Onkel Fedja!“ rufen wir ihm zu und machen ihm unsere Anwesenheit bewußt.

„Was wollt ihr denn hier, Kinder?“ fragt er; den mir erteilten Auftrag hat er vergessen.

Von dem Vorsatz, ins Eckzimmer zurückzugehen, abgekommen, lenkt er in seiner Zerstretheit die Schritte dem Ausgang zu, doch dann besinnt er sich auf unsere Gegenwart und kehrt um.

„Leb wohl, Patriki“, sagt er mit leicht zitternder Stimme.

„Wachse und gedeihe hier, wie es bei mir gewesen ist. Das Gute, das ich in dich ausgesät habe, wird nicht vergebens gewesen sein. Ihr seid noch zu jung, um zu begreifen, was hier, in diesem Weiberkabinett, geschehen ist. Der Herr hat gelitten, und er hat uns befohlen. Leb wohl, Patrik. Leb wohl, Antonina. Und laßt mich bitte allein gehen.“

Am nächsten Tag zog ich zu ihnen und wohnte nun unter einem Dach mit Tonja.

Als ich in der Zeit danach zugleich von der Leidenschaft für die Geschichtsschreibung und die Literatur ergriffen wurde und meine innere Bestimmung mich mit der Lehre von den Typen in Berührung brachte, war mein Vertrauen zur Theorie durch die Erinnerung an meinen ersten Beschützer an der Wurzel getroffen. Mit meiner kindlichen Erfahrung kam ich zu der Auffassung, daß alles Typische gleichbedeutend sei mit etwas Unnatürlichem, und daß, strenggenommen, nur jene Typen seien, die zum Schaden der Natur vorsätzlich selbst in sie eindringen. Weshalb, meinte ich, sollte man das Typische auf die Bühne zerren, wo es doch im Leben selbst theatralisch war? Onkel Fedja glaubte, daß seine Stärke in der Parodie auf den Volkstümler und die schöne Seele läge, die er spielte, ohne von diesen Dingen die geringste Ahnung zu haben.

Seine Vorliebe für abstrakte Neutra und unbestimmte Pronomina führte er auf seine philosophische Ader zurück. Er kam sich vor wie ein Diogenes der Sretenka, und seine durch nichts hervorstechende Gräue erschien ihm als Eigenschaft des einfachen Volkes.

Wie konnte es zu einer derartigen Anmaßung kommen? Um ihn herum lebte und webte dieses Volk, das durch und durch Handwerker, Detailkenner, Sachverständiger, Meister und Fanatiker des einzelnen, Kind der Leidenschaft und Spielball des Zufalls war; er aber gewährte nicht das scharf Ausgeprägte daran, weil er es mit jener verwässerten und aufgeblasenen Allgemeinheit aufnahm, die er selbst darstellte als jemand, der in keiner Sache vernünftig ausgebildet, der ein Ungefährer, ein Niemand-mensch war.

Die Jahre gingen dahin und änderten ihn nicht. Selbst das Unglück änderte ihn nicht. Die Suppe mußte Motja für ihn auslöffeln, die seine Bücher verkaufte und dank ihres kalligraphischen Talents mit der Abschrift von Schriftstücken und notariellen Akten Geld verdiente.

Als Chemiker aus Liebhaberei nach dem Vorbild Rubakins brachte er eines Tages ein Gemisch zum Kochen. Aus unerfindlichen Gründen zersprang das Reagenzglas in tausend Stücke. Einen Moment später war sein Gesicht in blutigen Brei verwandelt. Unter unsäglichen Qualen erblindete er, beide Augen waren voller winzig kleiner Glassplitter.

In den letzten Klassen des Gymnasiums erteilte ich bezahlten Nachhilfunterricht. Eine dieser Stunden hielt ich in der Zarizynskaja. Die Familie Ostromyslenski wohnte nach dem Unglücksfall in Chamowniki. Ich hatte die Adresse. Und ich beschloß, sie aufzusuchen.

Die Fenster der kleinen Küche, die sie in einem ansonsten unbewohnten, an ein Büro abgegebenen Quartier gemietet hatten, gingen zur Straße hinaus. Durch sie war Motjas gleichmäßige Stimme zu vernehmen. Sie las etwas vor. An Ersteinbildung, Materie und Form war zu erkennen, daß es sich um Aristoteles in einer vorsintflutlichen Übersetzung handelte.

„Verstehen Sie das?“ fragte Motja, im Lesen innehaltend.

„Was gibts da schon zu verstehen? Ausgesprochener Galimatias. Gegen den Verfasser will ich nichts sagen, ein ehrwürdiger Name; doch der Übersetzer wird dran glauben müssen. Fahr bitte fort.“

Da rief ich sie an. Beide freuten sich, als sie mich erkannten, und baten mich einzutreten. Aber ich hatte nur eine Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden. So versprach ich, ein andermal vorbeizukommen, und sagte, ich wollte nur einen Moment unter ihrem Fenster stehenbleiben. So sprachen wir denn miteinander.

Zunächst ging alles gut. Onkel Fedja hatte sich kaum verändert. Die Gesichtsverletzungen waren völlig verheilt. Er war leicht ergraut. Das Gespräch verlief im Einklang mit der warmen Luft der Straße, unseren Standorten in der Küche oder auf dem Bürgersteig und unserem Altersunterschied.

„Ach, wie die Jahre vergehen“, sagte Onkel Fedja. „Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Motja, besieh ihn mal von allen Seiten und gib mir eine Beschreibung. Tut er sich wichtig? Ist er groß geworden? Sicher tut er sich wichtig, das Großmaul. Matrjona Iwanowna hat im Januar ihren Papa begraben, du solltest ihr dein Mitgefühl aussprechen.“

Mit diesem Satz hatte sich alles geändert. Auf einmal bemerkte ich Motjas Anmut und Jugend. Wie leicht konnte man sich in sie vergucken. So durfte er über ihren Verlust nicht sprechen, der alte Narr, der ihr keine Stütze und vermutlich der Urheber ihres Kummers war. Es wurde mir unträglich.

„Die Erde schwillt an von Gerüchten. Ich habe von den Proben deiner Feder gehört“, sagte er und begann ausführlicher darüber zu sprechen. Prinzipiell hieß er sie gut, doch warnte er mich vor schlechten Vorbildern. Unter diesen verstand er gerade das, was ich zu jener Zeit anbetete, wovor ich mich verneigte.

Im Ausschnitt zwischen dem Schnurrbart und dem Vollbart bewegten sich seine Lippen selbstgefällig wie zwei Weinbeeren aus Astrachan. Es war entsetzlich anzusehen, weil sie mit ihrem lebhaften Glanz den Eindruck erweckten, als seien sie der sehende Teil in dem glatten, von der Blindheit gleichsam zugezogenen und beruhigten Gesicht. Er belehrte mit Hochgenuß, als löffelte er eine

Nachspeise, und ich mußte ihm, um ihn nicht zu verärgern, wider Willen beipflichten.

„Komm doch wenigstens einen Moment die kleine Treppe herauf! Nur einen Augenblick!“ rief Motja, um der Pein meines unfreiwilligen Verrats ein Ende zu setzen.

Ich gehorchte. Als ich um die Ecke bog und den kleinen Hof betrat, fand ich sie, wie sie auf einer Stufe saß und eine überaus dicke Heilige Schrift auf den Knien hielt. Sie feuchtete einen Finger mit Spucke an, blätterte das Buch eilig durch und reichte mir, ohne den Kopf zu heben, zum Gruß ihre linke Hand.

„Sieh, Patritschok, was ich dir zeigen will. Sieh, was ich dieser Tage gefunden habe. Na, wo ist es denn hingeraten? Hier. Sieh einmal.“

„Und dreierlei Menschen“, so lautete einer der Verse, „haßte meine Seele: den hochmütigen Bettler, den verlogenen Reichen und den ehebrecherischen Greis...“

„Den hochmütigen Bettler“, wiederholte Motja triumphierend. „Wie gefällt dir das? Es trifft den Nagel auf den Kopf!“

4. Tante Olja

Alexander Alexandrowitsch hatte eine Halbschwester, Olga Wassiljewna, die die Höheren Frauenkurse von Guerrier besuchte. Sie war eine anmutige Blondine, die es liebte, zu reden und Schabernack zu treiben, ein geselliges Wesen und das reinste Quecksilber.

Sie nahm sich alle Einzelheiten des akademischen Lebens sehr zu Herzen, ob sie zu Hause war oder auf der Universität, und die Bedeutung, die sie ihnen beimaß, erweckte oftmals einen komischen Eindruck.

Im Jahr 1904, als sie eine Zeitlang in der Studentenmensa tätig war, erzählte sie mit glühender Begeisterung von dem Kampf, der zwischen der Kasse für gegenseitige Hilfe und der einstigen Beistandsgemeinschaft entbrannt war, die von der ersteren abgelöst wurde.

Alexander Alexandrowitsch begriff nicht, wie man mit solchem Eifer nicht etwa von der Hilfe für die Notleidenden sprechen konnte, sondern davon, wo und unter welchem Zeichen sie geleistet werden sollte.

„Was ist daran nicht zu verstehen?“ fragte Olja, nun ihrerseits verwundert. „Die Gemeinschaft ist eine offizielle Einrichtung, die einem Kuratorium untersteht, aber die Kasse ist ein demokratisches Unternehmen, und da sie sich mit den gegenwärtigen Bedürfnissen befaßt, wird sie der Politik nicht aus dem Wege gehen.“

„Verzeihung“, hatte Alexander Alexandrowitsch sich damals korrigiert, „ich behaupte nicht, daß es keinen Unterschied gäbe. Er ist im Gegenteil so offensichtlich, daß es sich nicht lohnt, ein

Wort darüber zu verlieren. Du aber räsonierst darüber wie über ein epochales Ereignis.“

Zu einem epochalen Ereignis wurde das Ganze denn auch.

In jenem Jahr eilte Olja von einer Zusammenkunft der Studenten zur andern und ließ keine ihrer Demonstrationen aus, von dort kam sie ab und zu mit brandneuen politischen Nachrichten zu uns. Als das Frühjahr 1905 herannahte, war sie schon eine bekannte und geschätzte Propagandistin geworden. Der Zufall führte sie damals mit einem fesselnden Menschen zusammen.

Mitte Januar, kurz nach den Ereignissen des Neunten, sprach sie in der Parfümfabrik Duchâtel, wo es zahlreiche Arbeiterinnen gab. Die Versammlung fand auf dem Fabrikhof, unter freiem Himmel, statt. Olja war auf eine umgestürzte Kiste gestiegen und rief die Versammelten auf, sich dem Warnstreik anzuschließen, der als Antwort auf das Geschehene vorbereitet wurde. Die Leute hörten ihr, auf dem Erdboden oder auf ebensolchen Kisten, die den Eingang zur Expedition und zur Warenkontrolle versperrten, stehend oder sitzend zu.

Die Eigentümer riefen die Kosaken herbei. In jenen Monaten waren sie nicht wiederzuerkennen. Das Bulyginsche Projekt¹ legitimierte den Aufruhr. Immer öfter wurde ihnen auf den Straßen Widerstand geleistet. Die Kosaken hielten in einiger Entfernung vor dem Fabriktor an und machten keinen Gebrauch von ihren Riemenpeitschen.

Wie dem auch sei, die Versammelten wurden aufgefordert auseinanderzugehen, aber Olja, die man als Sprecherin ertappt hatte, drohte die Festnahme. Da begannen die Arbeiterinnen, um das Bild zu verwischen, auf die Kisten zu steigen und sich etwas zuzurufen, und als sie Olja nach und nach in ihre Mitte genommen hatten, ließen sie sie untertauchen. In dem Gedränge, das vor der Pfortnerloge entstanden war, wurden ihr von irgendwelchen Händen ein Pelzmantel und ein Kopftuch übergeworfen. In dem umgehängten Pelz gelangte Olja mit der ganzen Schar aus dem Hof und kam unerkannt an den Kosaken vorüber. Dann löste sich die Menge auf, und als Olja etwa drei Straßen weiter wieder an das Tuch und den Pelz dachte, sah sie niemanden, den sie fragen konnte, wem die Sachen gehörten.

Im Namen einer Arbeiterin von Duchâtel kam am Sonntag ein Packer dieser Fabrik, Pjotr Terentjew, ein hochaufgeschossener Bursche in einer Wattejacke und hohen Stiefeln, um sie abzuholen. Er blieb an der Tür stehen und brachte die ganze Zeit kein Wort heraus, während Olja um ihn herumwirbelte, nicht aufhörte, sich zu entschuldigen, und die Sachen in ein zerrissenes, aber reinliches Laken wickelte.

Im März sah sie ihn zweimal auf Meetings außerhalb der Stadt. Auf dem ersten, wo sie eine Rede hielt, grüßten sie sich nur.

¹ Gemeint ist das Projekt eines gewählten gesetzberatenden Organs der Ständevertreter, das unter dem damaligen russischen Innenminister A. G. Bulygin Anfang 1905 vorbereitet und vom Zaren am 26. Juli bestätigt wurde.

Auf dem zweiten befand sie sich, da sie einer Unpäßlichkeit halber aufs Reden verzichtet hatte, selbst unter den Zuhörern, und hinterher kamen sie ins Gespräch.

Das Meeting war von den Möbeltischlern aus Stromynka unter Beteiligung ihrer Nachbarn, der Arbeiter von der Jaroslawler Eisenbahn, organisiert worden. Terentjew stand weder zu den einen noch zu den anderen in irgendeiner Beziehung. Olja wunderte sich, daß ihn dennoch alle kannten.

Der Frühling hatte eben erst begonnen. In den Talkesseln hatte sich der Schnee wundgelegen und war zu schwarzen Kreidestücken geworden. Die Leute saßen auf den Baumstümpfen und Stämmen, die vom kürzlichen Holzschlag zurückgeblieben waren.

Auf der Versammlung sprach ein Anarchist. Schon vorher hatte sich Terentjew zu Olja gesetzt. Er breitete auf den Knien eine Zeitung aus, schnitt Brot und pellte hartgekochte Eier ab. Sofort, als der Anarchist zu reden anfangt, kommentierte er seine Ansprache mit Bemerkungen, die Verstand und Belesenheit verrieten. Olja überlegte: ‚Was mag das nur für ein Packer sein?‘

Plötzlich schloß der Anarchist seine Rede, und alle begannen zu rufen: „Terentjew! Petka! Mach die Anarchie zu Kleinholz!“

Er ließ sich nicht lange bitten, schüttelte die Eierschalen und Brotkrumen sorgfältig von der Kleidung, wischte sich den Mund ab, stand auf und begann seinem Vorredner zu widersprechen.

Die gesellschaftlich aktiven Intellektuellen sprechen gern in der Art des Volkes; es wirkt gemacht, selbst wenn sie die Redewendungen nicht verdrehen. Steigt das Volk aber zur gesellschaftlichen Aktivität auf, so kopiert es diese Kopie, obwohl es das in ihm lebendige Originelle ohne das Gefühl von Heuchelei verwenden könnte. So sprach auch Terentjew, bald ungereimt, mit angelesenem Wissen, bald übertrieben bildhaft. Aber alles war klug und lebendig.

Der öde Kahlschlag war von stelzbeinigen Tannen und Kiefern umgeben. Dahinter zeichnete sich violett das nackte, eben erst durch den Winter gekommene Dickicht ab. Lokomotivenqualm stieg daraus auf und schwebte in Flocken zum Stadtrand.

Sie kehrten zu Fuß zurück. Über die Sokolniki-Chaussee sausten die Wagen der vor kurzem in Betrieb genommenen elektrischen Stadtbahn. Olja ließ ein paar Worte über den Strom und die Zugkraft vom Stapel, und Terentjew wunderte sich über ihre Unwissenheit in technischen Dingen. Um über die peinliche Situation hinwegzukommen, sagte er: „Ich hätte großes Interesse, das ‚Kommunistische Manifest‘ zu lesen, aber ich habe nicht die blasseste Ahnung von Geschichte. Es ist bald Sommer, da brauchen Sie nicht zu studieren. Wie wäre es, wenn wir es zusammen machten?“

Nach zwei, drei Begegnungen hatte sie es heraus. Er war der Sohn eines Nieters im Depot von Ljuberzy; mit knapp zwölf Jahren stellte er sich auf eigene Füße und schloß nacheinander zwei Schu-

len ab, die städtische und die Gewerbeschule; mit sechzehn trat er einen Posten als Meister mit einem Gehalt von fünfzehn Rubeln an; in jeder neuen Stellung lernte er dazu und vervollständigte seine Bildung durch Lektüre, so wechselte er von einer Fabrik zur andern; er war schon früh politisch aufgeklärt; wiederholt wurde in Polizeigewahrsam genommen und unter Geleit in andere Gebiete verschickt; und was die Hauptsache war, wie sie schon länger vermutet hatte, hielt er sich unter den Parfümerie-Packern verborgen, seit er aus seinem letzten Betrieb verschwinden mußte, in dem er sich neben der Montage von Lichtbogenlampen mit der Organisierung der Kollegen beschäftigt hatte.

„Sie sind sehr begabt, wissen Sie das?“ sagte sie zu ihm, wenn er, eilig einem Ziel zustrebend, rein zufällig auf einen Sprung bei ihr hereinsah.

Sie holten von der Wirtin den Samowar herüber, und wenn Olja Tee aufgebrüht hatte, begann sie etwas zu erzählen, von dem sie am Vormittag oder tags zuvor selbst erst aus soundsovielter Hand erfahren hatte. Zum Beispiel vom unlängst abgehaltenen Dritten Parteikongreß oder davon, wie man sich in London und Genf zum Problem der Machtfrage verhielt. „Wir, die Sozialdemokraten, sind der Ansicht“, sagte sie. Oder von der damals noch neuen Spaltung: Die Organe der Sozialdemokratie wurden zu Organen des Kampfes gegen die Sozialdemokratie. Und sie lief immer wieder auf Zehenspitzen zur Tür, um nachzusehen, ob nicht jemand lauschte. Terentjew trank ein Glas Tee und noch eines, bedankte sich für das Gespräch und ging.

Manchmal, im Sommer, aber dies geschah später, wurde er vom Regen oder einer anderen Zufälligkeit aufgehalten. Er setzte sich, um etwas zu überdenken oder aufzuzeichnen. Es beschäftigten ihn Überlegungen zu mechanischen Vereinfachungen und Aufgaben, wie etwa die Erfindung eines Bohrers, mit dem man viereckige Öffnungen ausbohren konnte.

Olja las irgend etwas laut vor, er aber schnaufte, legte den Kopf auf die Seite, betrachtete seine Zeichnung von rechts und links und pfiff vor sich hin, doch hinderte ihn diese Beschäftigung keineswegs, Oljas Lektüre zu folgen. Das Zimmer hatte Fenster nach zwei Seiten, und sie machten sie sämtlich auf.

Durch die hinter den Stuhllehnen befindlichen sah man den Hof, durch die vorderen eine Gasse, und es fiel schwer, daran zu glauben, daß sie in Wirklichkeit nicht ganz voneinander getrennt waren. Aber plötzlich wurden sie durch Veränderung des gleichen Lichts vereinigt.

Gasse und Hof wurden von schweflig gelbem Licht überflutet, zum Zeichen, daß der Regen vorbei war. Dann aber kam er zurück, und ganz und gar in flimmernden, wie auf den Rahmen eines Webstuhls gespannten Strahlen. Das gelbe Licht wurde abgelöst von schwarzem, falls ein solcher Ausdruck erlaubt ist, und das schwarze von rotem. Im Sonnenuntergang flammten die

Vorhalle der Erlöserkirche von Peski und die Schädelhöhlen ihrer Glockentürme auf. Der stumm gewordene Samowar mußte angeblasen werden. Das gelang fast nie. So fachten sie das Feuer von neuem an.

Unbemerkt hatte sich die Dämmerung herangeschlichen. Olja hatte ihr Buch zugeklappt. Sie setzten sich zum Tee, als das Dunkel herabgesunken war. Nur die Hände, die Zuckerdose, der eine oder andere Bissen wurden vom rötlichen Hauch der Holzkohlen, die auf das Gitter über dem Zugloch des Samowars fielen, für einen Augenblick erhellt. Auf einmal kamen die Vorhänge oder die Buchseiten in flackernde Bewegung, leichtsinnig und beunruhigend wie das Flimmern eines Nachtfalters. Der Widerschein der Straßenlaterne war entweder auf den schwankenden Fensterrahmen oder das Augenweiß Terentjew oder eine nackte Kachel des Holländischen Ofens gefallen. Da wurde die ungehörige Erregung, von der Olja schon lange Zeit ergriffen war, offenbar.

„Es kommt wieder ein Gewitter von Dorogomilow her“, sagte Olja, und sie erhob sich, um die Fenster auf der Hofseite zu schließen, doch als sie zu ihrem Platz zurückkehrte, schlugen ihre Gedanken eine unerwartete Richtung ein.

Sie mußte an die Arbeiterin denken, die ihr Tuch und ihren Pelz für sie nicht geschont hatte, und alles, was mit dieser unbekanntem Frau zu tun hatte, begann sie über die Maßen zu interessieren. Aber irgend etwas an ihren Fragen behagte Terentjew nicht. „Eine Witwe, drei Kinder, eins kleiner als das andere, sie hat ein goldenes Herz“, er hüllte sich in fast völliges Schweigen, und Olja wußte nicht, worüber sie traurig sein sollte: darüber, daß sie der Unbekannten, die ihr nur Gutes getan hatte, Kummer bereiten konnte, oder darüber, daß sie ihr überhaupt keinen Kummer bereiten konnte, weil jene eine solche Macht und Stärke besaß.

Dies aber war im Sommer, sie hatten sich schon früher angefreundet, und schon im Vorfrühling hatte er ihr vorgeschlagen, einmal die Seinen zu besuchen. Sie begann im Fahrplan zu blättern, denn sie glaubte, daß er sie nach Ljuberzy zu den Alten eingeladen hätte. Doch es stellte sich heraus, daß die Seinen die Werkzeugabteilung der Kasaner Eisenbahnwerkstätten bedeutete.

Es wurden eben irgendwelche Maschinenteile geschmiert, und da das Dröhnen der Wellen ohnehin alle Stimmen übertönt hätte, gab man Terentjew die Freude durch Zeichen zu verstehen und nickte Olja unbestimmt zu. Einer schwenkte den Arm ein wenig, während er mit der Hand die Kurbel des Schraubstocks in schnelle Bewegung versetzte, ein anderer machte, zu seinem Nachbarn geneigt, eine Kopfbewegung nach den Eintretenden hin, und während er ihm etwas ins Ohr schrie und dazu lachte, kratzte er sich an der glattrasierten, runzligen Wange und begann kritisch prüfend in einem Haufen kleiner Eisenteile zu wühlen, um einen Drehstahl im Meißelhalter zu ersetzen oder ein Backenfutter

auszuwechseln. Mit träger Körperlichkeit, wie das Haar im Friiersalon, fiel das fette Silber der Eisenspäne auf den Boden. Wie manche Stände durch Tracht und Sprache zusammengeschlossen sind, so gehorchten alle Bewegungen, bis zu dem Lächeln und dem Blitzen der Zähne, dem Lauf eines unsichtbaren Motors, welcher die Schwiegermutterzungen der überdehnten Transmissionen anschwellen ließ. Hinter der ausgedehnten Glaswand mit den gesprungenen Scheiben fuhren, Fußböden und Gewölbe erschütternd, Züge und Lokomotiven vorbei. Aber die Pfiffe waren nicht zu hören, man konnte lediglich erkennen, wie sich Hähnchen aus weißem Dampf von den Ventilen losrissen und in den leeren Nachmittagshimmel flatterten.

Dennoch traten einige von Terentjews Freunden hier und da aus den Reihen der Maschinen. Die einen stellten sie, als sie sich für kurze Zeit entfernten, auf Leerlauf. Andere trennten sie, da sie ein wenig herumstehen und plaudern wollten, von ihrem Antrieb.

Die Teile, die, während sie sich drehten, ausnahmslos rund zu sein schienen, verloren beim Anhalten ihre Symmetrie. Was Walzen und Achsen zu sein schien, entpuppte sich, als es vom verlangsamten Lauf in den Ruhezustand übergang, als vierkantige Stangen von unregelmäßiger Form mit vorgestreckten Hälsen und unpaarigen Zapfen. Das gleiche geschah mit Terentjews Kollegen, sobald sie näher kamen. Das Allgemeintypische trat zurück angesichts der Stärke der Unähnlichkeiten und Unterschiede.

Sie drängten sich, obwohl einige von ihnen doppelt so alt waren wie er, mit dem Gebaren Gleichaltriger um einen Tisch nahe beim Eingang, auf dessen Platte Kurvenlineale und Winkelmesser angebracht waren; er setzte sich darauf und half Olga, damit sie neben ihm Platz fand.

„Ihr habt wohl Namenstag in der Parfümfabrik, daß ihr spazierengeht?“ fragten sie ihn zur Begrüßung.

„Ja, natürlich, den Tag des heiligen Märtyrers Duchâtel“, antwortete er mit verständnisinnigem Grien und fügte hinzu: „Nein. Wir feiern unseren eigenen Sabbat.“ Er wies zur Abrundung seiner Bemerkung auf Olga und machte sie und die anderen miteinander bekannt.

Alle gaben ihr zur Begrüßung die Hand, und wie immer waren es mehr Hände, als sie beim Anblick der Gruppe geglaubt hatte. Ein paar kannte sie schon von den Meetings im Konservatorium. Das war ihr sehr angenehm. Es hagelte Neuigkeiten. Jemand fragte: „Erinnerst du dich noch an Nasarow?“

„Selbstverständlich.“

„Nimm dich bloß in acht, wenn er dir über den Weg läuft. Er ist ein Provokateur.“

„Das ist doch nicht möglich.“

„Kannst dich drauf verlassen.“

„Wo ist er denn jetzt?“

„Denkst du, wir lassen uns alles bieten? Beim Februarstreik hat man auf unsere Forderung hin vier Mann entlassen. Da war er dabei.“

„Seht ihr, sie lesen euch jeden Wunsch von den Augen ab. Sie fangen an, Pfötchen zu geben. Und ihr wolltet es nicht glauben.“

„Wer hat es denn nicht geglaubt?“

„Ich war ja der erste.“

„Na, da haben wir doch die Bescherung!“

„Was denkst du denn? Früher wollte man euch immer auf Trab bringen und hat euch das Blaue vom Himmel versprochen, aber bei sich hatte man seine Bedenken. Es wird schon kommen, dachte man, aber erst hinter den sieben Bergen, wo die Meise zwitschert und prahlt, daß sie das Meer anzünden wird. Und – hast du nicht gesehen, hat sie es angesteckt. Wirklich angesteckt. Wir haben ihnen den Mehrwert gezeigt.“

Sie fingen an, ihm von der Verkürzung des Arbeitstages zu berichten, von der Erhöhung der Löhne und anderen Verbesserungen, die sie während seiner Abwesenheit im Februarstreik erzielt hatten.

Schon längere Zeit versuchte sich ein Modelleur einzumischen, er war dunkel wie eine angeräucherte Zigarettenspitze, hatte Haarbüschel in den Nasenlöchern und Ohren, und er runzelte die Stirn so angestrengt, als müßte er sie ganz und gar unter seiner schwarzen Brille verstecken. Angesichts der Unausführbarkeit dieses Vorhabens wirkte der obere Teil seines Gesichts enttäuscht und aufgebracht, doch der untere mit dem herabhängenden Schnurrbart lächelte zufrieden. Schließlich hörte man ihm zu.

„Das ist so!“ stieß er hervor und begann mit heiserer Stimme, so wie man mit der Zange Nägel zieht, die verborgenen Wörter herauszuzerren, anscheinend vom tiefsten Grunde der Milz. „Wenn es pfeift, sind im Hauptkontor Kurse über die Französische Revolution. Bei Gott, das ist wahr, oder der Blitz soll mich treffen. Der Lektor kommt jeden Mittwoch, und alles auf Staatskosten.“

„Das stimmt, das ist richtig“, versicherten die andern.

„Und auch über die Vereinigten Staaten“, fügte einer, der Genauigkeit halber, hinzu.

„Das ist für die, die es wollten“, wurde der Naseweis zurechtgewiesen, damit der geschlossene Eindruck durch ihn nicht zerstört wurde.

Der Modelleur kam von neuem zu Wort.

„Pugowkin hat heute Nachtschicht“, sagte er bedauernd. „Sonst hättest du erzählen hören, wie er die Soldaten abgefertigt hat.“

„Was denn für ein Pugowkin?“

„Den kennst du doch. So ein pflichtbewußter. Im sandfarbenen Anzug.“

„Kenn ich nicht. Zu meiner Zeit war er noch nicht da.“

„Das denkst du dir! Wir haben euch doch zigmal zusammen gesehen. Er spricht mit polnischem Akzent. Sandfarbener Anzug. Ein ganz akkurater.“

„Ich kann mich nicht erinnern.“

„Ich sitze im Büro, und die Uhr von Bureau...“

„Ach, Kosodoi, meinst du den?“

„Ja, den.“

„Das hättest du gleich sagen können.“

„Im Februar hat uns die Eisenbahn unterstützt. Er wurde von den Werkstätten ins Streikkomitee gewählt. Pugowkin. Ja, ja, Pugowkin – bring es nicht durcheinander. Da kommt auf unserer Linie ein Militärtransport an, der aus dem Fernen Osten zurückkehrt. Mit einer Order, auf der Brester Nebenlinie weiterzufahren. Aber, wie gesagt, der Zug konnte weder vor noch zurück. Streik. Eines schönen Tages wird die Tür zum Komitee aufgemacht, und es tritt der Chef der Traktion, Herr von Deberwitz-Swistelkin, höchstpersönlich ein. Heilige Jungfrau, was das für ein Staunen gab! Du kannst dir vielleicht einen Begriff machen von diesem Heringsgeschlinge, er war das Grauen und Entsetzen der hiesigen Stellen. Und jetzt, die Mütze in der Faust, bringt er sich beinahe um. Und, könnt ihr euch das vorstellen, er geht geradewegs auf Pugowkin zu; bittet, daß er erlaubt, den Militärtransport auf die Nebenlinie weiterzuleiten. Meine Herren Mitglieder des Streikkomitees', spricht er, ‚ich bitte', spricht er, ‚um die Erlaubnis, den Militärtransport auf die Nebenlinie zu überführen.' Und weint fast dabei. Im Komitee saßen aber die bedeutendsten Theoretiker. Und die bedeutendsten Theoretiker geben Pugowkin Zeichen mit den Augen und Augenbrauen. ‚Genosse Pugowkin', sagen sie, ‚steigen Sie auf die Lok, sonst könnte es zu einem Mißverständnis mit dem Maschinisten kommen'. Er aber verstand diese Augen und Augenbrauen so, sagt er, als ob er selbst schon wüßte, was er zu tun habe. Nach der Redensart: Pflücke die Blumen, solange sie blühen, oder: Nutze den Augenblick. Das heißt, daß er sie durch Agitation überzeugen sollte. Und das tat er dann auch.“

Terentjew saß da mit gesenktem Kopf und ließ die gefalteten Hände zwischen den Knien baumeln. Nicht alles gefiel ihm an diesen Erzählungen. ‚Solche Kindsköpfe', dachte er. ‚Sie haben dumme Streiche gemacht und freuen sich noch. Aber was weiter werden soll, darüber machen sie sich kein Kopfzerbrechen.'

„Na, und wie steht es bei dir?“ fragten sie ihn.

Statt zu antworten, richtete er den Oberkörper auf, verschränkte die Arme hinterm Kopf und reckte sich.

Er sagte, so wunderschön all dies auch sei, so sei es doch längst nicht alles. Man müsse den Blick nach vorn richten. Selbst wenn die Regierungsform zum Teufel ginge, sei erst die halbe Arbeit geleistet, solange wir uns nicht selbst veränderten. Wir selbst müßten anders leben, wiederholte er, ohne eine weitere Erklärung

zu geben. Ja, sie hätten erreicht, aber sie hätten nicht darüber nachgedacht, daß Veränderungen auch dazu daseien, daß man sie auf neue Weise einführt. Und wieder blieb alles im unklaren.

Dies war ein Gedanke, der für ihn wichtig war. Näher bestimmen konnte er ihn nicht, und so hatte er im stillen beschlossen, sich diesbezüglich an den Stätten des umsichtigen Denkens zu erkundigen, wo man es besser wissen mußte. Es gab damals zwei derartige Stellen: das Komitee seines Bezirks und das der Stadt. Im Bezirkskomitee kannte er keinen, aber im Stadtkomitee hatte er ein paar Bekannte. Wie dem auch sei, in den Werkstätten wurde kein Gedanke daran verschwendet, und deshalb war er hier, so verschwommen seine eigenen Vermutungen auch sein mochten, als Aufklärer nicht fehl am Platz. Und da fiel ihm ein, weshalb er eigentlich gekommen war. Er sagte, daß er in die Werkstätten zurückkehren wolle. Es sei jetzt leichter geworden, man brauche sich nicht mehr zu verstecken. In den nächsten Tagen wolle er sich bei den Duchâtels seine Papiere zurückgeben lassen und versuchen, bei ihnen eine Stelle zu finden. Außerdem gebe es da einen Gegenstand, den er bei ihnen drehen und anschließend erproben wolle.

„Kommen Sie, Lewizkaja“, sagte er, sprang vom Tisch und begann sich von seinen Kollegen zu verabschieden, doch als er mit ihr vor die Tür getreten war, schlug er vor: „Möchtest du nach Sokolniki?“

5. Eine Nacht im Dezember

Im Herbst kam es zu Unruhen in dem Gymnasium, das ich besuchte. In den unteren Klassen äußerten sie sich als törichter Radau, in den oberen aber mündeten sie in die sinnvolle und tapfere studentische Bewegung. Wir streikten.

Ich lebte in einer liberalen Familie, so, als hätte es mich zufällig dorthin verschlagen, als namenloser Abkömmling von Leuten, die wegen politischer Vergehen verurteilt waren. Auf die Regierung zu schimpfen gehörte bei uns zum guten Ton. Und was sollte man auch anderes tun, als sie verurteilen.

Von der großen Gromekoschen Verwandtschaft war einer als Militärarzt und ein anderer als Ingenieur der Reserve nach dem Fernen Osten abgezogen worden. Aber auch sonst wäre es unmöglich gewesen, den Krieg, sei es auch nur für einen Augenblick, zu vergessen. Im Unterschied zu ihren Vorgängern liebte die Regierung den Lärm. Es genügte ihr nicht, das Volk betrogen zu haben, sie erinnerte es noch tagtäglich auf jede erdenkliche Weise an diesen Betrug.

Wir wurden geschlagen — sie gab es als Sieg aus. Wir schickten uns an, schmachlich zu kapitulieren — sie brachte es zuwege, selbst diese Schande mit einer Trophäe zu verhüllen. Es wurde ein Manifest verkündet, das Freiheiten zusicherte, die die ganze

kulturell entwickelte Menschheit genießt, aber irgendwie geschah es, daß dies an unseren Einrichtungen nichts veränderte.

Alexander Alexandrowitsch warf die Zeitung auf den Tisch und ging erregt im Zimmer auf und ab. Dann zog er seinen Bärenpelz über, sah einen Augenblick bei Anna Hubertowna hinein und machte bei ihr seinem Herzen Luft, um gleich darauf – nachdem er die Mütze aufgesetzt und seine Füße in die hohen Überschuhe gesteckt hatte – mit dem Droschkenschlitten zu einem seiner Kollegen von der Universität zu jagen und etwas für die Organisationen zu spenden.

Im Oktober, nach der Belagerung der Universität, suchte uns die Polizei heim. Im ersten Moment glaubten wir, sie spürten Olga Wassiljewna nach. Dann wäre auch Alexander Alexandrowitsch nicht mit heiler Haut davongekommen. Aber es lag ein Mißverständnis vor. Sie suchten einen gewissen Faletrow, den niemand von uns kannte. Als der Adjunkt des Polizeihauptmanns den Irrtum erkannte, verwandelte er sich völlig, und, dem Ausgang zustrebend, faltete er seinen Körper zusammen, als hänge der Türbalken zu tief herab und er sei gezwungen, aus unserer Stube zu kriechen wie aus einem Kellerloch. „Es macht gar nichts, aber ich bitte Sie, das sind doch Lappalien!“ sagte Alexander Alexandrowitsch, jener aber erging sich in nicht endenden Entschuldigungen, legte die Hand an den Mützenschirm und ließ mit elegantem Gestolper seine ledernen Überschuhe mit den kupfernen Sporen auf den Boden klatschen.

Nach diesem Vorfall stellte Olga Wassiljewna ihre Besuche bei uns ein. Aber jene Visite hatte auch noch andere Folgen.

Um seine Schuld zu bekennen, kam der betrunkene Tapezierer Muchrygin zu uns in die Diele und beichtete eine völlig aus der Luft gegriffene, gegen uns gerichtete Anzeige.

Wenn es erforderlich gewesen wäre, der Sache nach des Tapezierers eigenen Aussagen auf den Grund zu gehen, dann wäre man nicht so bald zum gewünschten Ziel gelangt. Sie war indessen zur Hälfte bekannt. Muchrygins Erscheinen waren Tratschereien unseres Hausmeisters mit den Hausmeistern der Nachbarschaft und ein Getuschel zwischen Glafira Nikititschna und Anna Hubertowna vorausgegangen.

Muchrygin hatte über Alexander Alexandrowitsch die krause Mär eronnen, jener sammelte mit Hilfe einer Unterschriftenliste Freiwillige für die jüdische Religion, er habe selbst als erster unterschrieben und auch ihn dazu angestiftet. Das war sein Grundanfall. Er variierte ihn in verschiedenen Tonarten.

Mit dem Hausmann des Nachbargebäudes stand er auf Gevattersfuß. Dessen zweite Natur war es, Straffälligen das Geleit zu geben. Uneingedenk der Gevatterschaft, ließ er auch dem Tapezierer gegenüber nicht die geringste Nachsicht walten. Die zapfenförmigen Enden seines Schnurrbarts verliehen ihm das Aussehen eines grimmigen Hüters.

Aus irgendeinem Grund waren wir gerade alle versammelt. Anna Hubertowna flehte ihren Mann seit dem Vormittag an, mit dem Tapezierer human zu verfahren, damit er nicht von dem einmal eingeschlagenen rechten Weg gestoßen würde. Alexander Alexandrowitsch bezwang sich mit Mühe.

„Warum wird denn kein Licht angezündet? Ist die Lampe gefüllt und geputzt?“ fragte er. „Dann ist es an der Zeit, sie anzustecken. Und wozu soll ich ihn noch anhören? Man muß ihn achtkantig rauswerfen, und damit fertig. Ich verstehe dich nicht, meine Liebe.“

Aber Anna Hubertowna sah ihn bedeutungsvoll an. Alexander Alexandrowitsch zuckte die Achseln, steckte die Hände in die Taschen, gähnte und trat von einem Fuß auf den andern. Im Vor-saal war es kalt. Er langweilte sich und fröhstelte.

Muchrygin fand die Sprache nicht sofort wieder. Er weinte lange, lamentierte untröstlich mit gesenktem Kopf. Zusammenhanglose Rufe würgten ihn in der Kehle. Zur Bekräftigung formte er mit der Hand das Dreifingerzeichen und schlug, im Schwung nach oben innehaltend, langsam ein großes Kreuz. Dann löste er die drei Finger voneinander, streckte den Arm nach vorn und harkte auf der Suche nach einem Wort vor sich die Luft auseinander. Mehr als einmal wäre er vornüber zu Boden gestürzt, wenn ihm die Schulter nicht in der flachen Krebschere des Hausmann-fäustlings geschmerzt hätte. Das erbitterte ihn.

„Was hältst du mich fest, du Hanswurst?“ empörte er sich.

„Wer bist du denn, Torangel, daß du mich festhalten darfst? Ich bin bei ihnen einquartiert, in beiderseitigem Einvernehmen, du aber bist für Schippe und Besen zuständig. Erlauben Sie mir, ein Wort zu sagen, gnädiger Herr. Sehen Sie nicht darauf, daß ich, wie man sagt, besoffen bin, sondern sehen Sie, warum ich weine und solchen Kummer habe. Mag sein, vielleicht bin ich wirklich nicht in der rechten Verfassung, ich stehe ja vor Ihnen ganz ohne Rückhalt, und es ist an Ihnen zu strafen oder auch Gnade vor Recht ergehen zu lassen, und dies nicht im wüsten Rausch. Mütterchen, gnädige Anna Hubertowna, meine teuren Kinderchen, man muß doch schauen, woher die Tränen kommen bei einem Menschen, hab ich nicht recht? Bei dem einen vielleicht von wegen der Seele und bei dem andern wegen einer Schuld, die er nicht zurückzahlen kann, das muß man begreifen. Da ist zum Beispiel bei einem Bekannten von Ihnen eine Garnitur neu aufzuziehen oder, sagen wir, es muß frisch lackiert werden, und der Mann muß was davon verstehn und vor allem eine Empfehlung haben. Im Augenblick bringen Sie ja nicht mal meinen Familiennamen über die Lippen, sehen Sie, es ist wirklich eine Schande. Und wie sich das Ganze zugetragen hat, ist mir ein Rätsel. Und Sie sind doch nicht irgendwer, sondern alteingesessene Hausbesitzer, von unserem guten Kern, und auf einmal so ein Kolophon, wer hätte das von solchen Leuten geglaubt.“

„Aber trotz alldem, was hast du denn dort eigentlich gesagt?“ unterbrach ihn der finster blickende Alexander Alexandrowitsch.

„Lassen Sie das, es ist Sünde, daran zu rühren. Da sind noch die kurländischen Nächte und die zweiundfünfzig Räuber und der Stollen unterm Kreml.“

„Was, sind es wirklich zweiundfünfzig? Ist das nicht zuviel auf einmal?“

„Aber es sind doch Karten, Herr, falls Sie nach den Räubern fragen. Es ist ein verbreitetes nächtliches Kartenspiel.“

„Ach, du Lügner, du Hundesohn! Er will Spielkarten bei uns gesehen haben, was sagst du dazu, Anna? Scher dich zum Teufel! Aber sag mir das eine, haben sie die Sache mit dem Kreml geglaubt?“

„Aber, Euer Gnaden! Wer wird denn dies leere Gerede glauben? Von Suschtschewo aus ist es, Sie wissen es ja selbst, ein ziemlich großer Umweg. Ja, wenn noch ein Enteresse vorläge, aber was hätten Sie denn für einen Vorteil von dem Gegrabe?“

„Und warum, zum Teufel, hast du das alles dahergefaselt?“

Alexander Alexandrowitschs Geduld war erschöpft. „Also gut“, sagte er. „Die gnädige Herrin hat für dich gebeten. Sonst hättest du dich vor mir für deine Verleumdungen verantworten müssen. Für diesmal kannst du gehen! Aber sieh dich in Zukunft vor. Solche Mieter kann ich nicht brauchen.“

Den Abend des gleichen Tages verbrachten wir bei Tonjas Cousinen. Die Erwachsenen waren gerade alle abwesend. Wir spielten Raten. Als ich an der Reihe war und die Runde verlassen mußte, wurde ich durch zwei Zimmer in ein drittes geführt, wo ich warten sollte, bis man mich zurückrief.

Es war das Gästezimmer. Eine Wandleuchte mit rundem Schirm brannte darin. Ihr trüber Glanz erreichte mit Mühe den ersten blinkenden Gegenstand, dem man diese beschwerliche nächtliche Wache besser anvertraut hätte. Der nächste war das kastenförmige Aquarium. Die Blätter der Wasserpflanzen erhaschten durch das Glas und das Wasser hindurch ein oder zwei Lichtstrahlen.

Ich hatte keine Lust zu spielen. Ich war über diese Albernheiten hinaus. Es interessierte mich nicht, was die Brüder Lunz oder die Schwestern Jarygo über mich zusammenlogen, aber als ich an Tonja dachte, spürte ich auf einmal, daß es mich traurig machte, wenn sie, und sei es auch nur im Scherz, Kränkendes über mich sagte. Diese Empfindlichkeit hatte ich sonst nicht an mir gekannt. ‚Und dann noch dieser Muchrygin‘, dachte ich auf einmal ohne einen Zusammenhang zu dem Vorigen.

Bei allen hatte die Szene einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Ich spürte dunkel, daß es etwas zu verbessern galt, nicht in der Tapezierwerkstatt unter uns, sondern auf der ganzen Welt, doch was im einzelnen und auf welche Weise, das versuchte ich gar nicht erst zu denken, denn etwas quälend Unlösbares ging von dieser Frage aus. ‚Was machen die denn?‘ fragte ich mich

allmählich verwundert. „Sind sie tatsächlich noch nicht fertig? Da werde ich ja allerhand zu hören kriegen!“

Mit vernehmlichem Krautgeknarr der Stiefel kam ein Fußgänger durch die Gasse. Offensichtlich fror es schon stark. Auf zwei Ebenen zugleich, über Erde und Himmel, sauste eine Kutsche vorbei. Von einem Vorhang zum andern schwebten beinlose Lichtflecke. Die kleinen Fische im Aquarium entsannen sich, daß sie lebten, und umkreisten, manche wie ein Spiegelchen, manche wie eine Kupfermünze, die Grotte mit der winzigen Fontäne und zerstäubten die wenigen Tropfen des Lichts in diesem Winkel des Gästezimmers.

Die jüngste der Schwestern, die Lachtaube Nonna, kam in den Raum geflattert.

„Er hat gehorcht!“ rief sie in die Tiefe der düsteren Zimmerflucht. „Wir müssen noch einmal anfangen.“ Und, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen und die Portiere vorgezogen hatte, lief sie mit lautem Lachen davon.

Auf den Flügel fiel das Licht einer Straßenlaterne, die auf der anderen Seite des Fahrwegs brannte. Sie stand vor einem Gartenzaun. Über den Gasbrenner hingen ein paar Äste herab. Auf das Fenster, das vom körnigen Bodensatz des Frostes überzogen war, warfen sie graue, stammdicke Schatten.

Plötzlich hallte der untere Teil des Hauses von Schritten und Worten wider. „Sind sie es wirklich schon?“ dachte ich. „Dann haben wir ziemlich lange bei den Töchtern gesessen!“ Es war aber die Großmutter der Mädchen, die Greisin Charluschkina.

Kaum war sie erschienen, wurde das bis dahin ausgestorbene Haus nach allen Seiten von Stimmen und Äußerungen der Herzlichkeit bevölkert. Sie glitt langsam durch ihre Reihen und teilte eine Freude nach der andern mit ihnen, bis sie mit ihrem dicht von einem Tuch verhüllten Kopf ins Gästezimmer einlief. Ein Duft nach Mandelseife ging von ihr aus. Sie atmete schwer, aber irgendwie mit angenehmem Aroma. Ich begriff sofort, daß sie aus der Banja kam.

„Bekömmlichen Dampf, Nimfodora Peowna!“ sagte ich zu ihr, während ich aus meinem geschützten Winkel vortrat, um ihr die Hand zu küssen, und errötete über und über, weil es so albern geklungen hatte.

„Na, dich habe ich ja tüchtig erschreckt“, sagte sie, schüttelte die rundliche Hand im Handschuh und fuhr fort: „Ich komme wirklich aus dem Bad. Nun, danke schön. Was den bekömmlichen Dampf betrifft, sag lieber, den letzten. Mit allem habe ich Glück, bei allem hab ich eine leichte Hand. Ich fahre, denke nicht Böses, ich komme hin – und was ist? Morgen wird nicht geheizt, Montag ist ein anstrengender Tag, und am Dienstag stellen die Bäder den Betrieb ein, da ist Streik. Ich habe den letzten Dampf abbekommen, Ehrenwort! Was stehst du herum wie ein Ölgötze, bring es ins Schlafzimmer“, sagte sie zu einem jungen Zimmermädchen,

dessen Kopf ebenso ver mummt war und das eben mit einem Reisesack auf dem einen Arm und einer leeren Waschschißel und einem Bastwisch unter dem anderen ins Gästezimmer getreten war. „Was auf der Welt alles passiert, stell dir vor, Barrikaden, wie in Paris! Und ich bin mit meinem Badesegeu im Schlitten spaziergefahren. Ach, wenn ich fünfzehn Jahre jünger wäre, es müssen ja nicht unbedingt zwanzig sein – dann würde ich es euch schon zeigen. Ich muß immer an deine selige Mütter denken. Sie hat nicht viel vom Leben gehabt, jetzt würde sie sich freuen, die Ärmste. Die Wahrheit hat triumphiert, du mußt in sie eindringen. Das ist kein Scherz, mein Lieber. Und ihr seid bei unseren Flattergeistern? Na gut. Ich werde nachher hinunterkommen, oder du kommst selbst zu mir hinauf, du kennst doch den Weg.“

Damit spielte sie auf meine häufigen Besuche an; ich stattete sie ihr immer ab, wenn wir bei den Mädchen waren. Einzig ihretwegen kam ich hierher. Es war ein wahrer Genuß, ihr zuzuhören. Mit leicht vorgeschobenem Kinn sprach sie singenden Tones und etwas durch die Nase, wobei sie die Wörter in die Länge zog, mit etwas verzögerten Behauchungen und kaum merklichen Beschleunigungen. Bei all ihrer Rundlichkeit und Korpulenz war sie überaus gescheit und so etwas, das man eine Sonde nennt; indem sie jedem Gegenstand auf den Grund ging, trat sie gleich einem Bohrer tief in die Erörterung ein und drehte sich dann wieder heraus. Und so war es kein Wunder, daß sie als enge Freundin des alten Lushnizyn galt, des in ganz Moskau bekannten Museumskustos und Radikalen aus dem Kreis der um Tatjbitschschin gescharten Slawophilen, die ihrerseits mit Fjodorow, Tolstoi und Solowjow befreundet waren.

Aber nicht immer war sie so gutgelaunt wie jetzt, als sie von dem Hochgefühl des Dampfbads erfüllt war. Bisweilen liebte sie es auch, ein wenig zu weinen.

Dann lehnte sie sich im Sessel zurück, stützte den Kopf auf die Hand und ging völlig überraschend zum Sie über, als ob sie in mir irgendeine Erinnerung ehrte. Blinzelnd vor Behagen, sprach sie langsam, mit tief aus der Brust kommendem Knarren: „Ach, Patrik, Ihre Mutter war so eine gute Seele. Sie sang unvergleichlich schön, die Brüder Rubinstein kannten sie. Aber Sonja, Sofja Grigorjewna, die hatte einen richtigen Narren an ihr gefressen. Sagen Sie Ihrem Gromeko (sie verachtete die ganze zweite Generation und ertrug nur die dritte, die der Enkel), er soll Sie einmal zu ihr führen. Wenn unsere Garde völlig ausgestorben ist, werdet ihr euch ihrer entsinnen. Und vor allem ist sie ein Mensch gewesen, der nicht von dieser Welt war.“

Bei diesen Worten wischte sich Nimfodora Peonowna elegant, als entferne sie ein Staubkorn oder eine kleine Fliege aus den Augen, mit einem Tuchzipfel die Tränen ab und hievte sich ächzend, indem sie sich auf die Lehnen stützte, aus dem Sessel. Sie nahm aus der Kommode einen Paken Fotografien auf glattem

Karton, die seidig waren wie Postkarten, und steckte sie mir zu, ohne sich zu erinnern, daß Mama vermutlich nicht dabei war, weil sich Mama, wie sie mir selbst erzählt hatte, nicht gern aufnehmen ließ. Doch unter diesen Männern in Uniform und Zivil und den schönen und unschönen Damen befanden sich zwei verblichene, milchig-fliederfarbene Kärtchen, auf denen mein Vater als junger Mann abgebildet war.

Als ich dieses Gesicht betrachtete, das kraftvoll und stattlich wirkte und bereit schien, vertrauensvoll zu lächeln, zog ich den Schluß, ich müßte ganz nach der Mama gehen, da ich in diesen angenehmen Gesichtszügen nicht das geringste von mir entdeckte.

„Wenn dieser Mensch nicht gewesen wäre“, fuhr Nimfodora Peonowna fort, als sie sich wieder im Sessel niedergelassen hatte, „dann hätte sie ihr Licht niemals unter den Scheffel gestellt. Aber sie war nicht von dieser Welt. Und ihre Ziele waren von höherer Art.“

An dieser Stelle lenkte Nimfodora Peonowna das Gespräch mit recht allgemeinen Ausdrücken, die Mamas Selbstaufopferung umrissen, dem Ende zu und verwahrte die Fotos wieder, und mein Mamachen, meine junge Mama verblaßte vor meinen Augen, ohne daß es ihr gelungen wäre, ins Leben zu treten, denn nun folgte die Geschichte der Befreiungsbewegung in Rußland, worin Nimfodora Peonowna nicht sehr beschlagen war.

Weshalb waren diese Mitteilungen so spärlich? Es handelte sich nicht um zufälliges Vergessen. Seinen kränkenden Dunstschleier hätte ich ganz sicher erkannt und mit nichts anderem auf der Welt verwechselt. Aber nein, an dieses Ungewisse sollte nicht gerührt werden. Es lag ein Siegel des Friedens und der Genugtuung darauf. Offensichtlich war es selbstgewählt. Die Verstorbene selbst wollte im Dunkel bleiben und verstand es, ihren Willen durchzusetzen. Doch woher konnte ein solcher Wunsch rühren?

Es war nicht möglich, daß sie sich ihrer Herkunft geschämt hatte. Diesen Gedanken ließ ich nicht zu. Er war gar zu weit von ihrer sittlichen Haltung entfernt. Damit hätten sich meine Gefühle nicht aussöhnen können.

Wahrscheinlich war es ein eifernder Charakter mit übersteigerten Vorstellungen von seelischer Schönheit und Pflicht, der sein Leben mit immer geringerer Befriedigung daran gemessen hatte. Zu einer Zeit, da der Mensch beginnt, sich seinen Gewohnheiten anzupassen und alles zu sanktionieren, was er nicht zu ändern vermag, hatte sie die Einsamkeit dem Gewährenlassen vorgezogen. Es ist nicht bekannt, wie dies bei ihr äußerlich in Erscheinung trat, aber sie gab dem Gelebten nicht ihren bestärkenden Beifall: Sie löschte die Spuren der unfreiwilligen Teilnahme daran aus und ließ als Andenken an sich selbst nichts zurück als mich, ihre einzige und direkte Fortsetzung...

Die Voraussagen der Charluschkina erwiesen sich als richtig. In derselben Nacht belagerte Artillerie die Fiedler-Schule bei den

Tschistyje Prudy. Dragoner nahmen die friedliche Menge auf dem Twerskoi-Boulevard unter Beschuß. In unserer Nachbarschaft und in der weiteren Umgebung begann man Barrikaden zu errichten.

Die Straßen verödeten. Es war nicht ungefährlich, sich dort sehen zu lassen. Die fahlen Häuserzeilen mit ihren Dächern, Torwegen und Mansarden standen wie abwesend, als ob der Raum sie aufgegeben und ihnen den Rücken gekehrt hätte.

Doch was dabei mit der Luft geschah! Das war einer besonderen Beschreibung wert. Sie war von der Erde bis zum Himmel ganz und gar dem Aufstand anheimgegeben, und frostig, hoch und menschenleer drehte sie sich und surrte wie ein kupferner Brummkreisel, bis in den Tod umhergewirbelt von den Schüssen und Detonationen. Sie wurden schon nicht mehr einzeln wahrgenommen. Der betäubte Himmel war gesättigt von ihren Schwingungen. Etwas anderes drang an das Ohr. Aufdringliches Mückengesurr, einlullendes Schnalzen und leises Gesäusel...

Von einer Kugel wurde das Klappfenster von Alexander Alexandrowitschs Privatlaboratorium zerschmettert. Sie durchschlug die Wand und riß ein Stück Stuck von der Decke seines Arbeitszimmers. Wir wurden hinter Schloß und Riegel gehalten, und man sparte mit Brennholz und Kerosin, da davon kein Vorrat vorhanden war und beides zur Neige ging. In diesen Tagen kam es zu dem Mißgeschick Anna Hubertownas.

Im November, zwischen den beiden Streiks, hatte Alexander Alexandrowitsch, der ein Liebhaber von Antiquitäten war, irgendwo als Gelegenheitskauf eine Garderobe von riesigen Ausmaßen erstanden; sie war von der Größe einer katharinischen Ausfahrtskalesche. Ein Mann im Mantel, der uns diesen Gegenstand mit einem gemieteten Fuhrwerk zustellte, trug seine Einzelteile in den Salon. Es erhob sich die Frage, wo man sie zusammensetzen und aufstellen sollte. Anna Hubertowna war über die Anschaffung verzweifelt. Die Zimmer waren mit Möbeln vollgestopft. Man konnte sich darin weder drehen noch wenden.

Unterdessen rückte die Nacht heran. Der Lastfuhrmann bat, ihn zu entlassen. Der Mann im Mantel wollte bei dem Frost nicht zu Fuß zurückkehren. Er drängte Anna Hubertowna nicht zur Eile, aber er legte auch nicht den Mantel ab. Das machte sie nervös.

Da es nicht möglich war, einen besseren Platz auszusuchen, beschloß man Hals über Kopf, die Garderobe vorläufig im Salon als dem geräumigsten Zimmer des Hauses zu lassen, wo sie ohne viel Aufhebens binnen fünf Minuten von dem Meister im Mantel zusammengebaut wurde, der sich daraufhin wie ein Künstler, welcher auf einer großen Abendveranstaltung seine kurze Nummer ausgeführt hat, wortlos verabschiedete. „Das ist kein Garderobenschrank, sondern mein Tod“, sagte Anna Hubertowna seufzend, wenn sie, aus ihrem Winkel kommend, an ihm vorüber mußte. Er war allen ein Dorn im Auge. Und auch ich haßte ihn.

Am Abend des Elften, als Anna Hubertowna ein Bündel mit warmen Sachen von seinem staubigen Oberteil herunternehmen wollte, trat sie im Dunkeln auf das seitliche Brett eines herausgezogenen Kastens, hielt sich am Rand des Garderobenaufsatzes fest, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte zu Boden; aber der Sturz wurde noch dadurch kompliziert, daß sie sich im Bemühen, die Balance zu halten, mit dem ganzen Körper nach vorn drehte. Sie schlug so heftig mit dem Knie auf, daß sie für einige Minuten das Bewußtsein verlor.

Am Zwölften trat eine Pause in dem Feuergefecht ein. Von ihr profitierend, machte man in der näheren Umgebung einen Arzt ausfindig, der, obwohl er auf einem anderen Fachgebiet tätig war, zum Besuch überredet werden konnte. Er stellte zwar keinen Bruch fest, hielt es aber doch für möglich, daß ein Knochensprung eingetreten sei, und befahl, Eis aufzulegen.

Glafira Nikititschna kehrte von ihrem Ausfall aus dem festen Haus als stolze, würdevolle Siegerin zurück. Alle bestürmten sie mit Fragen nach dem, was sie gesehen hätte, aber sie antwortete den ihr Gleichgestellten mürrisch und erzählte im Schlafzimmer, die Skotniki und die angrenzenden Gassen seien von unbesetzten Barrikaden versperrt. Das Volk habe sich von dort zurückgezogen und sich jetzt in der Oberen Kopytnikowskoi-Gasse verschanzt, doch bei Eintritt der Dunkelheit würden die Leute von den Fabriken ganz bestimmt herunterkommen und die Bewachung des Platzes organisieren.

Alexander Alexandrowitsch schickte sie nach Eis und bat sie, die Kranke nicht mit solchem Unsinn zu ermüden, denn die Angehörigen der Arbeiterwehren seien nicht so töricht, sich in einer Grube zu verschanzen, die von allen Seiten beschossen werden könnte. Glascha war gekränkt und zog eine Schippe. Wir wurden für ein paar Minuten auf den Hof gelassen.

Zu gewöhnlichen Zeiten würde der Zustand, in dem sich dieser befand, als Ruhe bezeichnet. In jenen Minuten jedoch schien er ohne Namen und unerklärlich zu sein. Die Luft, die so viele Tage hindurch vom Peitschen der Schüsse durchsiebt worden war, überraschte durch ihre Unberührtheit, und sie war dank dem Abendrot und der Dämmerung rot und glatt wie die Haut eines jungen Mädchens.

In dieser Stille ertönte unerwartet ein halblautes Gespräch, von dem man jedes Wort verstand. Jerofej, unser alter Hausmeister, hatte es vielleicht eigens unseretwegen begonnen. Er unterhielt sich hinter der Hausecke, im Torweg mit Muchrygin. Das Ende der Hauswand verbarg sie vor uns.

„An die Dreieinigkeit glauben ist doch keine Kunst“, sagte Jerofej, „das tun sie schon von Geburt an. Aber ein Ding ist das Handeln, ein anderes das Sprechen. Wenn man es näher besieht, dann haben sich jetzt Semike und Antisemike getroffen, die wo für den Frühling der Volksbefreiung sind, und auf der andern Seite,

die wo drauf spucken. Und von dir haben die Herrschaften recht gesprochen – ein Antisemike; denn obwohl du fromm bist, zeigst du dich als Gegner der Semiken. Du kennst nicht das Leben, wie es ist, wohnst ohne frischen Wind in einem steinernen Raum wie ein Schleimfisch oder ein Baumschwamm; und davon kommt auch dein Husten und der Tabak und die Sauferei; aber ein Hausmann ist immer an der frischen Luft, und davon hat der Geist und auch die Brust ihren Nutzen.“

Mitten in der Nacht wurde ich wach.

„Steh auf, es brennt!“ schrie Tonja zur Tür herein, während sie sich anzog.

„Still, du versetzt ja das ganze Haus in Aufruhr. Das sind die Feuer von nebenan. Die Kanalarbeiter sind an der Arbeit. Merkst du nicht, wie scheußlich es stinkt?“

Und ich schnarchte sofort wieder los, um nach einigen Sekunden von neuem aufzuwachen.

Das ganze Haus war auf den Beinen. Unten fielen Türen ins Schloß. Das Schießen setzte in der Stadt mit ungewöhnlicher Stärke wieder ein. Wahrscheinlich waren das Kanonen. Tonja, die mich dieses Mal wachrüttelte, beugte sich über mich und war schon völlig angekleidet.

„Geh einen Moment raus“, sagte ich zu ihr.

Ich schlug die Bettdecke um mich, sprang aufs Fensterbrett und riß das Klappfenster auf. Der gleiche Gestank wie vorher schlug mir entgegen, doch gleich nachdem ich ihn gespürt hatte, nahm ich ihn nicht mehr wahr. Die jähe Unruhe des Anblicks, der sich mir bot, löschte ihn aus.

Der Himmel war geborsten, er atmete das Feuer und den Donner der Geschütze. Der Widerschein mehrerer Feuersbrünste umgürtete ihn. Eine wütete irgendwo in der Nähe. Niht zu unterscheidende Stimmen prallten in der Finsternis zusammen, rasten hintereinander her und überholten sich gegenseitig. Jemand rief einen andern, schickte irgendwohin, ordnete etwas an. Kavallerie sprengte, die Häuser von den Fundamenten reißend, durch die Gasse. Die Flammen züngelten in der gleichen Richtung. Dann wurde alles still.

Ich merkte nicht, wie ich mich anzog. Die Schritte Alexander Alexandrowitsch dröhnten die Treppe herauf. Mit ungeahnter Lautstärke rief er uns vom mittleren Treppenabsatz her nach unten.

Als er unsere Antwort gehört und sich ihrer ein zweites Mal versichert hatte, lief er mit großem Gepolter die Treppe hinab.

Wir versammelten uns alle in Straßenkleidung im Eßzimmer, damit wir gerüstet waren, falls wir das Haus verlassen mußten. Die Tuchvorhänge an den Fenstern wurden so weit zugezogen, daß ein Saum auf dem anderen lag, und die Kerze auf dem Eßtisch wurde mit einem aufgestellten Buch abgeschirmt.

Anna Hubertowna lag in ihrem über die Schultern geworfenen warmen Umhang auf dem Sofa und verdrehte wie üblich die Augen

unter den gesenkten Lidern. Schmale Streifen Augenweiß leuchteten unter ihren Wimpern hervor. Tonja eilte zu ihr, um sie zu küssen. Anna Hubertowna biß sich auf die Lippen, schob ihre Hand aus dem Umschlagtuch und begann mit tränenverzerrtem Gesicht, mit stokkendem Flüstern Kreuze über sich, ihre Tochter und die Wände des uns alle vereinenden Speisezimmers zu schlagen.

Auf einmal sah Jerofej totenblaß zur Tür herein und rief nach Alexander Alexandrowitsch. Beide waren zu besorgt, um auf mich zu achten. Ich benutzte die allgemeine Verwirrung und lief hinter ihnen her nach draußen.

Jeden Morgen ging ich bei Lampenlicht fort von hier, wenn sich die dunkelblaue Winternacht neigte. Auf Grund dieser Gymnasialgewohnheit glaubte ich, daß der Tag anbräche. Von der Straße her wurde ans Tor geschlagen. Das Tor knarrte. Jemand versuchte es mit Gewalt aufzubrechen.

„Wir sollten zum Haupteingang laufen und nachsehen, wer es ist. Ob wir öffnen müssen.“

Alexander Alexandrowitsch war noch nicht fertig mit Sprechen, als fünf, sechs bewaffnete Männer in den Hof gerannt kamen, ein paar davon trugen Wattemäntel, die andern Halbpelze.

„Wer ist der Hausherr?“ fragte eine struppige Port-Arthur-Papacha.

„Ich“, antwortete Alexander Alexandrowitsch.

„Kann man sich hier verstecken?“

„Aber natürlich! Verstecken Sie sich, meine Herren. In der Scheune ist es möglich. Oder auch im Haus. Jerofej, die Schlüssel! Übrigens, ich weiß nicht, wie... Wir haben Kranke im Haus...“

Die Männer von der Arbeiterwehr wechselten Blicke miteinander. Der Anführer mit der Papacha und dann auch die anderen begannen sich auf dem Hof umzusehen.

„Was ist dort hinter dem Zaun?“ fragte der Anführer.

„Ein ruhiger Nachbargarten.“

„Und was kommt dann?“

„Unbebautes Gelände mit Müllabladeplätzen.“

„Und was noch?“

„Ein Gewirr von Gassen mit einem Zugang zur Dolgoru-kowskaja.“

„Verstecken wollen wir uns nicht?“ schlug der Anführer halb fragend, halb bekräftigend vor.

„Nein“, antworteten die anderen. „Der Hof ist ziemlich klein und lädt nicht zum Herumstehen ein.“

Alle lachten los.

„Richtig. Also vorwärts, Kameraden“, sagte der Anführer, und alle liefen zum Zaun hinüber.

„Die Leiter her, Jerofej!“ rief Alexander Alexandrowitsch.

Aber sie waren sämtlich schon auf der anderen Seite.

Ein paar Minuten vergingen.

„So ein grimmiger Frost!“ sagte Alexander Alexandrowitsch gähmend.

„Und wie grimmig. Genauso ist es.“

„Sieh mal, Jerofej: Du redest zuviel.“

„Und Sie? Sind stiller als ein Grab... Die Leiter befehlen Sie wegzuräumen?“

„Ja. Wir wollen sie zusammen wegtragen. Zum Teufel, soviel Spuren, die müßten zertrampelt werden.“

Und damit beschäftigten sie sich auch, nachdem sie die Leiter in die Scheune eingeschlossen hatten.

„Geh weg vom Zaun. Schon wieder stehst du verkehrt herum, du Idiot!“ rief Alexander Alexandrowitsch. „Ich hab dir doch gesagt wie, aber du mußt es partout immer nach deinem eigenen Kopf machen. Die Spuren müssen weg von uns führen, nicht zu uns.“

Zu diesem Zeitpunkt erdröhnte das gleiche Getrappel in der Gasse, das ich beim Erwachen vernommen hatte. Nach der Leichtigkeit des Ritts zu urteilen, mußte die Truppe vorüberjagen. Doch auf einmal hielt sie an. Vor unserem Haus wurden die Pferde gezügelt. Rutschend und auseinandergleitend blieben sie stehen.

Man konnte das Geräusch von Sprüngen und Schritten und Säbelgerassel hören. Jerofej versteckte sich hinter der Scheune. Alexander Alexandrowitsch lief zur Vortreppe und trat auf die Schwelle. In die vom Feuerschein erleuchtete Hofmitte kamen ein paar Kosaken, die eben vom Pferd gestiegen waren.

Die Riemen und die Gewehre auf ihren Rücken verkürzten die Gestalten. Alle schienen vom Wodka, vom Frost und vom Schlafmangel auf einem Auge blind geworden zu sein. Der Boden war ihnen für ihre Stiefel zu glitschig. Sie waren vom Kavallerietrott gebeugt.

„Dubrowin, fünf Mann zum Zaun!“ brüllte der Leutnant der Kosaken.

„Onissimenko, ich hab gesagt, den Hausmann! Ach, da ist die Kanaille ja! Wem dienst du, verdammter Hurenbock? Kennst du nicht den Befehl des Stadthauptmanns? Weshalb diese Schlamperei mit dem Tor? Weshalb, frage ich, ist das Tor“, klatsch, klatsch, „ich will dich lehren“, klatsch, klatsch, „antworte, Fettarsch, verfluchter. Paßt auf ihn auf. Wenn er zu sich kommt, will ich ihn verhören. Ich verstehe gar nichts, rapportier mit Sinn und Verstand, Dubrowin. Spuren? Was für Spuren? Ah, Spuren im Schnee!“

Nun sah er sich um und vergaß den Gefreiten. Er sprang zur Seite und zog den Revolver.

„Ich schieße Sie nieder! Bleiben Sie sofort stehen!“ schrie er. „Hände hoch! Wer sind Sie, gnädiger Herr?“

„Weshalb schlagen Sie den Hausmeister?“ fragte Alexander Alexandrowitsch leise, mit bebender Stimme.

„Bitte keine Belehrung. Es ist verboten, nach neun Uhr hinauszugehen. Aus welchem Grund sind Sie hier, und wer sind Sie?“

„Ich bin der Besitzer des Hauses, und ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Aber geben Sie zunächst Befehl, mich zu durchsuchen. Vor der Revolvermündung kann ich nicht sprechen. Die Arme schlafen mir ein.“

„Ihr Name?“

„Gromeko.“

„Mir unbekannt. Sie sind also der Hausherr? Um so schlimmer. Sie müssen mit der ganzen Strenge des Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden. Haben Sie nicht den Befehl des Stadthauptmannes gelesen? Und wissen Sie, in was für einem Zustand Ihr Außentor ist? Da, sehen Sie mal! Das ist verboten, das ist verboten, junger Mann. Kaum daß Sie den Mund auf tun, ist Ihr erstes Wort: der Hausmann. Kennen Sie ihn denn? Können Sie für ihn die Hand ins Feuer legen? Und das ist ja noch nicht alles. Warum herrscht keine Nachtruhe im Haus? Unruhe im Herzen, was? Kurios. Weshalb diese Unruhe in Ihrem Herzen? Na gut. Besitzen Sie eine Waffe?“

„Nein.“

„Sie sind Adliger?“

„Ja.“

„Sie können die Hände runternehmen.“

„Merci“, brummte Alexander Alexandrowitsch ganz mechanisch und trat, Stufe um Stufe hinabsteigend, von der Vortreppe auf den Erdboden.

„Im Haus haben alle geschlafen“, fing er an. „Das Tor war verschlossen. Plötzlich gab es Tumult. Ich wecke den Hausmeister. Auf dem Hof stehen mehrere Männer mit Waffen. Arbeiter.“

„Was sind das schon für Arbeiter. Man muß die Dinge beim rechten Namen nennen. Es sind Diebe, Galgenvögel, eine Bande von Fuhrknechten.“

„Nun ja. Mehrere von diesen... Galgenvögeln.“ Alexander Alexandrowitsch verlor den Faden. „Ich sehe, sie sind von der Dolgorukowskaja her über die Nachbargrundstücke eingedrungen und dreschen auf das Tor los, um sich zur Gasse durchzuschlagen. Erstaunlich, daß Sie nicht mit ihnen zusammengestoßen sind. Es war vor fünf oder zehn Minuten. Demnach müssen sie in Richtung Skotniki gerannt sein.“

„Sagen Sie, ist dieser Tage nicht von dorther geschossen worden? Von den Nachbargärten her. Haben Sie nichts davon bemerkt?“

„Nein. Dort war alles still.“

„So, so. Sie tragen selbst die Verantwortung, wenn das nicht stimmt. Rühren, Dubrowin. Du hast Spuren gemeldet. Los, zeig sie mir. Wiedersehen, gnädiger Herr. Denken Sie daran, was Sie riskieren. Ich stelle keine Wachen auf, aber ich werde Sie zu finden wissen.“

Sie entfernten sich. Auf dem finsternen Hintergrund des Hofes ertönten Kommandos. Man hörte, wie die Kosaken antraten und geordnet, geordneter, als sie gekommen waren, auf die Straße hi-

nausmarschierten. Es wurde befohlen aufzusitzen. Die Abteilung setzte sich in Bewegung und fiel nach wenigen Schritten in Galopp. Das besinnungslose Galoppieren, das ich in der Nacht wahrgenommen hatte und das vor kurzem bei uns so furchterregend abgerissen war, kehrte mit seiner früheren Glätte zurück, wurde allmählich schwächer und erstarb. Das Ganze entschwand wie ein abgebrochener Traum.

Auf der Vortreppe standen Glascha und Tonja, sie zupften mich am Ärmel.

„Sofort. Laßt mich in Ruhe“, wehrte ich sie ab, doch schon begann ich ihnen von selbst alles zu erzählen.

Doch Alexander Alexandrowitsch brachte kein Wort heraus. Die aufgezwungene Demütigung ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Seine Lippen bebten. Mühsam versuchte er etwas in seinem Innern zu unterdrücken.

Gleich nachdem die Abteilung fortgeritten war, begab er sich zu Jerofej. Aber dieser stand ohne weitere Mühe von selbst auf. Seine Ohnmacht war zur Hälfte vorgetäuscht. Das eine Auge war etwas blau angelaufen, und auf dem Bakkenknochen sah man eine kleine Schramme mit geronnenem Blut und Hautabschürfungen. Wir wurden ins Bett geschickt und schliefen seltsamerweise sofort ein.

Ich stand erst spät auf. Der Fenstervorhang war wie in Konfitüre in den granatroten Saft des Sonnenuntergangs getaucht. Schlafbenommen glaubte ich, es sei Frühling. Vom Hof wurden feuchte, patschende Laute herübergetragen. Leute, die in den nassen Schnee einsanken, schleiften etwas hinter sich her. Es war Tauwetter. Man beseitigte die Überreste des nächtlichen Beschusses. Und wie früher lag der warme, Übelkeit erregende Geruch in der Luft.

Ich erinnerte mich an alles. Aber ich stand zum ersten Mal zu dieser Tageszeit auf. Das war ein neues Gefühl. Es verdunkelte die nächtlichen Erinnerungen. Die Bekanntschaft mit ihm sagte mir so zu, daß ich beschloß, nach einer Gelegenheit zu suchen, um noch ein weiteres Mal um diese Zeit aufzustehen.

Bei Anna Hubertowna wurde eine Entzündung des Kniegelenks festgestellt. Sie konnte nicht richtig schlafen und stöhnte nachts. Wenn ich einen solchen Moment abgepaßt und an Stelle der Krankenschwester zu ihr hinuntergegangen wäre, hätte ich mir das Recht dazu erworben. Aber ich verschlief diese Möglichkeiten gewissenlos.

Ich entsinne mich nicht, welchen Vorwand ich benutzte. Die Erhebung war zu Ende. Alles war erfüllt vom Bewußtsein ihres Scheiterns und von den Gerüchten über die Vergeltung. Man erzählte von der Grausamkeit der Semenowzy und der Unverschämtheit der Kosakenposten auf den Straßen. Die Ausfahrten der Schnellgerichte begannen.

Alexander Alexandrowitsch lief ganz aufgeregt herum. Noch mehr als die öffentlichen Ärgernisse bedrückte ihn der Zustand

der Kranken. Um ihn erträglicher zu machen, kaufte er ihr bei seinem ersten Gang in die Stadt, als die Geschäfte geöffnet wurden, dunkelblaue und weiße Hyazinthen, ein paar Zinerarien und drei Töpfe mit Lackvioletten. Als man die Lackviole als letzte der Blumen ins Schlafzimmer brachte, wurde sie fast wahnsinnig. Es zeigte sich, daß sie Lackvioletten nicht ausstehen konnte. Die Vergesslichkeit ihres Mannes kränkte sie. Die Lackvioletten wurden ins Speisezimmer geschafft.

Ich wachte erst nach fünf Uhr abends auf. Wie schon ersten Mal war der – ohne mich wer weiß wie verlaufene – Tag vorüber. Während ich mich anzog, verdichtete sich die Dämmerung ähnlich einer Wolke von Straßenstaub, die bei des Tages Abreise aufgewirbelt worden ist. Von unüberwindlicher Schwermut erfaßt, starrte ich auf das kleine bordeauxrote Auge des Sonnenuntergangs wie auf das Schaffnerlicht am Schweiß eines sich entfernenden Zuges. Und der Kopf tat mir so weh.

Ich ging ins Speisezimmer hinunter. Dort stand, mir den Rücken zuwendend, Glafira Nikititschna, die mit irgend etwas beschäftigt war. Sie goß gerade die Blumen und strich die gekrümmten Ränder eines violetten Blütenkelchs glatt. Ich bat sie um Tee. „Sofort“, sagte sie, während sie beobachtete, wie das Wasser in die Untersetzer floß, um es wegzuwischen, wenn es überlief.

Aus dem Schlafzimmer kam Anna Hubertownas Masseuse. Man hatte ihr heute absagen müssen. Der neue Arzt war gestern entsetzt gewesen, als er hörte, daß man den Eiter eine Woche lang durch den ganzen Körper getrieben hatte. Glafira Nikititschna begleitete sie hinaus.

In diesem Moment wurde an der Straßenseite geklingelt. „Na, jetzt vergißt sie sicher meinen Tee...!“, dachte ich und trat zu dem Glasschrank mit den Lackvioletten.

Auf einmal stürzte Onkel Fedja wie ein Wirbelwind in das benachbarte Gästezimmer. Ich erkannte ihn an bestimmten Merkmalen seines Verhaltens. Nervös lief er über die Teppiche von einer Zimmerecke zur andern. Alexander Alexandrowitsch kam zu ihm. Im Gespräch begriffen, traten sie ins Speisezimmer.

Onkel Fedja war in furchtbarer Erregung. Die Worte sprangen mit solcher Kraft aus seinem Innern hervor, daß er seinen Bart benetzte und ein unartikuliertes Gebrüll ausstieß, wobei er sich mit einem Tuch die Lippen abwischte, um ja keinen Augenblick mit Wortlosigkeit zu vergeuden.

„Sascha, du weißt, wie gern ich dich habe“, sagte er. „Aber seid wirklich ungeheuerliche Menschen. Selbst wenn die Welt auf dem Kopf stünde, würdet ihr euch wohl an Massagen erfreuen und Zimmerpflanzen hegen und pflegen. Mach dich auf das Schlimmste gefaßt. Wo ist deine Schwester Olja?“

„Wenn du etwas weißt, dann sag es ohne Umschweife.“

„Nein, sprich du zuerst. Hast du auch nur ein einziges Mal an sie gedacht? Ist es dir in den Sinn gekommen, an sie zu denken?“

„Ich suche sie schon seit drei Tagen. Und vorläufig ohne Ergebnis. Aber daran ist die Lage der Dinge schuld, es beunruhigt mich nicht. Denn, das mußt du doch zugeben, sie einen Tag nach der Niederschlagung des Aufstands, angesichts der herrschenden Bedingungen, finden zu wollen, wie du wohl verstehen wirst, etwas anderes, als einen Bastschuh zu flechten.“

„Bastschuh! Bedingungen! Du suchst nicht an der richtigen Stelle! Nicht dort, wo man suchen muß! Ihr Körper muß her!.. Aus den Aufnahmeräumen... Aus der Anatomie...“

Doch Alexander Alexandrowitsch hielt ihn am Handgelenk fest.

„Hör auf!“ rief er. „Was hast du nur?“

„Man hat sie erschlagen.“

„Woher weißt du das?“

„Das sagt mir mein Gefühl.“

„Aber... hast du es denn nachgeprüft?“

„Ich war zweimal bei gemeinsamen Bekannten. Sie ist spurlos verschwunden.“

„Was bist du doch für ein verdammter Schweinehund, die Zunge soll dir im Mund verdorren! Danke für die Nachricht und... die Anteilnahme... Ganz gleich, ob es aus der Luft gegriffen ist oder sonstwoher, Hauptsache, es macht Lärm und Effekt. Egal, ob er es geträumt hat oder mit dem Grind abgekratzt, er ist im rechten Moment zur Stelle. ‚Das sagt mir mein Gefühl.‘“

„Halt, Sascha, reg dich nicht so auf. Aber in so einem Fall... Ich bedaure es jedenfalls nicht, daß ich gekommen bin. Ich bin froh darüber. Du hast mich beruhigt. Deine Zuversicht ist auf mich übergesprungen.“

„Und das in einem Augenblick, wo ich fast keine Kraft mehr habe... Njuta geht es nicht besonders gut...“

„Ah, das Knie? Gebe Gott, daß es bald wieder gut ist.“

„Ja, natürlich. Vor allem durch deine Gebete. Aber leider bin ich Naturwissenschaftler. Die Natur und die Gefährlichkeit septischer Prozesse sind mir bekannt... Und anstatt mir zu helfen, wenn ich mich fast zerreiße...“

Sie flößten ihm Tee ein. Er ging ins Schlafzimmer, um die Kranke zu besuchen. Dann verabschiedete er sich. Beim Fortgehen sagte er: „Ich weiß schon, warum ihr soviel Blumen habt. Aber dagegen könnt ihr mit Kakteen und Rhododendron nichts ausrichten. Sie können den Mief nicht übertäuben. Der übertrumpft alles. Woher kommt es denn?“

„In der Nacht vom Zwölften ist durch ein Geschoß bei den Schoglows der Sickerschacht aufgerissen worden. Die Jauchegrube, verstehst du?“

Zwei Tage darauf wurde Olga Wassiljewna ausfindig gemacht.

6. Das Haus mit den Galerien

Ich muß unsere letzte Begegnung schildern. Alexander Alexandrowitsch nahm mich mit. Wir mieteten eine Droschke. Noch nie waren wir so weit und so lange gefahren worden. Es war irgendwo am anderen Ende von Moskau, da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Die Anordnung über die Verstärkung der Wachen war noch nicht aufgehoben worden. Während wir durch die Nachbarviertel fuhren, stießen wir auf die Spuren der jüngsten Zerstörungen.

An der Ecke der Rastorgujew-Gasse sah man ein völlig ausgebranntes Haus mit eingestürzten Decken und zertrümmerter Treppe. Nur das Geländer war davon übriggeblieben. Von der Glutgewirungen, hing es wie das Knäuel einer Eisenschlange in der Luft.

Nur wenig weiter stand ein dreigeschossiges Haus, dessen obere Etagen an den Ecken über den Bürgersteig vorsprangen. Das Tor fehlte. An den Wänden hoben sich schwarz viereckige Felder ab, wo man Firmenschilder abgerissen hatte. Abgesägte Telegrafmasten ragten ein Stück über den Boden. Offensichtlich hatten die Männer von der Arbeiterwehr hier in Deckung gelegen, und ich begann mich zu erinnern. An einer der Barrikaden, so war erzählt worden, hatte es infolge rätselhafter Schüsse, die abgegeben wurden, ohne daß man einen Gegner ausgemacht hätte, einen Toten nach dem anderen gegeben, bis man daranging, die Herkunft jener Schüsse zu ergründen.

Sie wurden aus einem dieser Erker abgegeben, die von den steinernen Vorsprüngen gebildet wurden. In einer Wohnung lebte ein Viehhändler, der Mitglied des Erzengel-Michael-Bundes war. Die Schüsse rührten von seinem Sohn her, einem eben ernannten Fähnrich. Man führte die beiden ab zum Revolutionsstab, der irgendwo in der Nähe seinen Sitz hatte. Vielleicht war das alles genau an dieser Stelle vor sich gegangen.

Zweimal begegneten uns Kosakenstreifen, die durch die Stadt patrouillierten.

„Jetzt haben sie Mut gefaßt“, sagte der Kutscher und verstummte.

Alexander Alexandrowitsch gab keine Antwort.

An der Zufahrt zur Leontjewski-Gasse klopfen die Soldaten die Passanten auf der Suche nach Waffen von oben bis unten ab, aber die Ausfahrt aus der Gasetny war von berittenen Gendarmen versperrt, und ihre Pferde tänzelten seitwärts, wenn sie zwischen den Gehenden und den Fahrenden von den Bürgersteigen bis zur Mitte des Fahrdammes vorrückten. Hier wie dort ließ man uns passieren, ohne uns Beachtung zu schenken.

An den Bahnhöfen ging es von neuem mit den Wachabteilungen und Streiftrupps los. Als wir auf Befehl eines Gendarmen anhielten, der auf seinem Pferd herangaloppiert war, hörten wir

das Gespräch zwischen einem Paar in dem Schlitten neben uns und einem anderen Berittenen, der das Fahrzeug gestoppt hatte.

„Halten Sie den Kutscher nicht auf. Wir kommen zu spät zum Zug“, sagte die Dame entrüstet. „Zeig ihnen den Paß, so eine Plage...“

„Sie reisen ins Ausland?“ fragte der Gendarm, während er sich vom Sattel zum Schlitten hinabbeugte und ein Streichholz nach dem anderen anzündete.

Wir fuhren weiter. Und auch sie konnten passieren. Zurückblickend sah ich noch, wie der Kutscher im Stehen seine Pferde zum Nikolajewski peitschte.

„Welches ‚Ausland‘ kann man denn von diesen Bahnhöfen aus erreichen?“ fragte ich verwundert.

„Man kommt in alle möglichen Länder“, antwortete Alexander Alexandrowitsch. „Erstens nach Finnland. Von Petersburg aus übers Meer. Und auch über Tosno oder Reshiza. Und vom Jaroslawler Bahnhof kommt man sogar nach Amerika.“

Endlich waren wir da. Ich habe solche Häuser später nie wieder gesehen. Eine glitschige Treppe, die einen deutlichen Beigeschmack nach Sauerkraut hatte, führte durch eine überdachte frostige Galerie. Auf sie gingen die Fenster und Türen der Wohnungen hinaus, je drei bis vier auf einem Stockwerk. An die Außenwand schmiegt sich Kämmerchen und Aborte. Die einen hatten Vorhängeschlösser, die andern auf Nägeln zu drehende Verschlüsse.

Die Wohnung, die zu der gesuchten Nummer gehörte, lag in der zweiten Etage links. Auf einem kupfernen, in umsäumtes Wachstuch eingepaßten kleinen Schild stand ganz einfach „Wjaslowa“ und nichts weiter: keine Initialen und kein Titel.

Ich wußte, daß in dieser Wohnung Privatunterricht erteilt wurde, mit dem man sich auf alle Gymnasialklassen, auf die Junkerschulen und andere vorbereiten konnte, und wunderte mich, daß man draußen keinen diesbezüglichen Hinweis bemerkte.

Da Alexander Alexandrowitsch keine Klingel fand, begann er mit der Faust an die Tür zu klopfen, aber seine Schläge hörten sich schwach an. Sie wurden von der Filzunterlage des Türbezuges gedämpft.

Ganz in der Nähe stand ein Trinkwasserbehälter mit leicht verschobenem Deckel. Wasser war vermutlich nur dicht über dem Boden, doch das Kübelinnere wurde vom Eis in mehreren unnützen Schichten verschnürt, die bis zum Grund durchstoßen waren. Auf dem Rand der oberen Schicht, welche mit strahlenförmig nach den Seiten verlaufenden Haarrissen bedeckt war, stand ein Krug aus Zinkblech.

Endlich wurde geöffnet. Ein hageres altes Mütterchen, das an einer schwarzen Schnur ein Uhrchen trug, ließ uns eintreten, ohne eine Frage zu stellen. Später erfuhr ich, daß es die Wjaslowa in eigener Person war.

„Entschuldigen Sie“, sagte Alexander Alexandrowitsch. „Wir möchten zur Lewizkaja. Wenn ich mich nicht irre, wohnt sie bei Ihnen. Wo ist es denn?“

Bei seinen letzten Worten befand sich die Wjaslowa auf einmal unmittelbar unter seinem Kinn.

„Kommen Sie bitte. Sie ruht sich gerade aus“, sagte sie mit erhobenen Kopf und blickte ihm von unten her ins Gesicht.

Von dem düsteren Vorzimmer aus, in das wir ihr gefolgt waren, offenbarte sich mir eine Szene, die mit ihrer ruhigen Ausdrucksstärke einem gemalten Bild ähnlich war. Gromeko und die Wjaslowa gingen weiter, doch ich blieb wie angewurzelt stehen.

Von hier aus gelangte man in drei Räume. In dem mittleren wurde offenbar unterrichtet. Seine Tür war geschlossen. Stimmen drangen heraus, deren Aufeinanderfolgen an kein vernünftiges Gespräch erinnerte.

In den beiden seitlich gelegenen Zimmern brannten Ampeln, und ärmlich und bescheiden gekleidete Leute unterhielten sich, um die Lernenden nicht zu stören, halblaut im Sitzen und im Stehen. Das Gespräch wurde nicht von allen gemeinsam geführt. Man unterhielt sich paarweise oder zu dritt in den Ecken des Zimmers. Später erfuhr ich, daß es in der Mehrzahl Gruppen Studierender waren, die darauf warteten, ins Mittelzimmer vorgelassen zu werden.

In der Wohnung stand ein strenger, in Enge und Dürftigkeit gestauter Geruch nach Bett und Matratze. Plötzlich fühlte ich ein Jucken an den Schläfen. Und dann hinter den Ohren. Gleich darauf krabbelte es mich am Handgelenk. Hier gab es massenhaft Wanzen.

In dem Zimmer zur Linken hielten sich weniger Personen auf. Dort hatte man mittels einer Kommode und eines Waschtischs, die von einem zurückzuschlagenden Vorhang verborgen waren, einen Winkel abgetrennt. In der Vorhangöffnung stand ein mürrisch dreinblickender junger Mann wie am Eingang zu einem Zelt. Er trug ein Hemd aus grobem Stoff mit gesticktem Kragen. Seitlich hinter die Draperie starrend, hörte er jemandem zu. Nach den Blicken zu urteilen, die er über die Schulter warf, befand sich sein Kamerad in liegender Stellung und wollte ihn nicht fortlassen, ihn von irgend etwas überzeugen. Der junge Mann bekam einen Hustenanfall, winkte dem Kameraden mit der Hand und trat aus dem Vorhang ins Zimmer. Eine Männerhand wurde nach ihm ausgestreckt, ohne ihn zu erreichen. Er ging quer durchs Zimmer und stieß an der Tür fast mit mir zusammen.

Von rechts kam die Wjaslowa. Sie trat dicht an ihn heran.

„Haben Sie es so eilig, Nell?“ fragte sie. „Mitja ist gleich fertig. Wegen der Telegrafisten habe ich mich eben fast heiser gebrüllt. Man behauptet, daß sie beim Bezirk die Zinseszinsen verlangen. Als ob ich ein Wickelkind wäre und die Lehrprogramme noch nie gesehen hätte, ich kann jedes von ihnen auswendig hersagen. Zum Beispiel in den Kadeten...“

„Geben Sie mir ein bißchen Gerstenzucker, und zum Teufel mit Ihren Kadettenkorps“, sagte der junge Mensch und fing an zu husten.

„Wie Sie sich verändert haben“, sagte die Wjaslowa seufzend. „Seitdem Sie Lelja den Laufpaß gegeben haben...“

„Was für Ausdrücke, Mamachen. Ich kann kaum auf den Beinen stehen, verdammt, so tief haben Sie mich getroffen. Petka liegt dort lang, wenn Sie die Zunge wetzen möchten. Das ist ein dankbareres Opfer.“

Die Wjaslowa zuckte die Achseln und wandte sich ab. Da sah sie mich.

„Ach, da ist der Kleine ja“, rief sie und verfiel in den gleichen spöttelnden Ton. „Und wir dachten schon, Sie wären unterwegs verschüttgegangen. Warum laufen Sie sich denn im Vorzimmer die Füße wund, junger Lateinschüler? Folgen Sie mir, dort sind die Vorgesetzten.“

Wir schritten durch das rechte Seitenzimmer und gelangten in eine winzige Schlafkammer.

Der Raum wurde von einer an der Decke hängenden bunten Lampe erhellt. Alexander Alexandrowitsch saß im Schatten. Das goldgelbe Licht fiel als kreisrundes Gitter auf Oljas Gesicht und ihr Kleid. Sie überraschte durch ihre Abgezehrtheit, ihre fieberhafte Redseligkeit und die ermüdende Wirkung, die von ihrer wechselnden Lage auf dem nicht eingedeckten Bett ausging.

„Was, auch Patrik ist hier? Warum hast du mir nichts davon gesagt, Sascha?“ sagte sie vorwurfsvoll zu Gromeko, sprang vom Bett auf und küßte mich ab.

Schweigen trat ein. Die Fortsetzung des Gesprächs wurde durch die Anwesenheit der Wjaslowa behindert. Als sie gegangen war, nahm Olja den Faden wieder auf.

„Am Abend zuvor hat Fiedler, der Direktor, in meiner Anwesenheit den General Rudnew ans Telefon gebeten. Um Gottes willen, sagt er, was machen Sie bloß, es sind doch Kinder, das ist einfach gewissenlos. Denn die Hälfte davon waren Schüler von ihm, Realschüler der oberen Klassen. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Aufregung gab, Saschenka? Dort ist so eine Marmortreppe mit den goldenen Tafeln der Medaillengewinner. Ein ganz typisches Institutsvestibül. Das wurde mit Bänken und Wandtafeln verbarriadiert. Und so haben wir die Nacht verbracht. Bei Tagesanbruch verspricht man uns, allen, die sich ergeben, werde kein Haar gekrümmt. Wir also gleich in hellen Scharen raus aus der Schule.

Versprochen hatte dies wohl der Rittmeister der uns belagernden Truppe, ein Rachmaninow oder Rachmanow. Als wir nun auf dem Weg zur Mylnikow-Gasse waren, tauchte wie aus heiterem Himmel eine zweite Abteilung aus der Maschkow-Gasse auf. Rachmanow schreit ‚Halt, halt‘, da er sein Ehrenwort gegeben hatte und es eine Schande für ihn war. Aber auf die macht das nicht den ge-

ringsten Eindruck, sie schlagen sofort drauflos. Gott im Himmel, war das eine Bescherung! Ringsum stockfinster, man hatte nur den einen Gedanken: so schnell wie möglich in einem Torweg verschwinden, aber links und rechts von dir fallen sie um, dem einen wird das Ohr abgehauen, dem andern säbeln sie die Finger ab. Und ein Geschrei... Und ein Stöhnen... ‚Rittmeister‘, schreie ich, ‚sieht Ihr Ehrenwort so aus?‘ Aber, was kann er machen, wenn sie nicht auf ihn hören... Wenn man bedenkt, was dann weiter geschehen ist, erscheint mir das von Fiedler wie ein Tropfen auf einen heißen Stein.“

Sie ließ die Füße vom Bett gleiten und wiederholte zerstreut dieselben Worte. Ich erriet am Klang ihrer Stimme, daß sie an etwas anderes dachte und drauf und dran war, in Weinen auszubrechen. Sie stand auf und ging im Zimmer herum. Bei jedem Schritt stieß sie irgendwo an. Von den Drehungen auf der Stelle wippte ihr Rock und schlug ihr gegen die Beine. Plötzlich hielt sie inne und schloß die Augen. Ein Zittern überlief sie, als hätte sie Schüttelfrost.

„Nein, nein, nein“, sagte sie, als ob sie aus einem Traum erwachte, „nichts wie fort aus diesem Wanzenloch. Morgen werde ich woanders hinziehen. Und wenn sie mich einlochen – was macht das schon aus. Da kann ich mich wenigstens mal ausschlafen. Haben sie bei euch nicht gesucht?“

„Nein, bis jetzt noch nicht.“

„Aber in der Spassopeskowski sind sie angerückt.“

„Ach, du unverbesserlicher Tollkopf, kauf dir doch einfach Insektenpulver, und du schläfst wie ein Leichnam.“

Wieder trat Schweigen ein. Alexander Alexandrowitsch sah auf die Uhr, räusperte sich und machte Anstalten, sich zu erheben.

„Wo willst du hin?“ fragte Olja auffahrend. „Komm bloß nicht auf so eine Idee. Zwischen sieben und neun ist hier Pause, da kann man sich zurückziehen. Bleibt doch bitte noch hier. Petja ist auch wach. Wenn du willst, kann ich ihn rufen. Ihr habt euch doch noch gar nicht gesehen? Hör zu, sei möglichst rücksichtsvoll zu ihm, er hat furchtbaren Kummer. Wir verheimlichen es zwar vor ihm, aber er hegt einen Argwohn. Auf der Kasaner Strecke ist eine Strafexpedition ausgezogen, hast du davon gehört? Sie verüben Greuelthaten, die Haare stehen einem zu Berge. Und seine Angehörigen wohnen in Ljuberzy.“

Olja hielt es nicht länger aus, sie ließ ihren Kopf in die Kissen fallen und schluchzte laut auf. Ein paar Minuten verstrichen. Dann war ein Schnarchen mit pfeifenden Modulationen zu vernehmen. Wir sahen uns an. Olja war eingeschlafen, mit offenem Mund, das Gesicht nach unten, den Körper schräg übers Bett geworfen.

Wie wir die darauffolgende Stunde – oder waren es andert-halb – verbracht haben, ist mir entfallen. Am Ende dieser Zeit befanden wir uns auf einmal in dem Zimmer, das an jenes anstieß, das ich vom Vorsaal aus rechts gesehen hatte.

Die Schüler hatten sich zerstreut. Die Pause, von der Olja gesprochen hatte, war eingetreten. Am Tisch saßen fünf, sechs Personen: der Sohn der Wjaslowa; Dmitri Dmitrijewitsch, ein studierender Streckenarbeiter; der gallige junge Mann namens Anempodist Dudorow; Pjotr Terentjew, den ich jetzt zum ersten Mal sah; und noch zwei, drei Universitätsstudenten. Wir machten uns mit ihnen bekannt.

„Am Anfang lief alles prächtig“, berichtete Terentjew. „Die Polizei steckte bis über beide Ohren in Schwierigkeiten. Ihre Abwesenheit war noch nicht bemerkt worden. Doch kaum waren sie auf dem Land angekommen, da wurden sie von den Bauern fast gepfählt. ‚So seid ihr also‘, riefen sie, ‚bei euch habt ihr die Fabrik in Brand gesteckt, und jetzt kommt ihr zu uns, um uns aufzuwiegeln?‘ Und sie drohten, die Gemeinde zusammenzurufen. Man kam nur mit knapper Not davon.“

„Das ist nicht weiter verwunderlich. Es liegt ganz in der Ordnung der Dinge“, sagte Dudorow.

Alle fielen über ihn her.

„Warum gibst du so an?“ rief Wjaslow erregt. „Erklär mir bitte diesen Unsinn. Du bist keineswegs das, was du zu sein vorgibst. Du bist überhaupt nicht aus Moskau herausgekommen, denn man hat dich an den Barrikaden gesehen. Weshalb dann dieses Getue?“

„Blödsinn. Man konnte mich gar nicht sehen, ich war bei Muro, auf der Jagd. Ich muß einen Doppelgänger haben.“

Nach langem Wortwechsel gab er zu, daß er der Versuchung nicht widerstanden und tatsächlich im Gebiet der Meschtschanskaja-Straßen gekämpft hatte, aber allein und auf eigene Gefahr.

In diesem Zusammenhang erfuhr ich, daß er dem Fürstengeschlecht der Dudorows entstammte und trotz seiner Jugend schon drei Jahre administrativer Verbannung abgebußt hatte, gegenwärtig jedoch von seiner Bahn abgewichen und dem theoretischen Marxismus gegenüber völlig gleichgültig geworden war. Mit den Angehörigen hatte er seit langem gebrochen, er lebte ärmlich und allein und war durch irgend jemandes warme Fürsprache wieder in die Universität aufgenommen worden. Er übersetzte und schrieb ab und zu etwas, hatte aber noch nicht jenen Ruf, den er später errang; und hierher kam er, um Geschichte und Fremdsprachen zu unterrichten, die Vorwürfe seiner ehemaligen Genossen anzuhören und ihnen sarkastische Antworten zu geben. Man konnte ihm hier vor allem seinen Bruch mit einem jungen Mädchen dieses Kreises nicht verzeihen.

Terentjew entwickelte zwei seiner Lieblingsideen. Daß bei uns das Proletariat auf Grund seiner Jugend noch nicht von der Bauernschaft zu trennen sei und daß der Industriearbeiter der Träger der zukünftigen Kultur sei. Zur Untermauerung dieses Gedankens stellte er folgende Überlegungen an: Für den modernen Intellektuellen sind die Natur und die Naturgesetze zwei verschiedene

Dinge. Das erste ist Gegenstand eines müßigen Wohlgefallens, das zweite die Nahrung eines trockenen, leidenschaftslosen Studiums. Aber für den Arbeiter ist beides ein und dasselbe. Auch über den Formeln vergißt er nicht, daß diese Gesetze eben die der Natur, und von nichts anderem sind, derselben alles hervorbringenden irdischen Natur, die, grob vereinfachend gesagt, sein Heimatdorf ist, in diesem Fall gesehen in seiner Universalität, als ein Ganzes unter dem Mond, sozusagen in seiner kosmischen Spannweite. Denn die physischen Grundfesten des Universums eröffnen sich ihm bei der Arbeit, und zwar mit der gleichen Ursprünglichkeit wie seiner Großmutter die Termine und Besonderheiten des Kalbens der Kühe. Für diese Idee fand er eigene, kühne und treffende Worte. Aber auf einmal ergriff die professionelle Didaktik Besitz von ihm, er vergaß jenes Kostbare, Lebendige und Sichverändernde, das seinen Gedanken innewohnte, verlor völlig den Faden und ging dazu über, das Bewiesene zu beweisen und das allgemein Bekannte zu erhärten. Dies tat er auf lebensfremde, einstudierte und ganz unpassende Art und Weise, weil alle in der Runde der Zuhörer auf dem Gebiet zu Hause waren und es in diesem Kreise wiederzukäuen das gleiche war wie das Bemühen, ein Huhn über die Eier aufzuklären.

„Lenken wir nun unser Augenmerk auf die Entwicklung“, sprach er, „wie sie verläuft. Mit der wachsenden Verarmung des Dorfes trennt sich der Bauernsohn von seinem Haus, in geometrischer Progression beginnen sie in die Städte zu strömen. Warten Sie, Warwara Iwanowna. Andererseits schöpft die Industrie in ihrem Bedürfnis nach Arbeitskräften immer großzügiger aus diesem Reservoir. Aber wenden wir uns unserem hauslosen Wanderer wieder zu, wo haben wir ihn zurückgelassen, was bemerken wir? Gemäß dem Entwicklungsgang der Industrie an Kessel, Kühlschlangen und Akkumulatoren gestellt, steigt er allmählich die Eisentreppe hinauf bis zu dem Absatz, wo unweigerlich die Anfangsgründe der Mechanik von ihm verlangt werden, die Kenntnis der Elektrizität und geschickte, an Ort und Stelle getroffene Schlußfolgerungen. Die Bekanntschaft mit der Maschine offenbart ihm die verborgenen Seiten der Physik. Ihr sagt also, Natur. Grob gesprochen, sind das die Milch, die Beeren und Pilze im Birkenhain, die sommerliche Erholung auf dem schattigen Land. Und dann sagt ihr, die Naturgesetze. Das sind, grob gesprochen, die stillen Kodexe der Universität, die Geräte, die winterlichen theoretischen Überlegungen. Er aber beugt sich auch über das Magnetfeld, wie er sich vor dem Aufpflügen für die Wintersaat übers Brachfeld beugte. Denn für ihn ist das ein und dasselbe...“

Und dann folgte ein Gedanke, den er ganz eigenständig ausdrückte und keineswegs abgedroschen. Schließlich kamen wieder die Binsenwahrheiten.

„Wenn wir ihm aber nun auf der Treppe folgen, auf der wir ihn gelassen haben, und übers Geländer hinuntersehen, was sehen wir da? Wohltätige Damen, die sich gemeinsam damit abplagen, für ihn eine Neujahrsfeier zu richten oder einen Mäßigkeitsverein zu gründen, und wenn man sie gewähren läßt, dann werden sie anfangen, ihn im Lesen und Schreiben zu unterweisen oder ihm schließlich sogar einen Schnuller oder eine Klapper kaufen. Nun, zuerst wischt er sich die Hände am Werg ab und danach am Kittel – und dann steigt er von dem Treppenabsatz geradewegs zu ihnen hinunter. Da habt ihr Kummer und Krummholz und ‚Ich bin nicht mehr euer Diener‘.“

„Du brauchst mich nicht zu agitieren“, sagte Dadorow. „Ich erwarte den Sieg der Revolution mit größerer Ungeduld als ihr alle. Schon hundert Jahre bereiten wir sie vor. Die besten Kräfte Rußlands sind bei ihrer Vorbereitung verschlissen worden, und auf moralischem Gebiet scheint sie sogar schon stattgefunden zu haben. Aber Platonismus ist hier fehl am Platz. Wir müssen sie mit eigenen Augen sehen. Wenn noch weitere zehn Jahre verstreichen, dann geht uns die Puste aus. Warte, bevor du zu lächeln anfängst. Selbstverständlich wird sie kommen. Und in der Anfangszeit wird sie genau das sein, wovon wir soviel reden. Die Befreiung von der Selbstherrschaft, von den Auswüchsen der kapitalistischen Ausbeutung. Aber schließlich wird die wirkliche Freiheit kommen. Die Zeit wird sich befreien, die von mehreren Generationen ihr und ihrer Erörterung geopfert worden ist, dem Leben und Sterben für sie, und die Gedanken und die Kräfte werden sich befreien. Und das mußt du zugeben: Rußland hat dies angesichts seiner jahrhundertalten Opfer verdient... Aber sie soll Staunen erregen und verstören. Und auf einmal ist es ihr möglich, etwas nicht vorhersehbar Anspruchsloses zu ersinnen, zu erstrahlen und zu lächeln...“

Genau an der interessantesten Stelle wurde er unterbrochen. Draußen auf der Galerie wurde geläutet. „Es klingelt“, sagte Wjaslow. „Petka, du kannst dich drauf verlassen, nachher bekommst du eine Antwort.“ – Und dann ging er, um zu öffnen. Als er zurückkehrte, beugte er sich von hinten zu Terentjew hinab und tuschelte ihm etwas ins Ohr. Beide blickten sie zu Dadorow hinüber und gingen hinaus. Jener stand ebenfalls auf, wurde etwas verlegen und trat von einem Bein aufs andere.

„Bleiben Sie hier“, befahl die Wjaslowa. „Sie besprechen es drüben bei Mitja. Es hat keinen Sinn, daß Sie sich jetzt begegnen.“

Etwa fünfzehn Minuten später vernahm man direkt vor der Tür zum Eßzimmer Stimmen und Schritte, aber sie gingen vorüber und entfernten sich durch den Vorsaal und die Küche nach draußen.

Terentjew trat hastig ins Eßzimmer. Freudestrahlend eilte er zu Olja.

„Mitja ist zur Begleitung mitgegangen, Warwara Iwanowna“, sagte er im Vorübergehen.

In diesem Moment kam Olja selbst rot und verschlafen aus der Kammer. Sie sah seine Augen und Lippen und schien die Nachricht zu erraten, die eben seiner Zunge entschlüpfen wollte.

„Lelja Ossipowitsch?“ rief sie und machte eine Bewegung, als wolle sie sich mit den Händen an seine Antwort klammern.

„Ja. Das ist eine Freude. Papa und alle bei mir zu Hause sind am Leben, gesund und unversehrt. Sie kommt eben von dort, wärest du eine Minute früher aufgestanden, hättest du sie selbst nach allem fragen können. Mein Papa“, fuhr er fort, indem er sich an alle wandte, vor allem aber an Alexander Alexandrowitsch, „war, wie man hört, über uns ein wenig verärgert. Dadurch entgingen sie dem Verhängnis. Sonst... die Zunge stockt einem, wenn man erzählen will, was dort passiert ist... Wenn er denen in die Quere gekommen wäre... ich weiß nicht, wie ich die Vorstellung loswerden soll. Sie waren schon vorher ganz durcheinander. Mama und die Schwester haben sie in der Familie der Mutter, im Landkreis Bronizki, einem entlegenen Amtsbezirk, versteckt. Und er selbst ist zu Fuß nach Moskau gegangen, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Deshalb war das Haus auch leer, alles ausgestorben, und wir haben es mit der Angst bekommen.“

Olja hörte zu und sah ihn dabei an. Er hielt inne und strahlte über das ganze Gesicht.

Eine besondere, eine weitere Freude hatte er für sie aufbewahrt, eine geheime, unverbrauchte. Und da vergaß Olja nicht nur die Regeln der Konspiration, sondern ganz einfach die der bloßen Vernunft (um nicht zu sagen, die des guten Tons), sie wurde für einen Moment nachdenklich...

„Sie haben die Pässe gebracht?“ rief sie mit der gleichen Geste wie vorher, und alle standen auf, fuchtelten mit den Händen vor ihrem Gesicht herum und begannen zu zischen.

„Ach, was soll man bloß mit ihr anfangen“, sagte Terentjew und wandte sich von neuem an Alexander Alexandrowitsch.

Стихотворения Юрия Живаго

Schiwagos Gedichte

1. Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

2. Март

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

1. Hamlet

Lärm verstummt. Ich trat hinaus zur Bühne.
Angelehnt ans Rahmenholz der Tür
Forsche ich im Nachhall ferner Töne,
Was im Leben noch geschieht mit mir.

Fest auf mich der Nacht tiefdunkle Leere
Sich mit tausend Operngläsern dreht.
Abba, Vater, so es möglich wäre,
Gib, daß dieser Kelch vorübergeht.

Mir ist lieb dein unbeirrbar Planen,
Bin den Part zu spielen auch bereit.
Aber jetzt läuft hier ein andres Drama,
Und für dieses Mal laß mich beiseit.

Doch durchdacht rückt Akt um Akt nun näher:
Nichts, das sich dem End entgegenstellt.
Bin allein. Ringsum nur Pharisäer. –
Leben ist kein Gang durch freies Feld.

2. März

In der Sonne ists nicht auszuhalten,
Und die Schlucht ist außer Rand und Band.
Wie der drallen Viehmagd flinkes Schalten
Geht sein Werk dem Frühling von der Hand.

Siecher Schnee hat zuviel Blut verloren
Aus des bläulichen Geäders Bahn.
Doch das Leben dampft aus Kuhstalltoren,
Und Gesundheit sprüht der Forke Zahn.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник,
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

3. На Страстной

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

Diese Nächte, diese Tag' und Nächte!
Tröpfeltrommelschlag zur Mittagszeit,
Unterm Dach der Zapfen magre Flechte,
Schlaflos schwätzen Bäche weit und breit!

Auf das Tor des Kuh- und Pferdestalles.
Tauben auf dem Schnee zur Fütterung;
Und der schuld ist und belebt das alles,
Füllt den Hof mit frischem Hauch – der Dung.

3. Passionszeit

Noch finstre Nacht ist überall.
So früh noch rings im Raume,
Daß Sterne stehen ohne Zahl,
Und jeder hell wie Tages Strahl,
Und hätt die Erde freie Wahl,
Verschließ sie wohl das Ostermahl
Und läg beim Psalm im Traume.

Noch finstre Nacht ist überall:
So früh noch auf der Erde,
Daß ewiglang der Platz und fahl
Sich streckt vom Eck zum Kreuzwegpfahl,
Als obs zum ersten warmen Strahl
Noch ein Jahrtausend währte.

Noch ist die Erde nackt und kahl
Und kann bei Nacht nicht frierend
Frohlocken mit der Glocken Schall,
Dem Chor nicht respondieren.

Und vom Kardonnerstage an
Bis zum Karsamstagabend
Drehn Wasser ihre Wirbelbahn
Die Ufer untergrabend.

Der Wald, auch bloß und unbedeckt
Hat zur Passion des Herren
Wie Beterreihen aufgereckt
Die Stämme seiner Föhren.

Und in der Stadt, auf engstem Raum,
Wie im Versammlungssaale,
Steht splitter nackend Baum an Baum
Und schaut zum Domportale.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

4. Белая ночь

Мне далекое время мерещится,
Дом на Стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Und voll Entsetzen ist ihr Schaun,
Begreiflich ihr Gehabe;
Die Gärten treten aus dem Zaun,
Der Erde Bau erbebt voll Graun:
Dort trägt man Gott zu Grabe.

Sie sehn beim Königstor den Schein,
Den schwarzen Schrein, die Kerzenreih'n,
Die blindgeweinten Leute –
Da tritt der Kreuzeszug hervor,
Das Bartuch ausgebreitet,
Und die zwei Birken vor dem Tor
Die müssen still zur Seite.

Der Zug, am Bürgersteig entlang,
Umkreist den Hof gemessen,
Und bringt ins Vorschiff mit vom Gang
Den Frühling, Frühlingsstimmenklang,
Und Luft, die Weihbrotduft durchdrang
Mit Ruß aus Frühlings-Essen.

Und März teilt seine Schneelast aus
Der Krüppelschar vorm Gotteshaus,
Als träte dort ein Mensch heraus
Und schüttelt' seinen Beutel aus
Und wollte nichts behalten.

Und bis zum Frührot singt der Chor,
Die Klagen lang verhallen,
Und leiser dringt nur noch hervor
Vors leere Tor im Lampenflor
Apostel oder Psalter.

Doch mittnachts jedes Wesen schweigt,
Vernimmts im Frühlingswehen,
Daß, wenn nur erst die Sonne steigt,
Der Tod sich doch dem Ansturm beugt,
Besiegt vom Auferstehen.

4. Weisse Nacht

Vor mir geistert die ferne Vergangenheit:
Haus im Petersburger Quartiere,
Deine ärmliche Landgutbefangenheit,
Bist aus Kursk, hier zum Kurs, zum Studieren.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоём подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамною
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой,
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится,
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоневые и вишневые
Одеваются цветом белесым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные дела
Белой ночи, выдавшей так много.

5. Весенняя распутица

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Du bist hübsch und Verehrer umgeben dich...
Weiße Nacht ists, da hocken wir beide –
Auf dein Fenstersims setz ich mich neben dich –
Schaun aus schwindelnder Höh in die Weite.

Unterm frühkalten Hauche verknistern schon –
Schmetterlinge aus Gas – die Laternen.
Das, was ich dir erzähle im Flüsterton,
Ist so ähnlich den schlafenden Fernen.

Uns umhüllt jene gleiche verschlossene
Dem Geheimnis gewidmete Treue
Wie das zum Panorama ergossene
Petersburg hinterm Strom in der Bläue.

Dort, wo fern sich der schlummernde Wald erstreckt,
Sind im nachthellen lenzlichen Glimmen
Alle Tannen vom donnernden Schall erschreckt,
Von dem Lobpreis der Nachtigallstimmen.

Das besessene Schnalzen quillt himmelauf,
Dieser Vogel, der unscheinbar kleine,
Weckt Verzückung, Tumult und Getümmel auf
Tief im Grund der verzauberten Haine.

Dorthin sucht, eine barfüßige Bettlerin,
Sich am Zaun lang die Nacht ihre Fährte.
Hinter ihr zieht vom Fenster, vom Lettner hin
Sich die Spur des Gesprächs, das sie hörte.

In dem Echo von dem, was sie aufgeschnappt
Vom Gespräch, haben rings in den Zäunen
Alle Apfel- und Birnzweige aufgeklappt
Ihre Blüten, um weiß zu erscheinen.

Und die Bäume, die Spukwesen gleichen nun,
Stürzen vor auf die Straße in Scharen,
So als winkten zum Abschied sie Zeichen zu
Jener Nacht, die so vieles erfahren.

5. Frühlingsunwegsamkeit

Die Abendglut im Schwinden schwelte,
Durch zähen Schlamm im Waldestal
Sich hoch zu Roß ein Reiter quälte
Zum fernen Vorwerk im Ural.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовый свой повойник
Клюнула, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

6. Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Es schwappt' im Wanst des Pferds beim Traben.
Der Hufe klatschend kaltem Klang
Jagt' nach vom Bach, vom Wald, vom Graben
Der Wasser Schwall als Abgesang.

Als er die Zügel losgelassen
Und ließ sein Pferd im Schritt nun gehn,
Entrollten rings die Wassermassen
All ihr Gepolter und Gedröhn.

Da lachte wer, dann weint' es wieder.
Gestein auf Kies zerschellt' im Schaum.
In Wasserwirbel stürzten nieder
Entwurzelt Stumpf und Stamm und Baum.

Und bei des Abendbrandes Glosen
In ferner Äste schwarzem Wall
War, wie der Sturmesglocke Tosen,
Ganz außer sich die Nachtigall.

Wo ihren Witwenflor die Weide
Hinab zum Hohlweg hängen ließ,
Sie, wie der Räuber von der Heide
Auf seinen sieben Eichen, blies.

Für welches Unheil, welche Flamme
Sich wohl die wilde Glut ergoß?
Auf wen sie wohl von Stamm zu Stamme
Mit solchem groben Schrotsatz schoß?

Es schien, sie würde Waldschrat werden,
Aufs Mal vorm Sträflingsschlupfloch stehn
Und zu den Leuten und den Pferden
Der Partisanenposten gehn.

Erd, Himmel, Wald und Feld verschlangen
Begierig diesen seltnen Schall,
In dem so ausgewogen schwangen
Der Wahn, der Schmerz, das Glück, die Qual.

6. Erklärung

Grad so grundlos kam das Leben wieder
Wie sich damals seltsam unterbrach.
Geh die gleiche alte Gasse nieder
Wie zu jener Stund am Sommertag.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током,
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

Menschen, die die gleichen Sorgen haben...
Noch ist nicht die Abendglut verbrannt,
Wie sie damals rasch der Todesabend
Nagelte an die Manegenwand.

Frauen in blauweißgestreiftem Zwillich
Treten noch die Sohlen ab bei Nacht,
Werden von Mansarden grad so billig
Dann gekreuzigt auf dem Wellblechdach.

Eine kommt mit müden, schweren Tritten
Langsam auf die Schwelle vor dem Haus
Aus der Kellerwohnung raufgeschritten,
Geht dann übern Hinterhof hinaus.

Wieder such ich Finten zu erfinden,
Wieder ist mir alles einerlei.
Und die Nachbarin wird gleich verschwinden
Hinterm Eck, und läßt allein uns zwei.

So wein doch nicht, schürz nicht den Mund
Und leg ihn nicht in Falten,
Sonst wird der trockne Märzschorf wund,
Du wirst ihn wieder spalten.

Nimm deine Hand von meiner Brust –
Wir sind geladne Drähte.
Nicht daß es plötzlich unbewußt
Uns neu zusammentäte.

Die Zeit vergeht, und du wirst frein,
Die Unstetheit wird enden.
Ein großer Schritt ists: Frau zu sein,
Und Heldentum: Verblenden.

Mich wird des Weibes Wunderkraft
Mit Hals und Arm und Rücken
Auch so zu treuster Dienerschaft
Mein Leben lang entzücken.

Doch wie der Wehmutsring der Nacht
Auch hindert, daß ich wiche:
Der Drang hinaus hat größere Macht,
Und Leidenschaft will Brüche.

7. Лето в городе

Разговоры вполголоса
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышится
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.

8. Ветер

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.

7. Sommer in der Stadt

Worte, halblaut geflüsterte,
Und ein hastiges Packen
Wirft die Haare, die knisterten,
Allesamt aus dem Nacken.

Einen Kamm in den Schopf gesteckt,
Wie behelmt zum Gefechte,
Schaut die Frau, hat den Kopf gereckt
Mit dem schweren Geflechte.

Doch von draußen her kündigt die
Heiße Nacht ein Gewitter,
Und nach Hause verschwinden die
Letzten schlurfenden Schritte.

Kurzer Donnerschlag knattert dann,
Scharf vom Echo begrenzter,
Und vom Wind fängt zu flattern an
Die Gardine am Fenster.

Dann ein Schweigen, ein Zögern noch,
Unvermindert die Hitze,
Unvermindert durchstöbern noch
Rings den Himmel die Blitze.

Und wenn wieder des leuchtenden
Morgens glühendes Fegen
Dörft den asphaltbefeuchtenden
Rest vom nächtlichen Regen,

Schauen mürrisch ins Lüfemeer –
Konnten Schlaf ja kaum finden –
Hundertjährig und düfteschwer
Die noch blühenden Linden.

8. Wind

Ich bin am End. Du lebst. – Der Wind
Rüttelt mit Klagen, Weinen, Jammern
Am Wald, am Haus mit allen Kammern,
Nicht daß er einzeln sie bestreite,
Nein alle Bäume wie sie sind,
Die ganze grenzenlose Weite,
Als höb und senkte er geschwind
Die Boote auf der Meerbucht Breite,

И это не из удалства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

9. Хмель

Под раkitой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.

10. Бабье лето

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.

Und nicht, weil er auf Tollheit sinnt
Oder ihn ziellos Wüten leite,
Nein, daß er trauernd Worte find'
Und dir ein Wiegenlied bereite.

9. Wilder Wein

Wo der Efeu die Weiden umquillt,
Wolln wir Schutz vor dem Unwetter finden.
Unsre Schultern der Mantel umhüllt,
Während dich meine Arme umwinden.

Ich vertat mich. Ums Buschwerk im Hain
Ist nicht Efeu, nein Weinrankengleiten.
Darum wird es das beste wohl sein,
Wenn den Mantel wir unter uns breiten.

10. Altweibersommer

Das Johannesbeerblatt ist grobseiden.
Drin im Hause, da lachts und da klirrts,
Da gibts Pfeffern und Sauerkrautschneiden,
Und ins Mus tut man Nelkengewürz.

Und der Wald, wie zum Spaß, wirft mit Wonne
Diesen Lärm an den senkrechten Hang,
Wo der Haselbusch brennt in der Sonne,
Als ob Scheiterstoßglut ihn verschlang.

Hier sinkt abwärts der Weg in die Schrunde,
Hier tut leid dir das Knieholz, das knarrt,
Und der Herbst, der das alles zum Grunde
Als ein Altwarensammler hinscharrt;

Und daß gar nicht so schwierig die Welt ist,
Wie manch listiger Schlauberger wähnt,
Daß der Hain wie ins Wasser gestellt ist,
Daß für alles kommt einmal ein End;

Daß es sinnlos ist, klagend zu schauen,
Wenn vor dir alles brennt und verglüht
Und der Herbstruß in weißlichen Tauen
Wie ein Spinnweb zum Fenster rein zieht.

Hinterm Haus bricht der Pfad aus dem Gatter
Und verliert sich im Birkenholz bald.

В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

11. Свадьба

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег, бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалюсь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо

Drin ist Lachen, geschäftiges Geschnatter,
Grad so schnatterts und lachts fern im Wald.

11. Hochzeit

Übern Hof zum Haus der Braut
Zogen immer wieder
Gäste bis der Morgen graut',
Spielten, sangen Lieder.

Hinter unsrer Wirte Tor
Mit dem filznen Börtchen
Drang von eins bis sieb'n hervor
Auch kein Sterbenswörtchen.

Früh im tiefsten Schläfe dann,
Wo das Bett das beste,
Fing die Knautsche wieder an,
Kam zurück vom Feste.

Auf den Flanken des Bajans
Ließ der Spieler rollen
Händetanz und Knöpfeglanz,
Lärmen, Jauchzen, Tollen.

Und dann noch und noch und noch
Eine Stegreifstrophe;
Selbst wer sich ins Bett verkroch,
Hört' den Lärm vom Hofe.

Eine, weiß wie Schnee genau,
Trat aus dem Gewühle,
Schwebte wieder wie ein Pfau,
Ließ die Hüften spielen.

Kopf und rechter Arm war ganz
Zucken, heben, beben,
Und der Tanz auf Pflasterglanz
Schweben, schweben, schweben.

Plötzlich war die laute Hatz
Und das Tanzgetöse
Fort, als sänks mit einem Satz
Weg ins Uferlose.

Lärmend war der Hof erwacht.
Widerhall vom Tage

Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

12. Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,

Mischt' sich ins Gespräch der Nacht,
Lachen vom Gelage.

Himmels Unermeßlichkeit
Blaueflockt entgegen
Flattern Taubenschwärme weit
Aus den Taubenschlägen,

So als wenn zum Hochzeitsfest –
Aus dem Schlaf gerissen –
Man sie schnell noch fliegen läßt
Mit viel guten Grüßen.

Leben ist ja auch nicht mehr
Als ein Nu, ein Schwinden
Unser selbst in all'n umher
Als ihr Angebinde;

Ist nur Hochzeit, die vom Raum
Bricht in unsre Laube,
Nur ein Lied und nur ein Traum,
Eine blaue Taube.

12. Herbst

All meine Nächsten seh ich nimmer,
Fort ließ ich lange die Verwandtschaft,
Und Einsamkeit erfüllt wie immer
Das ganze Herz, die ganze Landschaft.

Da bin ich nun mit dir im Büdchen,
Im Wald ist keine Menschenseele.
Halbzugewachsen, wie im Liedchen,
Sind Weg und Steg um unsre Höhle.

Die Wände, klobig aufgeschichtet,
Auf uns allein mit Trauer sehen.
Wir sind zu keinem Kampf verpflichtet,
Wir werden ehrlich untergehen.

Wir wolln von eins bis drei noch werken –
Ich les ein Buch, du stickst ein Kissen –
Und wenn es dämmt nicht bemerken,
Wie wir auf einmal nicht mehr küssen.

Noch prächtiger, pausenloser, toller,
Ihr Blätter, rauscht und fallt und schüttet,

И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влечение, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятие
В халате с шелковой кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

13. Сказка

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину
И лесной тропой

Den Wermutkelch von gestern voller
Mit heutiger Schwermut überbietet.

Verknüpftheit, Lockung, Wohlgefallen!
Septembersturm, nimm uns von hinnen!
Vergrab dich ganz im Herbstlaubschwalle!
Erstirb nun oder sei von Sinnen!

Du wirfst genauso ab die Kleider
Wie Blätter wirft der Hain vom Aste,
Wenn du in die Umarmung gleitest
Im Schlafrock mit der Seidenquaste.

Du bist das Heil des Schritts zum Sturze,
Wenn Leben mehr als Siechtum quält uns
Und Wagnis ist der Schönheit Wurzel –
Und dies verbindet und vermählt uns.

13. Märchen

Einst, in jenen Zeiten,
In dem Märchenland,
Zog durchs Feld ein Reiter,
Wo die Distel stand.

Eilt' zum Strauß der Degen,
Und im Steppenstaub
Wuchs von fern entgegen
Wald mit dunklem Laub.

Unlust und Bedenken
Dumpf im Herzen murt:
Hüt dich vor der Tränke,
Straff den Sattelgurt.

Er verschließt die Ohren,
Will nicht Rast noch Halt.
Gibt dem Roß die Sporen,
Sprengt hinauf zum Wald.

Mußt' ums Steingrab biegen,
Kam ins Tal im Trab,
ließ die Lichtung liegen,
Ritt den Berg hinab.

Und im tiefen Grunde,
Rings von Wald umstellt,

Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву,
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попойть к ручью.

У ручья пещера,
Пред пещерой — брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.

И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.

И тогда оврагом,
Вздрогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.

И увидел конный,
И приник к копыю,
Голову дракона,
Хвост и чешую.

Пламенем из зева
Рассевал он свет,
В три кольца вокруг девы
Обмотав хребет.

Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У ее плеча.

Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.

Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.

Hat er dann gefunden
Tieresspur und Quell.

Und dem Ruf verschlossen,
Der ihm Warnung sprach,
Stieg er mit dem Rosse
Ab den Hang zum Bach.

Dort ist eine Höhle,
Eine Furt davor.
Als ob Schwefel schwele
Flammts vorm Höhlentor.

Und im Purpurwallen,
Das verdeckt den Blick,
Schallt ein Widerhallen
Rings vom Wald zurück.

Da ritt los der Degen,
Langsam Huf vor Huf,
Zitternd grad entgegen
Jenem fernen Ruf.

Und erkannte vorne,
Und griff schnell zum Speer,
Eines Drachens Formen
Schwarz und schuppenschwer.

Aus dem Rachen gingen
Rauch und Flammenstrahl.
Schlang den Rumpf in Ringen
Um die Maid dreimal.

Und der Hals der Schlange,
Wie ein Peitschenknopf,
Schwankte bang und lange
Bei des Mädchens Kopf.

Jenes Landes Söhne
Brachten als Gebühr
Die gefangne Schöne
Dar dem grausen Tier.

Jener Leute Sitten
Dükt' die Buße gut:
Wandten von den Hütten
So des Drachens Wut.

Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копьё для боя
Взял наперевес.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забвения.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Сияются очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.

Der hielt fest umschlungen
Kehle ihr und Hand,
Da zu Peinigungen
Er bekam dies Pfand.

Auf sah im Gebete
Himmelwärts der Mann.
Nahm die Lanze, drehte,
Legt' zum Kampf sie an.

Augen schlummernd ruhten.
Himmel. Walkendrang.
Furten. Flüsse. Fluten.
Jahr-, jahrhundertlang.

Helmlos nach dem Kampfe
Liegt der Mann, verletzt.
Pferdes Hufe stampfen
Auf den Drachen jetzt.

Pferd und Drachenleiche
Liegen dort im Gras –
Ihm die Sinne weichen,
Ohnmacht sie erfaßt.

Mittäglich gemessen
Zärtlich blickt das Blau.
Wer ist sie? Prinzessin?
Landkind ? Fürstenfrau?

Bald des Glückes Quellen
Tränen strömen macht.
Bald vergißt die Seele
Sich in Schlafes Nacht.

Bald wie neugeboren.
Bald ists totenstill.
Soviel Blut verloren,
Daß die Kraft verfiel.

Doch die Herzen beben.
Beide sind bemüht,
Sich vom Grund zu heben,
Und sie sind zu müd.

Augen schlummernd ruhten.
Himmel. Walkendrang.

14. Август

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбурно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.

Furten. Flüsse. Fluten.
Jahr-, jahrhundertlang.

14. August

Frühmorgens kam, wie sie versprochen hatte,
Die Sonne pünktlich in mein Zimmer
Vom Vorhang, wo sie sich gebrochen hatte,
Bis zum Diwan als Safranschimmer.

Sie hatt' in ockerheiß Geleucht gehüllt
Den Waldrand, jedes Haus im Orte,
Mein Bett, mein Kissen, das sich feucht anfühlt,
Und ein Stück Wand am Bücherborte.

Da fiel mir ein, warum im Leinentuch
Des Kissens leichte Feuchte hinge:
Mir träumte, daß zu meinem Leichenzug
Gemeinsam durch den Wald ihr ginet.

Gepaart, geschart, kamt ihr zu vielen her;
Da fiel es einem ein, daß heuer
Sechster August nach altem Stile wär,
Wo man des Herrn Verklärung feiert.

Es pflegt ein flammenloses Licht zu gehn
Vom Taborberg an diesem Tage,
Und Herbst, so klar wie ein Gesicht zu sehn,
Hat jeden Blick in Bann geschlagen.

Durchs bettelarme Strauchwerk geht ihr dann
Im zitternd-nackten Ellernbruche,
Zum Friedhofswald, der rot wie Ingwer brannt'
Als wärs Glasur von Pfefferkuchen.

Um seiner Kronen stumme Reihen lag
Des Himmels nachbarliche Breite,
Und mit entfernten Hahnenschreien sprach
Im Wechselruf gedehnt die Weite.

Im Walde stand, grad wie ein Landmeßmann,
Der Tod inmitten all der Gräber
Und schaute mein gestorbn'es Antlitz an,
Nahm Maß, die Grube auszuheben.

Am eignen Leibe spürte jeder dort,
Daß ruhig eine Stimme halle –

То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенная
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

15. Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.

's war meiner frühen Stimme Seherwort,
Unangetastet vom Verfalle:

«Leb wohl, Verklärungstag, ich grüße nun
Dein Blau und Gold zum letzten Male.
Mit letzter Frauenzartheit süße nun
Der Scheidestunde bittere Qualen.

Lebt wohl, ihr Jahre voll von Widrigem;
Und Weib, das mutig widerstreitet
Dem Abgrund von Entehrend-Niedrigem!
Ich bin als Walstatt dir bereitet.

Leb wohl, du Schwingenpaar, entfaltetes,
Du Wucht des Flugs in freien Lüften,
Und Bild der Welt, im Wort gestaltetes,
Und Schaffenskraft und Wunderstiften.»

15. Winternacht

Es weht' und wehte fort und fort
Durch alle Lande.
Die Kerze brannte auf dem Bord,
Die Kerze brannte.

Wie sommers Mücken und Geschmeiß
Zur Lampe kamen,
Verklebten Flocken dicht und weiß
Den Fensterrahmen.

Und Ring und Pfeil der Wirbel dort
Aufs Glas hinbannte.
Die Kerze brannte auf dem Bord,
Die Kerze brannte.

Auf die erhellte Decke schlich
Das Spiel der Schatten,
Wo Arm und Bein und Schicksal sich
Gekreuzt schon hatten.

Und zwei Pantoffeln fielen laut
Zum Boden nieder.
Vom Nachtlicht Wachs in Tränen taut
Auf Rock und Mieder.

Und alles war verlorn und fort
im weißen Tanze.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

16. Разлука

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибойя.

Как затопляет камыши
Волнение после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта

Die Kerze brannte auf dem Bord,
Die Kerze brannte.

Die Kerze flackte sonderbar:
Verführungsflammen
Wachsen – ein Engelflügelpaar –
Zum Kreuz zusammen.

Es weht' den ganzen Feber fort,
Und oftmals brannte
Die Kerze dort am Fensterbord,
Die Kerze brannte.

16. Trennung

Des Mannes Blick ist stumpf und sucht
An Türen lang und Fluren.
Ihr Fortgehn war wie eine Flucht.
Ringsum Vernichtungsspuren.

Ein Chaos ist im Zimmer drin.
Was alles da zerbrochen,
Kommt ihm vor Tränen nicht zu Sinn
Und vor der Schläfen Pochen.

Die Ohren dröhnen ihm schon lang.
Wacht er? Träumt er im Hellen?
Und woher kommt der stete Zwang,
Das Meer sich vorzustellen?

Wenn hinterm Reif am Fensterglas
Die Welt dem Blick entschwunden,
Dann wird der Kummer ohne Maß
Wie ödes Meer empfunden.

Und teuer war sie ihm so sehr
Mit allen ihren Zügen,
Wie Ufer nahe sind dem Meer,
Sich an die Brandung schmiegen.

So wie verschlingt der Wogen Schlund
Das Schilf, wenn Sturm gewesen,
So sank auf seiner Seele Grund
Ihr Aussehn und ihr Wesen.

In Jahren, voll der schlimmsten Qual,
Unvorstellbaren Plagen,

Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящичков комода.

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит все ее
И плачет втихомолку.

17. Свидание

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волнением
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,

War sie vom Grund im Schicksalsschwall
Ihm wogend zugetragen.

Durch Hindernisse viel und schwer
Und fährliches Gedränge
Trug sie die Woge, trug sie her
Zu ihm, ganz nah, ganz enge.

Und wenn es auch gewaltsam ist,
Daß sie nun fortgefahren,
Die Trennung und die Sehnsucht frißt
Sie beid mit Haut und Haaren.

Da steht der Mann und schaut sich um:
Bei ihrem Aufbruchshasten
Durchwühlt' sie alles um und dumm
In Kisten und in Kasten.

Er irrt umher, und noch bis spät
Verstaut er in den Schüben
Was sie gestickt, was sie genäht,
Was liegen noch geblieben.

Und als er eine Nadel find't,
Die sie nicht rausgenommen,
Sieht er sie plötzlich ganz – da sind
Ihm still die Tränen kommen.

17. Wiedersehen

Der Schnee deckt Dächerkappen
Und Weg und Stege zu.
Ich gehe, Luft zu schnappen,
Und vor der Tür stehst du.

Allein und ohne Mütze,
Kein Pelz und kein Cachenez,
Dämpfst du die innre Hitze
Und kaust den nassen Schnee.

Es sinken Bäume, Zäune
In Nebelfernen weg.
In all dem Schnee alleine
Stehst du am Mauereck.

Das Wasser rinnt vom Kopfe
Ins Ärmelaufschlagpaar,

И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик сложен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

18. Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыхание вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,

Und wie von Taugetropfe
Durchglitzert ist dein Haar.

Des blonden Schopfs Geleuchte
Hat Kopftuch und Gesicht,
Dein Mäntelchen, das feuchte,
Dich ganz, getaucht in Licht.

Der Schnee schmilzt auf den Lidern,
Voll Sehnsucht ist dein Blick.
Unmöglich zu zergliedern
Dein Bild aus einem Stück.

Und wie mit einem glühend
In Schwarz getränkten Erz
Bist du mir schneidend-ziehend
Tief eingebrannt ins Herz.

Und dieser Züge Gnade
Es nun auf ewig hält.
Und darum ist kein Schade,
Daß hart das Herz der Welt;

Drum schwirrt in wirren Tänzen
Die Nacht im Schnee vorbei,
Und kann ich keine Grenze
Mehr ziehen durch uns zwei.

Doch wer sind wir, woher denn,
Wenn all die Jahre ja
Nur Stoff für Schwätzer werden,
Und wir sind nicht mehr da?

18. Der Stern der Geburt

Der Winter war lang.
Der Steppenwind fegte.
Und fröstelnd das Kind in der Krippe sich regte
Im Stall dort am Hang.

Da wärmt' es der Hauch, der vom Ochsen her drang.
Da war in der Enge
Ein Haustiergedränge,
Ein Wölkchen von Wärme die Krippe umschwang.

Die Hirten im Feld klopften Hirse und Flaus
Aus zottigen Pelzen

Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

Und schauten vom Felsen
In Mitternachtsfernen verschlafen hinaus.

Da draußen warn Felder im Schnee, und nicht fern
Ein Friedhof mit Mälern
In schmälere Tälern,
Und drüber der Nachthimmel, Stern neben Stern.

Und einer, den keiner zuvor je gesehn,
Noch schüchterner glänzt er
Als Lichter im Fenster,
Blieb flimmernd am Wege nach Bethlehem stehn.

Und flackte wie brennendes Stroh, nichts verband
Mit Gott ihn und Himmel,
Wie Flammengetümmel,
Wie fern überm Land ein Gehöft steht in Brand.

Er hob sich empor wie ein Schober aus Heu,
Der flammt in der Ferne,
Und vor diesem Sterne
Erbebte das Weltall in Angst und in Scheu.

Es mußte was heißen, daß über ihm rot
Die Himmel sich teilten;
Drei Sterndeuter eilten
Zu folgen des seltsamen Feuers Gebot.

Hinter ihnen erschienen, gezogen am Zaum,
Mit Geschenken Kamele, und zierliche Esel
Schritten ängstlich talabwärts vom felsigen Saum.

Und sie trauten der Schau ihrer Augen noch kaum:
Da erstand in der Ferne, was später gewesen,
Alles Denken und Sehnen in Zeiten und Raum,
Alle künftigen Kunstgalerien und Museen,
Alle Taten der Zaubrer und Streiche der Feen,
Alle Christbäume und aller kindliche Traum.

Alle flimmernden Lichter und schimmernden Ringe,
Alles Blitzen des Flitters am glitzernden Baum...
... Immer wütender wurden des Wüstenwinds Sprünge...
Alle Äpfel und Kugeln aus goldenem Schaum.

Im Tal lag der Teich hinter Weiden und Wald,
Doch war er durch Äste und Nester von Krähen
Vom Feld auf dem Felsen zu sehen, und bald

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожихи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримо делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,

Vermochten die Hirten den Zug zu erspähen:
Kamele und Esel und manche Gestalt.
– „Kommt, laßt uns dem Wunder zu huldigen gehen!“
Sie knöpften die Pelze zu, denn es war kalt.

Das Gehen durch Wehen erwärmte die Hirten.
Wie Glimmer zog hin durch die schimmernde Flur
Zur Hütte barfußiger Wanderer Spur.
Entlang dieser Spur wie nach Brandresten spürten
Die Hunde beim Scheine des Sterns mit Geknurr.

Die frostkalte Nacht war ein einziges Märchen.
Und irgendwer drängte sich ein immerdar
Vom Feld in die Reihen der schreitenden Schar.
Die Hunde sahn scheu in die Runde, zum Herrchen
Schlich jeder und witterte nahe Gefahr.

Durch eben die Gegend, auf eben den Wegen
Bewegten sich Engel mit ihnen ein paar.
Unkörperlich, unsichtbar warn sie zugegen
Und nur durch die Spur auf dem Schnee offenbar.

Zum Stall kam die Menge. Es wurde schon helle,
Die Stämme der Zedern erschienen schon klar.
– „Was wollt ihr so frühe?“ – so fragte Maria.
– „Sind Hirten und Boten von Gottes Altar,
Und bringen euch beiden die Huldigung dar.“ –
– „Nicht alle zugleich! Wartet dort an der Schwelle!“

Im Frühmorgennebel, der aschfarben war,
Vertraten die Füße sich Treiber und Hirten,
Die Flüche der Reiter und Fußgänger schwirrten,
Am Brunnen die Ketten der Lasttiere klirrten,
Und bockig schrie Esel, Kamel, Dromedar.

Das Morgenlicht fegte, wie Funken so fein,
Die letzten der Sterne hinunter vom Himmel.
Maria ließ nun von dem ganzen Gewimmel
Die Magier allein zu dem Felsentor ein.

Er schlief, ganz im Glanz, in der eichenen Krippe,
Dem Mondstrahl im Hohlraum des Baumstammes gleich.
Vom Ochsen die Nüstern, vom Esel die Lippe
Ersetzten den Schafpelz und wärmten ihn weich.

Sie konnten kaum sehen, so dunkel sind Ställe,
Verhaltenes Flüstern im Raume nur surrt.
Und irgendwer blickte zurück nach der Helle,

И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

19. Рассвет

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И, чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

Zog sacht einen Magier beiseite am Gurt,
Und der sah sich um: Da schaut' von der Schwelle
Als Gast auf die Jungfrau der Stern der Geburt,

19. Morgendämmer

Du warst im Schicksal alles mir,
Dann kam der Krieg und das Zerstören,
Und lange, lange war von dir
Nichts mehr zu sehen und zu hören.

Nach Jahren, ohne dich verbracht,
Ließ neu mich deine Stimme beben:
Ich las dein Wort die ganze Nacht,
Und wacht' aus Ohnmacht auf zum Leben.

Mich treibts zu Menschen, ins Gehetz
Der morgendlich belebten Massen.
Zerfetzen könnt ich alles jetzt
Und alle niederknien lassen.

Die Treppe renn ich runter, geh,
Als tät ich es zum ersten Male,
Auf diese Straße dort im Schnee,
Des Fahrdamms ausgestorbne Fahle.

Rings steht man auf, macht Licht und ißt,
Trinkt Tee, muß dann zur Trambahn rennen.
Nach wenigen Minuten ist
Die Stadt nicht wiederzuerkennen.

Im Torgang webt der Wind Geflecht
Aus dichtem Fall von weißen Flocken.
Man eilt, daß man noch kommt zurecht,
Den Mund vom Frühstück noch nicht trocken.

Als steckte ich in ihrer Haut,
Fühl ich mit allen ihre Sorgen,
Bin selber, wie der Schnee wenna taut,
Kneif selbst die Brauen, wie der Morgen.

Die ohne Namen rings um mich,
Und die zu Hause, und die Kinder,
Sie alle überwandten mich,
Nur dadurch bin ich Überwinder.

20. Чудо

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колочий кустарник на круче был выжжен,
Над хижинкой ближней не двигался дым,
Был воздух горяч, и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился он в мысли свои,
Что поле в унынье запахло полынью.
Все стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забвении.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?»

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели бы вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятении, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

21. Земля

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.

20. Das Wunder

Er war unterwegs von Bethanien zur Stadt,
Schon vorher von gramvollen Ahnungen matt.

Am Steinhange lechzten die Stechpalmen kläglich,
Kein Hauch hat den Rauch naher Hütten bewegt,
Die Luft war voll Glut, und das Schilf unbeweglich,
Und nichts hat des Todmeeres Schweigen durchregt.

Und mehr als das Meer selbst, das bittere, verbittert,
So schritt er mit Wolkengefolge dahin
Die staubige Straße, vom Glutfeld umzittert,
Zur Stadt, wo die Jünger schon harrten auf ihn.

Und war in Gedanken versunken so sehr,
Daß Schwermut der Felder als Wermut versprühte.
Ganz still wars. Er stand ganz allein in der Mitte,
Die Landschaft entglitt in Vergessenheit schwer,
Und alles verwob sich: die Wüste, die glühte,
Die Eidechsen, Quellen und Bäche umher.

Ein Feigenbaum reckte sich abseits, nicht weit,
Trug nicht eine Frucht, nichts als Blätter und Äste.
Und er sprach: „Wem nützt du, dir fehlt ja das Beste!
Wie würd ich durch deine Erstarrtheit erfreut?

Mich dürstet und hungert, du bist nicht bereit.
Ein Fels könnte eher zum Troste mir taugen.
Wie unbegabt bist du, wie widrig den Augen –
So bleib, wie du bist, bis ans Ende der Zeit!“

Da hat ihn der Schauer des Fluches durchflammt
Wie Funken vom Blitz den metallenen Leiter.
Der Feigenbaum war zum Verdorren verdammt.

Wärn einen Moment nur vom Zwange befreiter
Die Blätter, die Zweige, die Wurzeln, der Stamm,
Dann hülfе vielleicht das Naturgesetz weiter.
Doch Wunder ist Wunder, und Wunder ist Gott.
Wenn ganz wir verwirrt sind und völlig gescheitert,
Dann bricht es herein, und dann machts uns zum Spott.

21. Die Erde

Die Villen Moskaus sind erwacht,
Der Frühling tost herein mit Knattern,

Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и заката
Не разминутся у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стыннут зори,
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегнутой?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Die Motten aus den Schränken flattern,
Um Sommerhüte zu ergattern,
Die Pelze werden fortgebracht.

Auf hölzernen Geländern ragen
Die Blumentöpfe, die die Pracht
Von Goldlack und Levkojen tragen,
Die Zimmer atmen Wohlbehagen,
Und staubig riecht es unterm Dach.

Und plumpvertraulich tun die Gassen
Mit blinden Fenstern oder blassen,
Am Flusse können sich nicht lassen
Das Spätrot und die weiße Nacht.

Im Korridor ist zu verstehen
Der Straßenlärm, das Hofgeschehen,
Und wovon im Vorübergehen
Zum Tröpfeln redet der April;
Er hats ja tausendfach gesehen
Und spricht nun von der Menschheit Wehen,
Und kühles Sonnenuntergehen
Den Faden weiterspinnen will.

Und gleiche Schauder, gleiche Gluten
In Gassen und Gelassen fluten,
Die Luft weiß nicht mehr aus noch ein.
Die gleichen Weidenkätzchenruten,
Das gleiche zarte Knospenbluten
Am Fenster und um die Redouten,
Vorm Tor und auf dem Werkstattschrein.

Was weinen denn im Dunst die Weiten
Und riecht der Dung so streng herein?
Dazu will doch mein Ruf mich leiten,
Der Fernen Trennung zu bestreiten,
Daß vor der Stadt in den Gebreiten
Die Erde sich nicht sehnt allein.

Drum finden sich im Lenz beizeiten
All meine Freunde bei mir ein:
Die Abende sind Abschiedsläuten,
Vermächtnis unsre Festlichkeiten,
Daß der geheime Strom der Leiden
Durchwärmt das frosterstarrte Sein.

22. Дурные дни

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровой,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскресенный вставал...

22. Schlimme Tage

Als er in der letzten der Wochen
Hinein nach Jerusalem ritt,
Scholl Jubelruf ununterbrochen,
Mit Palmzweigen rannten sie mit.

Doch drohend wuchs täglich das Grauen;
Kein Herz wird von Liebe erhellt.
Verächtlich gerümpft sind die Brauen,
Und schon ist das Urteil gefällt.

Die Himmel warn schwerer und näher
Mit all ihrer bleiernen Last.
Es schwänzeln um ihn Pharisäer,
Beweise zu sammeln befaßt.

Die finsternen Tempelgewalten
Bestellten den Pöbel zum Spruch;
Genau wie die Hochrufe hallten,
So rasend erschallt jetzt der Fluch.

Die Menge, die wohnt in der Nähe,
Riskierte vom Tor einen Blick,
Man drängte, zu sehn, was geschähe,
Und schob sich bald vor, bald zurück.

Von überall schwirrten Gerüchte,
Und Flüstern erfüllte den Raum.
Ägypten, die Kindheitsgeschichte
Erschienen schon fast wie ein Traum.

Man dachte des Bergs in der Wüste,
Des mächtigen Felsens, der Schlucht,
Wo einst mit dem Herrschaftsgelüste
Der Erde ihn Satan versucht;

Und Kanas, des Hochzeitsgelages,
Welch Wunder die Gäste dort sahn,
Und wie er durchs Meer eines Tages
Schritt trocknen Fußes zum Kahn;

Der ärmlichen Hütte voll Jammer,
Des Gangs mit dem Licht in der Hand,
Das ängstlich verlosch in der Kammer,
Als jener vom Tode erstand.

23. Магдалина (I)

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Иисус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готова к погребенью.

24. Магдалина (II)

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

23. Maria Magdalena (I)

Kaum dunkelt, rührt mein Dämon sich,
Zahl ich die Buße fürs Vergangne,
Frißt sich ins Herz mit heißem Stich
Erinnerung an das Begangne,
Da ich der Lust der Männer mich
Als Sklavin gab, ich Wahnbefangne,
Und mein Gelaß der Gasse glich.

Nur Augenblicke sicherlich
Sinds bis zum Schweigen noch, zum Grabe,
Doch ehe diese Frist verstrich,
Soll alles, was ich bin und habe,
Vor dir zerbrochen sein, für dich,
Wie diese Alabastergabe.

Oh, wo, wo wäre ich denn jetzt,
Du mein Erlöser, du mein Lehrer,
Wenn, da ich mich zu Tisch gesetzt,
Mich nachts die Ewigkeit nicht letzt
Wie ein in des Gewerbes Netz
Neueingefangener Verehrer.

Doch deute mir, was Sünde hier,
Tod, Hölle, Schwefelflamme meine,
Wenn ich vor aller Augen schier,
Wie mit dem Baum der Trieb, mit dir
Unendlich sehnend mich vereine;

Wenn ich den Füßen meines Herrn
Als Stütze meine Kniee leihe,
Und so vielleicht umarmen lern
Des Kreuzesholzes Vierkantkern,
Zum Leib mich hebe, sinnenfern,
Und salbend dich zum Grabe weihe.

24. Maria Magdalena (II)

Rings ist Hausputz für das Fest im Zuge.
Abseits von dem Trubel und Getrab
Wasche ich mit Myrrhen aus dem Krüge
Deine allerreinsten Sohlen ab.

Und ich such umsonst nach den Sandalen,
Kann vor Tränen nichts mehr richtig sehn.
In die Augen ist mir wirr gefallen
Meines Haars zerflatterndes Gesträhn.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

25. Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

Deine Füße, fest auf meinem Kleide,
Hab ich, Herr, mit Tränen überspült,
Sie umwunden mit dem Halsgeschmeide,
In mein Haar als Burnus sie verwühlt.

Und die Zukunft bis ins kleinste seh ich,
Gleich als zwängst du zu verweilen sie.
Ich bin jetzt zu Weissagungen fähig
Sibyllinisch greller Prophetie.

Morgen wird der Tempelvorhang splintern,
Abseits stehn gedrängt im Kreise wir,
Und die Erde unterm Fuß wird zittern,
Es mag sein, aus Mitleid auch mit mir.

Die Soldaten werden Posten stellen,
Und die Reiter ziehen ab bereits.
Wie ein Wirbelwind wird aufwärtsschnellen
Uns zu Häupten himmelan dies Kreuz.

Vor ihm werde ich zu Boden gleiten
Und die Lippen beißen wie im Wahn,
Und du wirst vom Kreuz die Hände breiten
Allzuvielen zur Umarmung dann.

Wem denn solche mächtige Gebärde,
Soviel Qual, so zwingende Gewalt?
Gibts denn so viel Seelen auf der Erde?
So viel Leben, Dörfer, Fluß und Wald?

Doch vergehen werden die drei Tage
Und ins Leere stoßen mich so fern,
Daß ich in der Schreckensspanne Plage
Wachsen bis zur Auferstehung lern.

25. Der Garten Gethsemane

Vom Flimmern ferner Sterne war gelassen
Des Weges schräge Windung überstrahlt.
Der Weg ging um des Ölbergs dunkle Massen,
Darunter floß der Kidronbach im Tal.

Die Wiese war inmitten abgebrochen,
Dahinter fing die Sternenstraße an.
Und silbergraue Ölbaumgreise krochen
Durch leere Luft der Ferne zu hinan.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, усиленные дремой,
Валялись в придорожном ковчеге.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек».

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.

Am End war jemens Garten. Vor der Schwelle
Ließ er die Jünger auf dem Weg und sprach:
„Betrübt bis an den Tod ist meine Seele.
Verweilet hier und bleibet mit mir wach.“

Er tat Verzicht, ohne gekämpft zu haben,
Wie auf ein Gut, das nur geliehn für hier,
Auf seine Allmacht, seine Wundergaben,
Und war fortan wie Sterbliche, wie wir.

Die nächtlich finstre Ferne schien, als thronte
Das Wesenlose, die Vernichtung dort.
Nichts Lebendes im Raum des Weltalls wohnte,
Und nur der Garten war des Lebens Ort.

Und schauend dieser Schlünde schwarzes Gähnen,
Wo anfanglos und endlos Leere hing,
Bat er den Vater unter blutigen Tränen,
Daß dieser Todeskelch vorüberging!

Als das Gebet die Todeslähmung bannte,
Kam er zurück und trat vor das Geheg.
Die Jünger, die der Schlummer übermannte,
Wärn hingestreckt ins hohe Gras am Weg.

Er weckte sie: „Euch war in meinen Tagen
Vom Herrn vergönnt zu leben, und ihr schlaft!
Des Menschensohnes Stunde hat geschlagen.
Er gibt sich in der Sünderhände Haft.“

Kaum sprach er's aus, und niemand weiß von wannen,
Mit Fackeln, Schwertern, langen Stangen nahts:
Die Schar der Knechte und gedungenen Mannen,
Vorn Judas mit dem Kusse des Verrats.

Das Schwert zog Petrus, um dem Pack zu wehren,
Und hieb dem einen ab vom Ohr ein Stück.
„Nie endet Streit durch Eisen“ muß er hören,
„Tu, Mensch, dein Schwert an seinen Platz zurück!

Wärn nicht Legionen Engel aus den Himmeln
Erschienen, wenn der Vater es gebet?
Und, ohne mir auch nur ein Haar zu krümmen,
Wär spurlos meiner Feinde Schar zerstreut.

Das Buch des Lebens aber will enthüllen
Den Satz, der wie kein Heiligtum geweiht:

Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

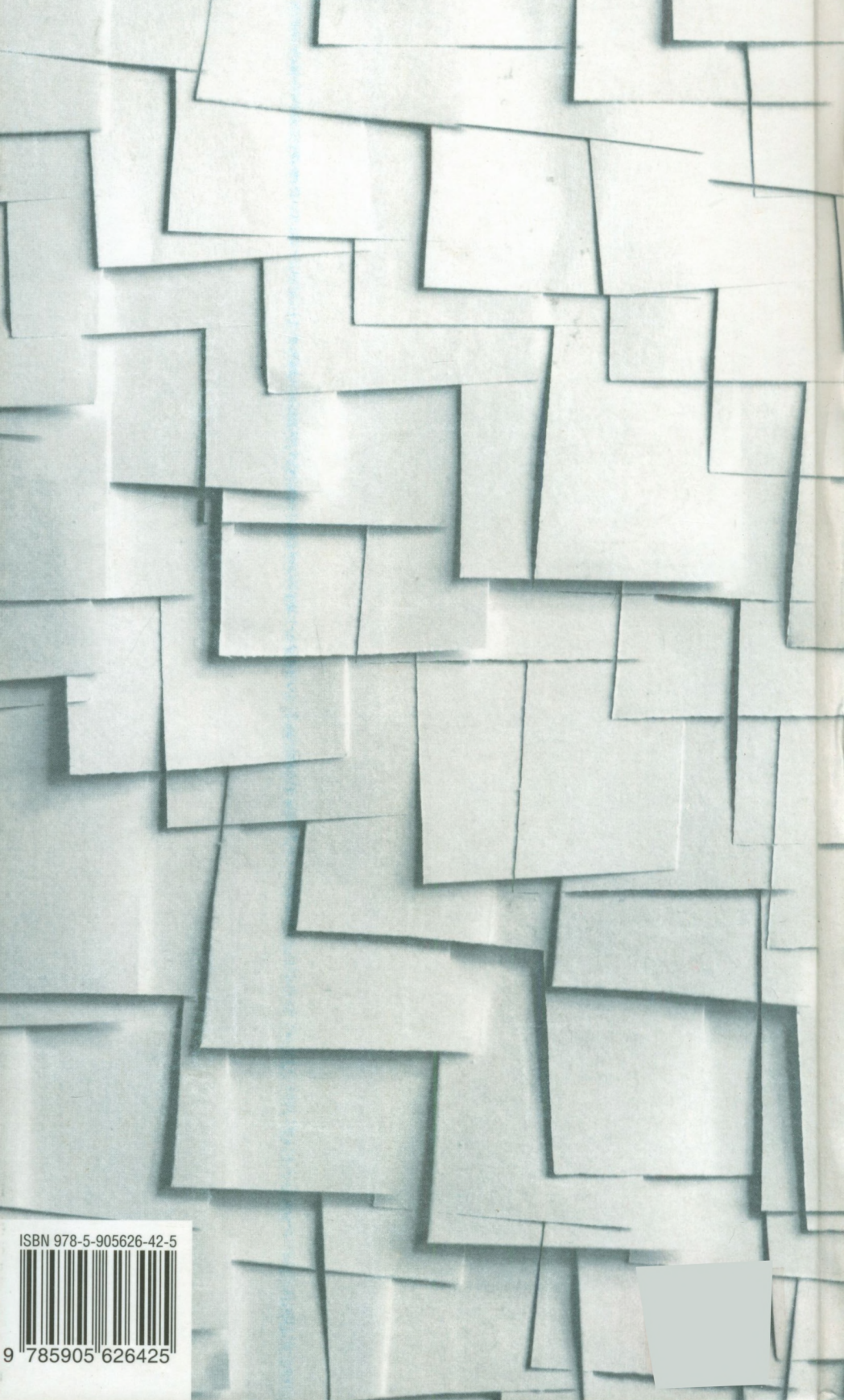
Jetzt muß sich, was geschrieben steht, erfüllen.
Erfülle sichs. Amen. Ich bin bereit.

Du siehst, der Zeiten Zug ist so entzündlich
Wie dunkles Gleichniswort, das plötzlich loht.
Im Namen seiner Schreckensgröße find ich
In freigewählten Qualen jetzt den Tod.

Vom Tod ersteh ich auf am dritten Tage,
Und wie im Strome Floß an Floß gereiht
Zieh einst vor mein Gericht, ans Licht getragen,
Jahrhunderte aus tiefer Dunkelheit.“

Содержание / Inhalt

А. Филиппов. «Я на той же улице старинной...»	5
A. Filippov. „Geh die gleiche alte Gasse nieder...“	7
Люди и положения	11
Детство Люверс	55
Записки Патрика	99
Menschen und Standorte. Autobiographische Skizze <i>Deutsch von Elke Erb</i>	149
Shenja Lüver's Kindheit <i>Deutsch von Marga und Roland Erb</i>	202
Der Anfang des Romans über Patrik <i>Deutsch von Marga und Roland Erb</i>	254
Стихотворения Юрия Живаго / <i>Schiwagos Gedichte Deutsch von Rolf-Dietrich Keil</i>	311



ISBN 978-5-905626-42-5



9 785905 626425

